

Николай Гарин-Михайловский Гимназисты

Из семейной хроники

I ОТЪЕЗД СТАРЫХ ДРУЗЕЙ В МОРСКОЙ КОРПУС

Однажды осенью, когда на дворе уже пахло морозом, а в классах весело играло солнце и было тепло и уютно, ученики шестого класса, пользуясь отсутствием непришедшего учителя словесности, по обыкновению разбились на группы и, тесно прижавшись друг к другу, вели всякие разговоры.

Оживленнее других была и наиболее к себе привлекала учеников та группа, в центре которой сидели Корнев, некрасивый, с заплывшими глазками, белобрысый гимназист, и Рыльский, небольшой, чистенький, с самоуверенным лицом, с насмешливыми серыми глазами, в рince-nez на широкой тесемке, которую он то и дело небрежно закладывал за ухо.

Семенов, с простым, невыразительным лицом, весь в веснушках, в аккуратно застегнутом на все пуговицы и опрятном мундире, смотрел в упор своими упрямыми глазами на эти движения Рыльского и испытывал неприятное ощущение человека, перед которым творится что-нибудь такое, что хотя и не по нутру ему, но на что волей-неволей приходится смотреть и терпеть.

Это бессознательное выражение сказывалось во всей собранной фигуре Семенова, в его упрямом наклонении головы, в манере говорить голосом авторитетным и уверенным.

Речь шла о предстоящей войне. Корнев и Рыльский несколько раз ловко прошлись насчет Семенова и еще более раздражили его. Разговор оборвался. Корнев замолчал и, грызя, по обыкновению, ногти, бросал направо и налево рассеянные взгляды на окружавших его товарищей. Он уж несколько раз скользнул взглядом по фигуре Семенова и наконец проговорил, обращаясь к нему:

– Если б и не знал я, что отец твой военный, то можно угадать это по твоей осанке.

Семенов удовлетворенно, но в то же время выжидательно оправился, и лицо его приняло еще более официальное и важное выражение.

– Полковник? – спросил Корнев.

Семенов кивнул головой.

– Я видел его... Денщиков бьет?

– Если виноват, спуску не даст.

– Вот этак, – сказал Корнев и, скорчив свирепую физиономию, идиотски скосив глаза, сунул кулаком в воздух.

Все рассмеялись.

– Ты, конечно, тоже будешь военный? – спросил Рыльский.

– Об этом еще рано теперь говорить, – ответил, еще более надувшись, Семенов.

– Дело тяткино, – рассмеялся Рыльский.

Семенов злобно покосился на него и сдержанно ответил:

– Что ж делать? настолько еще не развит, что признаю власть отца.

– Понятно, – с комичной серьезностью поддержал его Рыльский и опять рассмеялся.

– Насколько глуп, что в бога верю... Терпеть не могу поляков за их чванливое нахальство.

– Это к прежнему счету, – продолжал тем же тоном Рыльский, – немцев не терплю за их возмутительное высокомерие, французов – за их пустое легкомыслие...

– Собственно, это очень характерно, – вмешался Корнев, – ты, значит, все нации, кроме русской, не любишь?

– Вовсе нет.

– Ну, кого же ты любишь?

Семенов подумал.

– Испанцев, – ответил он.

– Ты видел хоть одного испанца? – спросил Корнев так, что все рассмеялись.

– Я и Америки не видел... По-твоему, значит, чего не видел, о том и говорить нельзя?

– Ну хорошо, за что ты, собственно, испанцев любишь?

– За бой быков, – заговорил Рыльский, – за учреждение ордена иезуитов...

– Иезуиты уж это ваше польское дело... По-моему, каждый поляк иезуит.

– По-моему? – вспыхнул Рыльский. – А по-моему, ты самодовольная свинья, которая вместо того, чтоб думать, гордишься тем, что думать не хочешь.

– А ты... – начал было Семенов, но в это время дверь открылась, и в класс вошел инспектор. Все встали и быстро оправались.

Бритое широкое лицо инспектора на этот раз не было таким деревянным, как обыкновенно. Даже и в голосе его, сухом и трескучем, теперь отдавались какие-то незнакомые, располагавшие к себе нотки. Да и дело, по которому пришел инспектор, выходило из ряда вон. В его руках был печатный лист с приглашением желающих поступить в морской корпус.

Сообщив условия поступления, инспектор ушел, а класс превратился в улей, набитый всполошившимися пчелами.

Все говорили, все волновались, всех охватило приятное чувство сознания, что они уж не дети и могут располагать собою, как хотят. Конечно, это был, в сущности, только обман чувств, – у каждого были родители, но об этом как-то не хотелось думать, особенно Карташеву, и он так же решительно, как и его друзья Касицкий и Данилов, заявил о своем твердом и непреклонном намерении тоже ехать в корпус.

Волнение улеглось, больше желающих не оказалось, и товарищи смотрели на нераздельную тройку, как на что-то уже отрезанное от них.

Одни относились к отъезжавшим с симпатией и даже с завистью, и это льстило тройке, другие, вроде Корнева, не сочувствовали.

Корнев, грызя свои ногти, заявил, что не находит в карьере моряка ничего привлекательного.

– Еще бы тебе находить в ней какую-нибудь прелесть, когда тебя и в лодке укачивает, – сказал пренебрежительно Касицкий.

Корнев покраснел и ответил:

– Я-то уж, конечно, какой моряк, но если б меня и не укачивало, я все-таки не избрал бы карьеры моряка.

– Почему?

– Потому что не вижу никакой разницы между любым армейским офицером и моряком: та же бессмысленная жизнь.

– Почему бессмысленная? – огрызнулся Семенов.

– Да потому, что все, в конце концов, сводится: на-а плечо! на краул!.. Да ей-богу! Ну что, собственно, какую цель вы преследуете? Ну, будете ездить на пароходе, будете лупить линьками матросов и в то же время любоваться морем. Трогательная идиллия, чушь с маслом, такая же бессмысленная жизнь, как жизнь любого юнкера.

Данилов схватился с Корневым.

Доводы Данилова сводились к прелестям морской жизни, прелестям борьбы с морем.

– Собственно, – возражал Корнев, – какой в этой прелести, в сущности, смысл: победа? – ну, победил сегодня с тем, что завтра оно уже побеждено? Нет, завтра опять побеждай, и послезавтра, и до тысячи раз. В конце концов вся жизнь сведется к счету рейсов – одним больше, одним меньше...

Доводы Корнева сильно охладили отношения учеников к собиравшейся к отъезду тройке.

Карташеву тоже как-то в ином освещении представился корпус.

Тем не менее друзья попрощались, выходя из гимназии, с твердым намерением ехать в корпус.

Карташев пришел домой и к концу обеда приступил к переговорам с матерью.

Мать со страхом прислушивалась к словам сына, но делала спокойное лицо и ласково смотрела, пока он, глотая красный сочный арбуз, рассказывал ей о вызове желающих поступить в корпус и о решении его, Данилова и Касицкого.

– Поезжай... – проговорила мать серьезным, грустным голосом, когда он кончил.

Она вздохнула.

– Я мечтала о другой карьере, думала, что мой сын принесет мне университетский диплом...

Жаль, что не исполнила папиного желания, когда тебе было десять лет, и сразу не отдала в корпус.

– В корпус, чтобы выйти офицером, я сам бы не пошел. Моряк и сухопутный офицер – громадная разница.

– Нет, уж хоть не обманывай себя: никакой разницы нет.

Наступило молчание. Карташева невольно поразило сходство взглядов матери и Корнева. Насколько Корнев при этом возвысился в его глазах, настолько же себя он почувствовал как-то униженным перед Корневым.

– Делай как хочешь, – продолжала, помолчав, мать. – Я думала, что ты pomoжешь мне по хозяйству без папы. Делай как хочешь.

Аглаида Васильевна встала расстроенная и вышла из столовой.

Карташев не ожидал такого конца.

– По-моему, Тёма, это глупость, – сказала его рассудительная сестра Зина. – У мамы здоровье слабое, ты, старший в доме, бросишь семью, уедешь в корпус... а кто ж здесь будет ходить в наемный двор, как мы останемся без мужчины?

– Я что ж, по-твоему, так и буду всю жизнь около вас торчать? – спросил с досадой Карташев.

– Да мне-то ты ни капельки не нужен, – поезжай хоть сейчас и куда тебе угодно.

И Зина ушла.

Карташев чувствовал себя окончательно сбитым с позиции: морской корпус, еще так недавно казавшийся делом решенным, отодвинулся куда-то далеко-далеко.

Наташа, вторая сестра, с любовью и грустью смотрела на брата.

– Ты когда, Тёма, поедешь? – спросила она, стараясь скрыть волновавшие ее чувства под маской простого любопытства.

Тёма заглянул в глаза сестры.

– Никуда я не поеду, – ответил он, вздохнув, и, встав, направился в кабинет.

Там он шагнул в сознании принесенной им жертвы. Может быть, для жертвы его вид был слишком спокоен, но тем не менее это не мешало ему считать себя жертвой, и ему казалось, что он сразу точно вырос на несколько лет. Он лег на диван, заложил за голову руки и задумался о том, что жизнь не такая простая и легкая вещь, какой она кажется по наружному виду.

Так и уснул он, думая все о том же.

II НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Тем и кончился вопрос о корпусе. Данилов и Касицкий уехали, и Карташев расстался с друзьями, с которыми три года прожил душа в душу.

Новое время, новые птицы, – новые птицы, новые песни. Новые отношения, странные и запутанные, на какой-то новой почве завязывались между Карташевым, Корневым и другими.

Это уже не была дружба, похожая на дружбу с Ивановым, основанная на обоюдной любви. Не было это похоже и на сближение с Касицким и Даниловым, где связью была общая их любовь к морю.

Сближение с Корневым было удовлетворением какой-то другой потребности. Лично Корнева Карташев не то что не любил, но чувствовал к нему какое-то враждебное, раздраженное, доходящее до зависти чувство, и все-таки его тянуло к Корневу. Не было больше для него удовольствия, как схватиться с ним на словах и как-нибудь порезче оборвать его. Но как ни казалось легким с первого взгляда это дело, тем не менее выходило всегда как-то так, что не он обрывал Корнева, а наоборот, он от Корнева получал очень неприятный отпор.

В своей компании с Даниловым и Касицким относительно Корнева у них давно был решен вопрос, что Корнев хотя и баба, хотя и боится моря, но не глупый и, в сущности, добрый малый.

Когда друзья уехали, Карташев на первых порах по отношению к Корневу старался удержаться на этой позиции. Иногда в споре, чувствуя, что почва уходит из-под ног, Карташев говорил:

– Послушай, Корнев, ты добрый, в сущности, малый, но эта твоя бабья черта...

– Я очень тебе благодарен за снисхождение, – сухо перебивал его Корнев, – но оставь его для тех, кто в нем нуждается.

Тогда Карташев, уязвленный саркастическим тоном Корнева, распалялся и начинал ругаться. Но и это плохо помогало и удовлетворения Карташеву не приносило. И не только не приносило, но мучило и искало выхода. Выходило как-то так, что все, что ни скажет он, все не то, всегда Корнев ловко, искусно сейчас же собьет его с позиции.

Карташев начал впадать даже в уныние: «Что ж, я глуп, значит? Глупее его?» – думал он, и его гордость не мирилась с таким выводом.

Они спорили решительно обо всем. Началось с религии. Сперва Карташев был горячим защитником ее, но постепенно он стал делать уступки.

– Не понимаю, – говорил раз Корнев, грызя свои ногти. – Или ты признаешь, или не признаешь: середины нет. Говори прямо, верующий ты?

– В известном смысле да, – ответил уклончиво Карташев.

– Что это за ответ? Верующий, значит... С этого бы и начал. А в таком случае о чем тогда с тобой разговаривать?!

– Ты перевернешь всякое мое слово и воображаешь, что это очень остроумно.

– А это не умно и не остроумно, – вставил саркастически Рыльский.

Рыльский держал себя как-то пренебрежительно по отношению к Карташеву, как, впрочем, и к громадному большинству класса.

Вставка Рыльского так взбесила Карташева, что он покраснел как рак и выругался:

– Болван!

Рыльский поднял высоко брови и спокойно, насмешливо сказал:

– Вот теперь окончательно убедил: молодец!

Карташев открыл было рот, но вдруг, круто обернувшись, пошел и сел на свое место.

– Что, кончил уже? – окликнул его тем же тоном Рыльский.

– С такой свиньей, как ты, говорить не стоит, – ответил Карташев.

– Ну, конечно...

– Постой... – перебил Рыльского Корнев и, обращаясь к Карташеву, проговорил: – Ну, хорошо: ты говоришь, что я перевираю твои слова, так сделай милость, объясни, как же понимать тебя.

– Я не могу спорить, когда один перевирает, а другой горохового шута из себя корчит.

Рыльский открыл было рот для ответа.

– Молчи... – потребовал Корнев.

Рыльский замолчал и только рассмеялся.

– Ну, вот он молчит. Я тоже вовсе не желаю заниматься перевираанием твоих слов: ты сказал, что ты верующий в известном смысле. Я понял это так, что ты все-таки верующий. Выходит, я перевернул: так объясни.

Если бы в классе были только Корнев и Рыльский, Карташев, вероятно, так и отказался бы от дальнейшего диспута, но тут было много других, и все ждали с интересом, что скажет теперь Карташев. В числе этих других многие любили Карташева, верили в его способность отбиться от Корнева, и Карташев скрепя сердце начал:

– Я признаю религию как вещь... как вещь, которая связывает меня с моим детством, как вещь, которая дорога моим родным...

Рыльский, повернувшийся было вполоборота, когда Карташев начал говорить, весело покосился на Корнева, отвернулся спиной к Карташеву, махнул рукой и уткнулся в книгу.

– Значит, ты сознательно обманываешь себя и родных? Выходит, что тебя связывает с ними ложь. Такая связь не стоит того, чтобы за нее держаться.

– А тебе разве не доставляет удовольствия на пасху не спать ночь?

– Никакого...

– Врет, – заметил Семенов, упрямо наклоняя голову.

– Да, наконец, это уже другая почва... удовольствие... И в снежки играть удовольствие, да

не пойдешь же!

– А отчего мне не идти, если мне этого хочется?

– Ну, иди, – ответил Корнев. – Снег скоро выпадет. Вон товарищи уже ждут.

Корнев показал в окно на толпу уличных ребятишек.

Карташев тоже посмотрел и рассмеялся.

– Рыло, – сказал добродушно Корнев.

Впрочем, таким мирным образом споры редко кончались.

– Ты ему напрасно спускаешь, – брюзжал Семенов Карташеву, когда они по окончании уроков шли домой.

– Я вовсе не спускаю.

– Ну-у, спускаешь... В прошлом году, помнишь, как оттрепал его, а теперь уж сам говоришь: «В известном смысле...»

– Послушай, нельзя же действительно со всем соглашаться...

Карташев рассеянно скользнул взглядом по проходившей даме, по прилавку, заваленному грушами, персиками, виноградом, молодыми орехами в зеленой скорлупе, втянул в себя аромат этих плодов и договорил:

– Я верю... но не могу же я, например, представить себе небо иначе, как оно есть, то есть не простым воздухом.

И Семенов и Карташев, как бы для большей наглядности, подняли глаза в прозрачную синеву осеннего неба. С неба их взгляд упал на залитую солнцем улицу, скользнул туда, где ярко синело бесконечное море, теперь прохладное, спокойное, уснувшее в своем неподвижном величии.

Друзья остановились на перекрестке, откуда Карташеву надо было сворачивать домой.

– Я провожу тебя, – предложил Карташев.

И приятели отправились дальше. Они шли, и то сходились так, что плечи их касались друг друга, то расходились, рассеянно, мимоходом глаза на выставленные в окна магазинов вещи.

– Конечно, есть в природе, – продолжал Карташев, – что-то непонятное, недоступное нашему уму... Я был бы слишком глуп, если бы не признавал того, что признавали люди, может быть, в тысячу раз умнее какого-нибудь Корнева или Рыльского.

– Терпеть не могу этого Рыльского, – перебил Семенов, упрямо наклонив голову.

– И моя душа к нему не лежит, – согласился Карташев. – У Корнева есть все-таки...

– Да я тебе скажу, что Корнев просто под влиянием Рыльского.

– Ты думаешь?

– Уверен... Просто сам разобраться не может, а Рыльского боится: все, что тот ему наговорит, то и повторяет.

– Нет, положим, Корнев и сам по себе не глупый малый.

Семенов сжал как-то губы и произнес сухо:

– По-моему, просто фразер.

– Да фразеры-то они оба.

– Ты посмотри, они обо всем берутся рассуждать. Ну что ж, в самом деле можем мы действительно обо всем иметь правильное понятие?.. Что, в сущности, их рассуждение? Мальчишество.

– Конечно, мальчишество.

– И я тебе скажу, опасное мальчишество, которое может привести ни больше ни меньше как к исключению... Это ведь все не ихнее... из книжек разных... Рыльский из воды сухим выйдет, а Корнев, как дурак, попадется. Вот отчего я и не могу считать Корнева умным человеком... Самое лучшее – подальше от них, – закончил Семенов.

Он оправился, как-то особенно выставил грудь, надулся и раскланялся с проезжавшим на извозчике военным.

– Плац-адъютант, – объяснил он Карташеву.

И оба оглянулись и смотрели, как ехал на извозчике плац-адъютант в полной форме, с наброшенным поверх мундира форменным пальто.

– Глупая у них форма, – сказал Семенов, – так, что-то среднее, – не то кавалерия, не то пехота: не разберешь.

Друзья прошли еще одну улицу.

– Ну, мне уж пора, – остановился Карташев.

– Еще через мост.

И они пошли через мост.

– Я бы тебя проводил, – сказал Семенов, смотря на часы, – да опоздаю к обеду... Отец насчет этого формалист... Да и действительно... ну, прощай.

Друзья попрощались у последнего поворота, откуда виднелся желтый с мезонином дом-особняк, где жила семья Семенова. Семенов и направился к нему спешной деловой походкой, а Карташев лениво побрел назад, щурясь от солнца и представляя себе, как Семенов торопливо взбежит по узкой лестнице в мезонин, положит там ранец, умоется, расчешет перед зеркалом волосы, а денщик почистит его щеткой. Затем он быстро спустится вниз; пройдет большой пустой зал и войдет в столовую, где уже собралось все семейство и глава его, худой, с суровым лицом полковник, в расстегнутом кителе, в синих штанах, молча шагает своими сухими ногами по комнате. Семенов подойдет, с выправкой шаркнет ножкой, наклонится и поцелует жилистую руку отца, произнося безличным тоном:

– Здравствуйте, папаша.

Затем подойдет к худой, с некоторой претензией одетой даме, небрежно подхватит ее руку, поднесет к губам, покровительственно нагнется, поцелует ее в губы, заглянет в ее добрые усталые глаза и скажет:

– Здравствуй, мамаша, как себя чувствуешь?

На младших братьев, Борю и Петю, Семенов вскользь только взглянет и пойдет к своему месту, потому что отец, посмотрев на часы, уже берется за свой стул.

За обедом всегда кто-нибудь из полковых, разговор по чину, а после обеда обязательная часовая пыльная на скрипке. Семенов сам уже знает, торопливо благодарит и спешит наверх. Оттопырив губы, он аккуратно вынимает из ящика скрипку, достает смычок, долго настраивает, прислушиваясь, весь сосредоточенный, с поднятыми бровями, и, кончив скучную, но приятную по своим результатам работу, становится в позицию, вытягивает руку со смычком, прицеливается глазами в ноты, склоняет голову, и по дому несется твердый однообразный звук низких и высоких нот громкой скрипки. А там, в кабинете, сидит сухой полковник, курит, смотрит в окно, одним ухом слушает полкового, а другим – твердые отчетливые звуки нравящегося ему своей определенностью инструмента.

Эта хорошо знакомая Карташеву картина ярко рисуется ему, пока он в блеске веселого, безоблачного дня идет домой, и ему завидной делается эта налаженная, систематическая жизнь... Жизнь его родных и он сам представляется ему чем-то разбросавшимся, несобранным. Книги его, почти не связанные, то и дело скользят в руках, в голове бродит мысль и перескакивает от Семенова к Беренде, тоже скрипачу, игравшему, в контраст с Семеновым, так мягко и мелодично. Он вспоминает Корнева, Рыльского, вспоминает опасения Семенова, его охватывает какой-то страх за их судьбу, но последний совет Семенова «подальше от них» производит на него как раз обратное действие, и его тянет к ним, и он даже как-то мирится с неприятной внешностью Корнева и Рыльского; мирит его главным образом то, что это они говорят не свое, что не пред ними, Корневым и Рыльским, приходится преклоняться, а пред тем, чему и они поклоняются сами. А пред тем, чему даже Корнев и Рыльский поклоняются, пред тем и никому не обидно... «Все-таки они умные и умнее Семенова», – закончил Карташев свои размышления.

И даже нетерпимая внешность их, резкие выходки и те осветились иначе: «Просто мальчишки, – узнали, да и не говорят откуда, а вот если б я первый узнал, они бы не знали, что говорить. Все-таки я умный: они по книжкам, а я без книжек, и то совсем почти им не поддаюсь».

Весь класс разбился на две неравные партии: Корнева, немногочисленную, и – партию Карташева.

Группа Корнева сблизилась между собой и вне гимназии, – ходили друг к другу в гости, но

так, впрочем, что с семействами не имели никакого соприкосновения. Обыкновенно компания собиралась в комнате товарища, – там курили, читали, туда приносили им чай. Если собрание было более обыкновенного, им уступались иногда и парадные комнаты, показывались на мгновение родные и уходили, сопровождаемые благодарственными взглядами молодежи. Что могло быть приятнее, как чувствовать себя совершенно свободными от необходимости чинно сидеть, чинно говорить. Какое удовольствие испытывала компания, когда дверь затворялась за непрошеным взрослым членом семьи! Корнев даст сейчас, бывало, козла. Рыльский поправит свой шнурок от *pinse-nez* и снисходительно пустит: «Ха-ха!» Дарсье, потомок изящных французов, оглянется с комичной миной, подберет фалды и бултыхнется на диван.

– Послушай, француз, – скажет Корнев, – сегодня тебе спать не дадут.

– Откуда ты взял, что я буду спать? – фыркал Дарсье, поплотнее умащиваясь.

Корнев некоторое время добродушно рассматривал Дарсье и произносил с каким-то пренебрежительным снисхождением:

– Рыло.

– Сам ты... – так же добродушно огрызался француз.

– Что с ним церемониться? – говорил Рыльский, обращаясь к Дарсье. – Вот тебе постановление коммуны: если ты не повторишь последней фразы, когда останешься, то каждый раз с тебя том Писарева.

– Ну... – размахивая руками, подсказывал До лба, – давай, брат, деньги, по крайней мере, без всякой помехи спать будешь.

– Дурачье, – смеялся вместе со всеми Дарсье, – не дам.

– Тем хуже для тебя...

– Хорошо, хорошо... – кивал головой Дарсье, – посмотрим еще.

Начиналось чтение: и в то время как все слушали с напряженным вниманием, Дарсье напрасно изнемогал в непосильной борьбе: что-то лезло на глаза, закрывало их, и Дарсье кончал тем, что сладко засыпал коротким чутким сном. Очень чутким. Чуть останутся, уж Дарсье знал, в чем дело, и, еще не проснувшись, лениво повторял последнюю фразу.

А Рыльский делал жест и продолжал читать.

– А кто слишком склонен к Яни, того больно бьют по пяткам... Дарсье, повтори.

Дарсье вскакивал и быстро повторял, и от сумасшедшего хохота дрожали стекла, потому что Яни – и бог земли, и в то же время фамилия красавицы гимназистки, к которой равнодушно французское сердце Дарсье: вся фраза выдумана Рыльским без всякой связи с предыдущим и последующим чтением, специально для Дарсье.

– Ну, так хоть это запомни хорошенько... – наставительно говорил Рыльский.

И снова шло чтение, а затем споры, рассуждения. Подымались разные вопросы, решались. Это решающее значение обыкновенно принадлежало Корневу и Рыльскому. Иногда выдвигался Долба – здоровенный ученик из крестьян, в прыщах, с красным лицом, с прямыми черными волосами и широким большим лбом.

– Лбина-то у тебя здоровенная... – говорил Корнев, внимательно всматриваясь в Долбу.

– Бык, – отвечал Долба и, расставя ноги, смеялся мелким деланным смехом.

Только глазам было не до смеха, и они внимательно, пытливо всматривались в собеседника.

Корнев грызет, бывало, ноготь, подумает и проговорит:

– На Бокля похож.

Долба вспыхнет, смеряет четвертью свой лоб, скажет «ну» и опять рассмеется.

– Способная бестия... – заметит опять Корнев не то раздумчиво, не то с какой-то завистью.

– Дурак я, – ответит Долба, потом заглянет в глаза Корневу и, пригнувшись, рассмеется своим мелким смехом.

– Да что ты все смеешься?

– Дурак, – ответит уклончиво Долба.

– Глаза хитрые...

– Мужичьи глаза.

– Положительно загадочная натура, – высказывал свое мнение Корнев в отсутствие Долбы и

задумывался.

– Рисуется немного... но талантливый, подлец, – соглашался Рыльский.

Многочисленная партия Карташева была полной противоположностью партии Корнева. Все это были люди, которые ничего не читали, ничем не интересовались, ни о чем не помышляли, кроме ближайших интересов дня. Они ходили в гимназию, лениво учили уроки и в свободное от занятий время сучали и томились.

Корнев с компанией язвили их, вышучивали, донимали и осмеивали все то, что в их глазах казалось неприкосновенным.

Карташев был представителем своей партии. Случилось это как-то само собой: Карташев усердно отстаивал тех, кто попадал на острые зубы противной партии; он обладал даром слова, находчивостью в спорах; он, наконец, был добр и не мог выносить бессердечия партии Корнева ко всем тем, кто или стоял ниже их в умственном отношении, или не разделял их взглядов.

Начнет, бывало, Корнев без церемонии ругать кого-нибудь, а Карташев чувствует такое унижение, как будто его самого ругают. Выругается Корнев и примется за чтение.

– Я не понимаю этого удовольствия, – заговорит Карташев скрепя сердце, – говорить человеку в глаза «идиот».

– А я не понимаю удовольствия с идиотами компанию водить, – ответит небрежно Корнев и примется за свои ногти, продолжая читать.

– Если б даже и идиот он был, что ж, он поумнеет оттого, что его назовут идиотом?

Корнев молчит, погрузившись в чтение.

– Если не поумнеет, то отстанет, – бросит за него Рыльский.

– Или в морду даст? – пустит со своего места Семенов.

– Испугал!

– А вот назови меня...

Рыльский весело смеялся.

– Ну, а если два человека назовут тебя идиотом. Тоже в морду дашь?

– Дам, конечно.

– Ну, а три?..

– Хоть десять.

Корнев отрывается от чтения и говорит мягким, ласковым голосом:

– Если бы ты встретил неприятеля, мой друг, ты что бы сделал? – Он делает свирепое лицо. – Приколол бы, ваше превосходительство. – А если ты десять неприятелей встретил? – Приколол бы! – Мой друг, разве ты можешь десять человек приколоть? Подумай хорошенько. – Так точно, не могу.

Корнев меняет тон и говорит наставительно:

– Солдат, и тот понял.

– Так ведь то солдат, – поясняет Рыльский, – а он сын полковника... Вот, погоди, подрастет он, один всю Европу приколет.

– Ах, как остроумно! – говорит Семенов.

В числе карташевской партии, между прочим, были Вервицкий и Берендя. Они сидели на одной скамейке и дружили, хотя по виду дружба их была очень оригинальна: друзья постоянно ссорились.

Вервицкий был широкоплечий блондин, с голубыми глазами, с круглым лицом, с грубым, сиплым голосом, сутуловатый, с широкими плечами.

Берендя, или Диоген, как называл его язвительно Вервицкий, худой, высокий, ходил, подгибая колени, имел длинную, всегда вперед вытянутую шею, какое-то не то удивленное, не то довольное лицо, носил длинные волосы, которые то и дело оправлял рукой, имел желто-карие лучистые глаза и говорил так, что трудно было что-нибудь разобрать.

Главным недостатком Беренди Вервицкий считал его глупость. Он этим и донимал своего друга.

Надо отдать справедливость, Вервицкий умел подчеркнуть глупость друга. Когда он, быва-

ло, вытянув шею, подгибая колени, шел, стараясь изобразить Берендю, класс умирал от смеха. В мастерской передаче Вервицкого так ясно было, что Берендя действительно глуп. А еще яснее это было, когда Берендя вступал в спор.

Рот только откроет Берендя, а уж Вервицкий упрется на локоть, уставится в друга и с наслаждением слушает. Берендя с какой-то особой манерой откинется, вытянет длинные ноги и, устремив в пространство свои лучистые глаза, начнет, помахывая головой, длинную речь. Слушает Вервицкий, слушает и начнет сам помахивать головой, потом скосит немного глаза, на манер Беренди, что-то зашепчет себе под нос и кончит тем, что и сам расхохочется, и в публике вызовет смех.

Сбитый с позиции, Берендя обрывался и бормотал:

– Мне кажется странно, право, такое отношение...

Остальное исчезало в какой-то совершенно непонятной воркотне и в помахивании головой.

– Дурак ты, дурак, – говорил в ответ Вервицкий, с искренним сокрушением качая головой. – И всегда будешь дурак, хоть сто лет живи... Вот так и будешь все мотать головой, на кладбище повезут, и то мотать будешь, а о чем – так и не разберет никто.

– Ну, что ж, это очень грустно, – говорил Берендя.

– А ты думаешь, весело? – перебивал своим сильным голосом Вервицкий.

– Очень грустно... очень грустно... – твердил Берендя.

– Тьфу! Противно слушать... не только слушать, смотреть.

– Очень грустно... очень грустно...

– И думает, что очень умную вещь говорит.

Такие стычки не мешали, однако, друзьям вместе готовить трудные уроки, ходить друг к другу в гости, поверять свои тайны и понимать друг в друге то сокровенное, что ускользало от наблюдения толпы, но что было в них и искало сочувствия.

Бывало, излившись друг перед другом, друзья ложились вместе на одну кровать, в загородной квартире Беренди, в доме мещанки, у которой Берендя снимал квартиру со столом и самоваром за двенадцать рублей в месяц. Берендя то начинал острить на свой счет, и тогда друзья хохотали до слез. А то вставал, вынимал скрипку и, смотря своими лучистыми глазами в зеленые обои своей комнаты, начинал играть. Чувствительный Вервицкий присаживался к окну, подпирал подбородок рукой и задумчиво смотрел в окно.

Время летело, скучный урок лежал нетронутым, наступали сумерки, темная ночь охватывала небо и землю, охватывала душу сладкой истомой, и было так хорошо, так сладко и так жаль чего-то.

А на другой день рассердится, бывало, Вервицкий и бесцеремонно начнет перед всем классом черпать доводы о глупости Беренди из тех же сокровенных сообщений, которые делал ему приятель накануне. Вспыхнет, бывало, покраснеет Берендя и забормочет, заикаясь, что-то себе под нос.

А Вервицкого еще больше подмывает:

– Ба-ба-ба! Ба-ба-ба! Пошел пилить! Ты говори прямо: я наврал? ты не говори!

И как ни отделялся Берендя, а в конце концов, помахывая головой и пощипывая свою пробивающуюся бородку, едва внятно лепетал:

– Ну, говорил...

– А зачем же ты сразу забормотал так, как будто я сам все выдумал? Вот это и подлость у тебя, что ты все: туда-сюда... туда-сюда... как змея головой, когда уж ей некуда деваться...

И Вервицкий впивался в друга, а друг, под неотразимыми доводами, только молчал, продолжая помахивать головой.

– Что?! Замолчал!!

Кличку Диогена Берендя получил при следующих обстоятельствах.

– Мы изучаем Диогена, – однажды философствовал он, – и говорим, что он мудрец. Но если я полезу в бочку, буду со свечой искать человека... меня, по крайней мере, посадят в сумасшедший дом.

– И посадят когда-нибудь, – уверенно ответил Вервицкий. – Ты, знаешь, напоминаешь мне

метафизика из басни. Ты хочешь непременно своим умом до всего дойти, а ума-то и не хватает: и выходит – веревка вервие простое...

– По-позволь...

– Не позволю: надоел и убирайся к черту.

– Как угодно... я только хотел сказать, что ту-ту-тут неладно... кто-нибудь из нас дурак – или Диоген, или мы...

– Ты дурак.

– Я утешаю себя, что, явись вот перед тобой сейчас Диоген, – тебе ничего не осталось бы, как и его назвать дураком.

– Ну, хорошо. Теперь, когда я захочу тебя выругать дураком, я буду тебе говорить: «Диоген». Хорошо?

– Мне очень приятно будет...

– Ну, и мне приятно будет.

Так и осталась за Берендей кличка Диоген.

Выдавались иногда дни, когда между партиями Корнева и Карташева водворялся род перемирия. Тогда Корнев и Карташев точно сбрасывали свои боевые доспехи и чувствовали какое-то особенное влечение друг к другу.

Один из таких дней подходил к концу. Последний урок был математика. Оставалось четверть часа до звонка. Учитель математики, маленький, с белым лицом и движениями, напоминавшими заведенную куклу, кончил объяснение и сел за стол. Он наклонил голову к журналу, понюхал фамилии всех учеников и произнес голосом, от которого заранее становилось страшно:

– Корнев.

Корнев побледнел и, перекосив, по обыкновению, лицо, пошел к доске.

Математика не давалась ему. В этом отношении перевес был на стороне Карташева, который хотя и не делал ничего, но все-таки держался на спасительной тройке. Корнев пытался доказывать теорему голосом человека, который твердо убежден, что он ничего не докажет, да и не дадут ему доказать.

– Возьмем треугольник ABC и наложим на треугольник DEF так, чтобы точка A упала в точку D.

Учитель слушал и в то же время внимательно, с любопытством бегал глазами по лицам учеников.

Яковлев, первый ученик, молча поднял брови. Рыльский досадливо опустил глаза. Долба с сожалением смотрел в сторону, а один ученик, Славский, не утерпел и даже искренне чмокнул губами.

– Как же вы это сделаете, чтоб точка A попала в точку D? – спросил учитель, смотря в то же время в лица учеников.

– Наложу так...

Наступила пауза. Учитель вытянул шею и внушительно сухо сказал:

– У вас, Корнев, выражения совершенно не математические.

– Я не способен к математике, – ответил Корнев, и раздраженное огорчение зазвучало в его голосе.

Учитель не ожидал такого ответа и, недоумевая, обратился к нему:

– Ну, так оставьте гимназию...

– Я себе избрал специальность, в которой математика ни при чем...

– Меня ни капли не интересует, какую вы специальность себе избрали, но вас должно интересоваться, я думаю, то, что я вам скажу: если вы не будете знать математики, то вам придется отказаться от всякой специальности.

– А если я не способен?..

– Нечего и лезть...

По коридору уже несея звонок.

Учитель собрал тетради, пылливо заглянул в глаза Корневу и, сухо поклонившись классу,

вышел своей походкой заведенной куклы.

– Охота тебе с ним вступать в пререкания? – обратился к нему с упреком Рыльский.

– Да ведь пристает...

– Ну и черт с ним. Человек мстительный, требовательный, только создашь такие отношения...

– Черт его знает, обидно стало: я, главное, знаю, чего ему хочется. Чтоб я сказал, что вот будем вращать до тех пор, пока вершина А совпадет с вершиной D...

Рыльский, Долба и Дарсье удивленно смотрели на Корнева.

– Если знал, зачем же ты не сказал?

– Да когда же я в этом смысла не вижу.

– Ну, уж это... – махнул рукой Рыльский и засмеялся.

Рассмеялся и Долба.

– Нет, ты уж того...

– Ну, какой смысл, объясни?! – вспыхнул Корнев.

– Да никакого, – сухо смерил его глазами Рыльский, – а экзамена не выдержишь...

– Ну и черт с ним...

– Разве, – проговорил пренебрежительно Рыльский.

– Я, собственно, совершенно согласен с Корневым, – вмешался Карташев, – не все ли равно сказать: будем вращать или наложим.

– Ну, и говорите на здоровье. Станьте вот перед этой стенкой и пробивайте ее головой.

– Эка мудрец какой, подумаешь, – возразил Корнев, раздумчиво грызя ногти.

– Вот тебе и мудрец... Вечером у тебя?

– Приходите...

Дальше всех по одной и той же дороге было Семенову, Карташеву и Корневу.

Когда они дошли до перекрестка, с которого расходились дороги, Корнев обратился к Карташеву:

– Тебе ведь все равно: пойдем со мной.

Карташев обыкновенно ходил с Семеновым, но сегодня его тянуло к Корневу, и он, не смотря на Семенова, сказал:

– Хорошо.

– Идешь? – спросил отрывисто Семенов, протягивая руку, и сухо добавил: – Ну, прощай.

Карташев постарался сжать ему как можно сильнее руку, но Семенов, не взглянув на него, попрощался с Корневым и быстро пошел по улице, маршируя в своем долгополом пальто, выпячивая грудь и выпрямляясь, точно проглотил аршин.

– Вылитый отец, – заметил Корнев, наблюдая его вслед. – Даже приседает так, хотя воображает, вероятно, что марширует на славу.

Карташев ничего не ответил, и оба шли молча.

– Послушай, – начал Корнев, – я тебя, откровенно сказать, не понимаю. Ведь не можешь же ты не понимать, что вся та компания, которой ты окружил себя, ниже тебя? Я не понимаю, какое удовольствие можно находить в общении с людьми, ниже тебя стоящими? Ведь от такого общества поглупеть только можно... Ведь не можешь же ты не понимать, что они глупее тебя?

Корнев остановился и ждал ответа. Карташев молчал.

– Я положительно не могу понять этого, – повторил Корнев.

Карташев сам не знал, что ответить Корневу. Согласиться, что его друзья глупее его, ему не позволяла совесть, а вместе с тем слова Корнева приятно льстили его самолюбию.

– А я тебя не понимаю, – мягко заговорил Карташев, – твоей, да и всех вас резкости со всеми теми, кого вы считаете ниже себя...

– Например?

– Да вот хотя с Вервицким, Берендей, Мурским...

– Послушай, да ведь это же окончательные дураки.

– Но чем же они виноваты? А между тем они так же страдают, как и другие. Ты бросишь ему дурака и думать забыл, а он мучится.

– Ну, уж и мучится.

– И как еще!.. Да я тебе откровенно скажу про себя: другой раз вы мне наговорите такого, что положительно в тупик станешь: может, действительно дурак... Тоска такая нападёт, что, кажется, лег бы и умер.

– Да и никогда тебя дураком и не называл никто; говорили, что ты... ну, не читаешь ничего... Ведь это ж верно?

– Собственно, видишь ли, я читаю и много читал, но только все это как-то несистематично.

Корнев усиленно грыз ногти.

– Писарева читал? – спросил он тихо, точно нехотя.

– И Писемского читал.

– Не Писемского, а Писарева. Писемский беллетрист, а Писарев критик и публицист.

«Беллетрист», «публицист» – всё слова, в первый раз касавшиеся уха Карташева. Его бросило в жар, ему сделалось стыдно, и уж он открыл было рот, чтобы сказать, что и Писарева читал, как вдруг передумал и грустно признался:

– Нет, не читал.

Искренний тон Карташева тронул Корнева.

– Если хочешь, зайдем – я дам тебе.

– С удовольствием, – согласился Карташев, догадываясь, что Писарев и был тот источник, который вдохновлял Корнева и его друзей.

– Странная вещь, – говорил между тем Корнев. – Говорят, твоя мать такая умная и развитая женщина – и не познакомила тебя с писателями, без знания которых труднее обойтись образованному человеку, чем без классического сухаря...

– Моя мать тоже против классического образования. Я теперь вспоминаю, она мне Писарева даже предлагала, но я сам, откровенно говоря, все как-то откладывал.

– Не могла ж она не читать... Вы какие журналы получаете?

– Мы, собственно, никаких не получаем.

– Вы ведь богатые люди?

Карташев решительно не знал, богатая женщина его мать или нет, и скорее даже был склонен думать, что никакого богатства у них нет, потому что и дом и имя были заложены, но ответил:

– Кажется, у матери есть средства.

– У нас ничего нет. Только вот что батька заработает. Мой отец в таможне. Но хотя там *можно*, он ничего не берет, – это я знаю, потому что у нас, кроме двух выигрышных билетов, ничего нет. Родитель молчит, но мать у меня из мещанок, жалуетса и не раз показывала.

Голос Корнева звучал какой-то иронией, и Карташеву неприятно было, что он так отзывался о своей матери.

Они подошли к высокому белому дому, в котором помещалась женская гимназия, как раз в то время, когда оттуда выходили гимназистки.

В самой густой толпе учениц, куда, как-то ничего не замечая, затесались Карташев и Корнев, Корнева окрикнула стройная гимназистка лет пятнадцати.

– Вася! – проговорила она, сверкнула своими небольшими острыми глазками и весело рассмеялась.

– А-а! – ответил небрежно Корнев. – Наше вам.

– Ну, довольно, довольно...

– Сестрица, – отрекомендовал пренебрежительно Корнев, обращаясь к Карташеву.

– Вот я маме скажу, какой ты невежа, – ответила гимназистка, вспыхнув и покраснев до волос. – Разве так знакомят?

Карташев залюбовался румянцем девушки и, встретившись с ней глазами, сконфуженно снял шапку.

– Ах, скажите пожалуйста! – прежним тоном сказал Корнев. – Ну познакомьтесь... Сестра... Карташев...

– У вас есть сестра?

И едва Карташев успел ответить, она засыпала его вопросами: так же ли он груб с своими сестрами? так же ли от него мало толку? так же ли он никуда с ними ходить не хочет и такие же ли у него друзья, которые всё читают какие-то дурацкие книжки и никого знать не хотят?

– Поехали, – сказал Корнев и стал грызть ногти.

Карташев, идя с сестрой Корнева, сделал новое открытие, а именно, что он образцовый брат, хотя Зина и не скупилась ему на упреки. Приняв это к сведению, он стал выгораживать, как мог, своего товарища и уверять, что все это ей только кажется.

– Пожалуйста, не трудись, – перебил его Корнев. – Все, что она говорит, одна чистая правда, но дело в том, что я не желаю быть другим...

– Видите, какой он...

И, посмотрев на брата, топнув ногой, прибавила:

– У-у, противный!

Она отвернулась. Карташев смотрел на ее каштановые, небрежной волной выбившиеся волосы, так мягко оттенявшие нежную кожу ее белой шеи. Огонь пробежал по нем, и он страстно думал, что, если б у него была такая сестра, он молился бы на нее богу.

Она встретила его взгляд, и он испугался, как бы она не прочла его мыслей. Но она не только не прочла, но смотрела на него ласково и шла совсем близко около него. От мысли ли, что она ничего не заметила, от чего ли другого, но Карташев чувствовал себя как-то особенно хорошо и легко. Маня, еще три года назад овладевшая его фантазией, сразу стушеввалась перед этой ослепительной, мягкой, женственной девушкой.

Что Маня? Что он, собственно, любил в ней? – думал он и радовался, что Маня тает там где-то, в его сердце, и уступает свое место чему-то более жгучему и определенному, чем какая-то заоблачная идиллия. Маня, которую он, вероятно, и не увидит больше, а эта шла рядом с ним, и он чувствовал ее так, словно ступала она не по мостовой, а прямо по его сердцу.

Они вошли в калитку небольшого чистого, обсаженного акациями двора, прошли двор и в углу его между скамьями пробрались к подъезду.

Из маленькой передней виднелась гостиная, большая, но невысокая комната, вправо из передней дверь вела в комнату Корнева, а влево была дверь в домашние комнаты. Корнев, раздевшись, указывая рукой, проговорил:

– Милости просим...

Карташев, неловко оправлявший свой испачканный мундир и растрепанные волосы, только что было собирался шагнуть в комнату Корнева, как из левой двери вышла маленькая сморщенная женщина, в которой Карташев сейчас же узнал мать Корнева.

– А-а, – произнес Корнев, – ну вот... маменька, еще мой товарищ, Карташев.

– Очень приятно, очень приятно... Я вашего батюшку видала, бывало, в соборе в царские дни... в орденах... Ваш-то батюшка меня-то уж, конечно, может, и не видел... Куда уж нам! мы люди маленькие...

– Ах, маменька, уж вы начинаете, – вспыхнула сестра Корнева.

Мать Корнева как-то испуганно поджала губы, морщинки сбежали на ее лице, и она огорченно ответила:

– Что ж, нельзя и род свой вспомнить?

– Все это не важно, – перебил Корнев. – Род ваш отличный, и никто от него не думает отказываться, а ежели бы вот к тому же кофейку, так и ручку даже можно поцеловать.

– Ох ты, мой голубчик! – проговорила мать и, обратившись к Карташеву, весело спросила: – Ну, видали вы кого лучше? – и, сделав добродушно-лукавое лицо истой хохлушки, она подняла руку по направлению к сыну.

Карташев, как очарованный, смотрел на эту обворожившую его простоту и готов был, если б не стыдно только было, поцеловать эту сморщенную маленькую добрую женщину.

– Да ей-богу же, поцелую, – сказала мать Корнева и, обняв Карташева, поцеловала его в лоб.

Карташев так покраснел, что покраснели и мать и сестра, которая даже захлопала в ладоши.

– Это мой! – говорила мать, положив руку на плечо Карташеву. – Тих усих соби бери, а ций такой же дурень, як ты. Хоть ему голову всунь, не откусит.

Подали кофе, и, несмотря на неоднократные попытки Корнева, Карташев так и не уединился с ним, а все время оставался с его семьей. Только перед самым уходом он зашел к нему в комнату и взял два тома Писарева.

– Довольно покамест, прочтешь, еще дам.

– Ну, отлично.

– Смотрите же, приходите, – сверкнула ему своими жгучими глазами сестра. – И не к Васе, а к нам.

– К нам, к нам, – кричала вдогонку мать.

Карташев блаженно улыбался, поворачивался и, энергично срывая с головы шапку, все кланялся и кланялся.

– Вот, Вася, первый твой товарищ, который действительно симпатичный, – решительно сказала сестра.

– Да, он ничего себе, – согласился Корнев.

– У него сердце, как на ладонце, ото друг, а твой Долба только и глядит, як тый вивк, по стононам... Рыльский важный: кто его знае, що там в середке у него.

– И красивые глаза у него...

– Влюбись, тебе недолго.

– Да уж скорее, чем в твоего Рыльского.

И сестра сделала капризную, пренебрежительную гримасу.

– Ну, ну, деточки... раночки, раночки.

А Карташев шел, точно волна его несла: он думал о сестре Корнева, целовал ее волосы, шею, называл уменьшительными именами и сильнее прижимал к своему боку два аккуратных томика Писарева. Все было хорошо – и новое знакомство, и сестра Корнева, и Писарев. Сегодня же он постигнет премудрость, уже у него этот ключ знания того, что дает такую силу словам Корнева. И опять его мысли возвращались к сестре Корнева, и опять она смотрела на него, и он весь замирал под охватывающим его волнением.

Ах, если б волшебной силой можно было разорвать все путы, броситься к ней и сказать: «Я люблю тебя, я твой до конца жизни! Видеть тебя, смотреть в твои глаза, целовать твои волосы – вот все счастье, вся радость моей жизни».

Карташев вспомнил, как она переходила дорогу, вспомнил маленький след, отпечатавшийся на земле от ее новенькой резиновой калоши, и его и к следу ее потянуло так, что он сам не знал, что сильнее отпечаталось в его сердце – этот ли след или – вся она, отныне царица и мучительница его сердца.

III МАТЬ И ТОВАРИЩИ

Дома Карташев умолчал и о Писареве, и о семействе Корнева. Пообедав, он заперся у себя в комнате и, завалившись на кровать, принялся за Писарева.

Раньше как-то он несколько раз принимался было за Белинского, но тот никакого интереса в нем не вызывал. Во-первых, непонятно было, во-вторых – все критика таких сочинений, о которых он не слышал, а когда спрашивал мать, то она говорила, что книги эти вышли уже из употребления. Так ничего и не вышло из этого чтения. С Писаревым дело пошло совсем иначе: на каждом шагу попадались знакомые уже в речах корневской компании мысли, да и Писарев усвоялся гораздо легче, чем Белинский.

Когда Карташев вышел к чаю, он уж чувствовал себя точно другим человеком, точно вот одно платье сняли, а другое надели.

Принимаясь за Писарева, он уже решил сделаться его последователем. Но когда начал читать, то, к своему удовольствию, убедился, что и в тайниках души он разделяет его мнения. Все было так ясно, так просто, что оставалось только запомнить получше – и конец. Карташев вообще не отличался усидчивостью, но Писарев захватил его. Места, поражавшие его особенно, он перечитывал даже по два раза и повторял их себе, отрываясь от книги. Ему доставляла особенно

наслаждение эта вдруг появившаяся в нем усидчивость.

Иногда он наталкивался на что-нибудь, с чем не соглашался, и решал обратиться на это внимание Корнева. «Что ж, что не согласен? Сам Писарев говорит, что не желает слепых последователей».

Карташев чувствовал даже удовольствие от мысли, что он не согласен с Писаревым.

«Наверно, Корневу это будет неприятно». — думал он.

На другой день под предлогом нездоровья он не пошел в гимназию, следующий был воскресенье, а когда в понедельник он наконец отправился в класс, то уж оба томика Писарева были исправно прочитаны.

От матери не скрылось усиленное чтение сына, и она, войдя к нему в кабинет, некоторое время смущенно рассматривала книгу.

Карташев внимательно наблюдал ее.

— Ты читала? — спросил он.

— Откуда ты взял? — спросила, в свою очередь, мать.

— У товарища одного: Корнева.

— Читала, — сказала мать и задумалась. — Я хотела, чтоб ты позже познакомился с этой книгой.

— Я и так почти единственный в классе, который не читал Писарева. Я думаю, и тебе неприятно, чтоб твой сын, как дурак, мигал и хлопал глазами, когда другие говорят умные вещи...

— Мне, конечно, это неприятно, но мне еще неприятнее было бы, если б мой сын, как дурак, повторял чужие слова и мысли, не будучи в силах сам критически к ним отнестись.

Карташев, ничего не говоря, подошел к своему столу и взял исписанный лист бумаги.

— Прочти... это тебе покажет, умею ли я критически относиться к тому, что читаю.

— Это что?

— Это выписаны места, с которыми я не согласен.

Заметки были вроде следующего:

«Я не могу согласиться насчет музыки, — он любил сигары, а я музыку».

Мать подавила улыбку и проговорила:

— Читай.

— Знаешь, Корнев сказал: «Как это у тебя такая умная и развитая мать и до сих пор не дала тебе Писарева».

Карташев любовался исподтишка смущением матери и ждал ее ответа.

— Корневу мать дала?

— Нет... У Корнева мать простая совсем.

— Ты видел ее?

— Я вот заходил, когда книги брал у него.

— Кто ж у него еще?

— Сестра есть.

— Большая?

— Лет пятнадцати, верно.

— Учится?

— Да, в гимназии. Мы ее и встретили возле гимназии, когда шли... Вот Зина жалуется на меня, а посмотрела бы на Корнева...

— Что ж, он обижает сестру?

— Не обижает, а воли ей над собой не дает.

— А над тобой кто ж волю дает?

— Ну-у...

— Что ж, Корнев и к тебе станет ходить, или ты только к нему?

Карташев сдвинул брови.

— Я его не звал.

— В обществе, по крайней мере, принято, что раз ты бываешь, то и у тебя должны бывать.

— Какое ж мы общество?

- Да уж раз вам дело до Писарева, значит, вы взрослые.
- Писареву все равно, будут ли люди соблюдать разные такие житейские церемонии или нет, – усмехнулся Карташев.
- Вот ты как! Ну, а все-таки я бы тебя попросила – пока ты у меня в доме, бывать только у тех, кто и тобой не пренебрегает.
- Да за что же ему мной пренебрегать?
- А в таком случае зачем же он к тебе не идет? Ты уж не маленький и должен понимать, что самолюбие выше всего: раз позволишь себе наступить на ногу – и конец, – на тебя всегда будут сверху вниз смотреть.
- Да я уверен, что он и придет ко мне.
- Посмотрим.

После первых двух томов Писарева Карташев прочел еще несколько других, заглянув в Добролюбова, просмаковал введение Бокля, читал Щапова и запомнил, что первичное племя, населявшее Россию, было курганное и череп имело субликоцефалический.

Отношения Корнева и Карташева изменились: хотя споры не прекращались и носили на себе все тот же страстный, жгучий характер, но в отношении вкралось равенство. Карташева стала приглашать партия Корнева на свои вечера: Карташев потянул за собой и свою компанию. Даже Семенов примирился, бывал на чтениях и убедился, что там не происходит ничего, за что могло бы последовать исключение кого бы то ни было из гимназии.

Берендя тоже с жаром и страстностью набросился на чтение и постепенно приобрел некоторое уважение в кружке как человек начитанный, с громадной памятью, как ходячая энциклопедия всевозможных знаний.

Иногда, если у компании хватало терпения, его дослушивали до конца, и тогда из тумана высокопарных слов выплывала какая-нибудь оригинальная, обобщенная и обоснованная мысль.

Корнев тогда задумывался, грыз ногти и пытливо заглядывал ему в глаза, пока высокий Берендя, в позе танцора, подымаясь еще выше на носки и осторожно прижимая руки к груди, спешно выкладывал перед всеми свои соображения.

Только в глазах Вервицкого Берендя сохранил свой прежний вид дурня и растеряхи в практической жизни. Впрочем, таким он и был в общежитских отношениях: был на счету у начальства неспособным, имел плохие отметки, по математике из двойки не вылезал и только по истории имел круглую пятерку. Историю, и особенно русскую, он любил до болезни. Обладая громадной памятью, он помнил все года и перечитал массу исторических русских книг.

Барометр товарищеских отношений – Долба снисходительно трепал Берендю по плечу и добродушно говорил:

- Бокль не Бокль, а дай же, боже, щоб наше теля да вивка съило.

Аглаида Васильевна добила свое. Однажды Карташев после долгих колебаний (он все боялся, что не захотят к нему прийти) пригласил к себе Корнева, Рыльского, Долбу и прежних своих приятелей – Семенова, Вервицкого и Берендю.

Прежние приятели уже собрались и пили вечерний чай за большим семейным столом, когда раздался звонок и в переднюю ввалились вновь прибывшие. Они раздевались, переглядывались между собою и громко перебрасывались словами.

Рыльский, прежде чем войти, вынул чистенький гребешочек, причесал им и без того свои гладкие, мягкие, золотистые волосы, оправил *pince-nez*, весело покосился на замечание Корнева «хорош», проговорив «рыло», и первый вошел в гостиную. Увидев общество в другой комнате, он уверенно направился туда.

За ним вошел Корнев, невозможно перекосив лицо и с каким-то особенно глубокомысленным, сосредоточенным видом.

Сзади всех, покачиваясь, с оттенком какого-то пренебрежения и в то же время конфузливости, шел Долба, потирая руки и ежась, точно ему было холодно.

Карташев вышел в гостиную навстречу гостям и сконфуженно пожал им руки. Несколько

мгновений он стоял перед своими гостями, а гости стояли перед ним, не зная, что с собою делать.

– Тёма, води своих гостей в столовую! – выручила мать.

Раскланиваясь перед Аглаидой Васильевной, Рыльский шаркнул, наклонив голову, и, вежливо еще раз поклонившись, пожал протянутую ему руку. Корнев слил все в одном поклоне, сжал крепко руку, низко наклонил голову и еще больше перекосил лицо. Долба размашисто наклонился и после пожатия, поднимая голову, энергично тряхнул волосами, и они, разлетевшись веером, опять улеглись на свои места.

– Очень приятно, очень рада, господа, познакомиться, – говорила Аглаида Васильевна, приветливо и внимательно окидывая взглядом гостей.

Карташев в это время весь превратился в зрение и, по своей впечатлительности, не замечал, как он и сам кланялся, когда представлялись его товарищи.

– Ты, чем кланяться, представь-ка лучше сестре, – посоветовал добродушно Рыльский, смотревший в это время на сестру Карташева в нерешительном ожидании, когда его представят.

Зинаида Николаевна весело рассмеялась, Рыльский тоже – и все сразу получило какой-то непринужденный, свободный характер.

Рыльский сел возле Зинаиды Николаевны, смеялся, острил, ему помогал Семенов. Корнев завел серьезный разговор с Аглаидой Васильевной. Долба разговаривал с Карташевым, Вервицкий и Берендя молча слушали.

Зинаида Николаевна, уже семнадцатилетняя барышня, в последнем классе гимназии, ожидавшая гостей брата с некоторым пренебрежением, покраснела, разговорилась, и мать с удовольствием подметила в своей дочери способность и занимать гостей, и уметь нравиться без всяких шокирующих манер. Все в ней было просто до скромности, но как-то естественно изящно: поворот головы, смущенье, манера опускать глаза – все удовлетворяло требовательную Аглаиду Васильевну. Зато Тёма оставлял желать многого: он конфузился, разбрасывался, не зная, что делать с своими руками, и невыносимо горбился.

Корнев еще хуже горбился. Зато Рыльский держал себя безукоризненно. Его поклоны и манеры обворожили всех. Долба производил какое-то болезненное впечатление желанием чем-нибудь, как-нибудь выдвинуться. У Семенова была видна домашняя дрессировка. Вервицкий и Берендя были для Аглаиды Васильевны старые знакомые медвежата.

Общество перешло в гостиную. Аглаида Васильевна, пропустив всех, мысленно определяла место своего сына в обществе его товарищей.

Зинаида Николаевна села за рояль, Семенов принялся открывать свою скрипку. Рыльский стал возле рояля, Корнев и Долба с кислой физиономией ходили вдоль окон и посматривали по сторонам. Корнев жалел, что пришел и теряет вечер в неинтересной для него обстановке.

Аглаида Васильевна ушла и возвратилась, держа за руку Наташу.

Стройная пятнадцатилетняя Наташа, вся разгоревшись, смотрела своими глубокими большими глазами так, как смотрят в пятнадцать лет на такое крупное событие, как первое знакомство с таким большим обществом. Она как-то и доверчиво, и неуверенно, и робко протягивала свою изящную ручку гостям. Ее густые волосы были заплетены в одну толстую косу сзади.

Появление ее было встречено общим удовольствием: она сразу произвела впечатление. Корнев впился в нее глазами и энергично принялся за свои ногти. Лучистые глаза Беренди стали еще лучистее.

Зина мельком окинула сестру, гостей, и удовольствие пробежало по ее лицу. Ей был приятен и эффективный выход сестры, и, может быть, и то, что Семенов и Рыльский остались при ней. Это она почувствовала сразу по свойству женской натуры. Почувствовала это и мать и, оставив дочь возле Корнева, принялась за Долбу.

Долба горячо и уверенно говорил с ней о притеснениях урядников в деревне. Аглаида Васильевна никогда не предполагала, чтобы урядники были таким злом. У нее у самой именье... Он сам откуда? Недалеко от ее имения? Вот как! Очень приятно. Летом, она надеется...

– Очень приятно, – говорил Долба, смеялся и шаркал ногами.

Только он ведь медведь, простой деревенский медведь, он боится быть скучным, неинтересным гостем.

Аглаида Васильевна на мгновение опустила глаза, легкая усмешка пробежала по ее лицу, она посмотрела на сына и заговорила о том, как быстро идет время и как странно ей видеть таким большим своего сына. Он совсем почти большой, шутка сказать, через каких-нибудь два года уже в университете. Долба слушал, смотрел на Аглаиду Васильевну и весело думал: «Ловкая баба».

Семенов устроился, наладился, вытянул руку, и по зале понеслись твердые звуки скрипки вперемежку с мягкой мелодичной игрой Зинаиды Николаевны.

– Хорошо Зинаида Николаевна играет, – похвалил Рыльский.

Зинаида Николаевна вспыхнула, а Семенов сосредоточенно кивнул головой, продолжая водить ровные твердые звуки.

– А вы играете? – спросил Корнев, заглядывая в глаза Наташи.

– Плохо, – робко, обжигая взглядом, ответила Наташа так, как будто просила извинения у Корнева. Корнев опять принялся за ногти и чувствовал себя особенно хорошо.

Вечер прошел незаметно и оживленно. Аглаида Васильевна с большим тактом сумела позаботиться о том, чтобы никому не было скучно: было и свободно, но в то же время чувствовалась какая-то незаметная, хотя и приятная рука.

С приездом последнего гостя, Дарсье, сразу очаровавшего всех непринужденностью своих изящных манер, совершенно неожиданно вечер закончился танцами: танцевали Дарсье, Рыльский и Семенов. Даже танцевали мазурку, причем Рыльский прошелся так, что вызвал общий восторг.

Наташа сперва не хотела танцевать.

– Отчего же? – иронически убеждал ее Корнев. – Вам это необходимо... Вот года через три начнете выезжать, там... ну, как все это водится.

– Я не люблю танцев, – отвечала Наташа, – и никогда выезжать не буду.

– Вот как... отчего ж это?

– Так... не люблю...

Но в конце концов и Наташа пошла танцевать.

Ее тоненькая, стройная фигурка двигалась неуверенно по зале, торопливо забегаая вперед, а Корнев смотрел на нее и сосредоточеннее обыкновенного грыз свои ногти.

– Н-да... – протянул он рассеянно, когда Наташа опять села возле него.

– Что да? – спросила она.

– Ничего, – нехотя ответил Корнев. Помолчав, он сказал: – Я все вот хотел понять, в чем тут удовольствие в танцах... Я, собственно, не против движений еще более диких, но... это удобно на воздухе где-нибудь, летом... знаете, находит вот такое настроение шестимесячного теленка... видали, может, как, поднявши хвост... Кажется, я употребляю выражения, не принятые в порядочном обществе...

– Что тут неприязного?

– Тем лучше в таком случае... Так вот и я иногда бываю в таком настроении...

– Бывает, бывает, – вмешался Долба, – и тогда мы его привязываем на веревку и бьем.

Долба показал, как они бьют, и залился своим мелким смехом. Но, заметив, что Корневу что-то не понравилось, он смутился и деловым и в то же время фамильярным голосом спросил:

– Послушай, брат, а не пора ли нам и убираться?

– Рано еще, – вскинула глазами Наташа на Корнева.

– Да что тебе, – ответил Корнев, – сидишь и сиди.

– Ну что ж: кутить так кутить...

Корнев не жалел больше о потерянном вечере.

Уже когда собирались расходиться, Берендя вдруг выразил желание сыграть на скрипке, и сыграл так, что Корнев шепнул Долбе:

– Ну, если б теперь луна да лето: тут бы все и пропали...

На обратном пути все были под обаянием проведенного вечера.

– Да ведь маменька-то, черт побери, – кричал Долба, – старшая сестра: глаза-то, глаза. Ах, черт... глаза у них у всех...

– Ах, умная баба, – говорил Корнев. – Ну, баба...

– Да-да... – соглашался Рыльский. – Наш-то под каблучком.

– Та-а-кая тюря!

И Долба, приседая, залился своим мелким смехом. Ему вторил веселый молодой хохот остальной компании и далеко разносился по сонным улицам города.

У Карташевых долго еще сидели в этот вечер. В гостиной продолжали гореть лампы под абажурами, мягко оттеняя обстановку. Зина, Наташа и Тёма сидели, полные ощущения вечера и гостей, которые еще чувствовались в комнатах.

Зина хвалила Рыльского, его манеру, его находчивость, остроумие; Наташе нравился Корнев и даже его манера грызть ногти. Тёме нравилось все, и он жадно ловил всякий отзыв о своих товарищах.

– У Дарсье и Рыльского больше других видно влияние порядочной семьи, – говорила Аглаида Васильевна.

Карташев слушал, и в первый раз с этой стороны освещались пред ним его товарищи: до сих пор мерило было другое, и между ними всегда выдвигался и царил Корнев.

– У Семенова натянутость некоторая, – продолжала Аглаида Васильевна.

– Мама, ты заметила, как Семенов ходит? – быстро спросила Наташа, и, немного расставив руки, вывернув носки внутрь, она пошла, вся поглощенная старанием добросовестно представить себе в этот момент Семенова.

– А твой Корнев вот так грызет ногти! – И Зина карикатурно сгорбилась в три погибели, изображая Корнева.

Наташа внимательно, с какой-то тревогой следила за Зиной и вдруг, весело рассмеявшись, откидывая свою косу, сказала:

– Нет, не похож...

Она решительно остановилась.

– Вот...

Она немного согнулась, уставила глаза в одну точку и раздумчиво поднесла свой маленький ноготок к губам: Корнев, как живой, появился между разговаривавшими.

Зина вскрикнула: «Ах! как похож!» Наташа весело рассмеялась и сразу сбросила с себя маску.

– Надо, Тёма, стараться держать себя лучше, – сказала Аглаида Васильевна, – ты страшно горбишься... Мог бы быть эффектнее всех своих товарищей.

– Ведь Тёма, если б хорошо держался, был бы очень представительный... – подтвердила Зина. – Что ж, правду сказать, он очень красив: глаза, нос, волосы...

Тёма конфузливо горбился, слушал с удовольствием и в то же время неприятно морщился.

– Ну, что ты, Тёма, точно маленький, право... – заметила Зина. – Но все это у тебя, как начнешь горбиться, точно пропадает куда-то... Глаза делаются просительными, точно вот-вот копеечку попросишь...

Зина засмеялась. Тёма встал и заходил по комнате. Он мельком взглянул на себя в зеркало, отвернулся, пошел в другую сторону, незаметно выпрямился и, направившись снова к зеркалу, мельком заглянул в него.

– А как ловко танцевать с Рыльским! – воскликнула Зина. – Не чувствуешь совсем...

– А с Семеновым я все сбивалась, – сказала Наташа.

– Семенову непременно надо от двери начинать. Он ничего себе танцует... с ним удобно... только ему надо начать... Дарсье отлично танцует.

– У тебя очень милая манера, – бросила мать Зине.

– Наташа тоже хорошо танцует, – похвалила Зина, – только немножко забегает...

– Я совсем не умею, – ответила Наташа, покраснев.

– Нет, ты очень мило, только торопиться не надо... Ты как-то всегда прежде кавалера начинаешь... Вот, Тёма, не хотел учиться танцевать, – закончила Зина, обращаясь к брату, – а если бы тоже танцевал, как Рыльский.

– А ты бы мог хорошо танцевать, – сказала Аглаида Васильевна.

У Тёмы в воображении представился он сам, танцующий, как Рыльский: он даже почувство-

вал его *pinse-peuz* на своем носу, оправился и усмехнулся.

– Вот ты в эту минуту на Рыльского был похож, – вскрикнула Зина и предложила: – Давай, Тёма, я тебя сейчас выучу польку. Мама, играй.

И неожиданно, под музыку Аглаиды Васильевны, началась дрессировка молодого медвежонка.

– Раз, два, три, раз, два, три! – отсчитывала Зина, приподняв кончик платья и проделывая перед Тёмой па польки.

Тёма конфузливо и добросовестно подпрыгивал. Наташа, сидя на диване, смотрела на брата, и в ее глазах отражались и его конфузливость, и жалость к нему, и какое-то раздумье, а Зина только изредка улыбалась, решительно поворачивая брата за плечи, и приговаривала:

– Ну, ты, медвежонок!

– Ой, ой, ой! Четверть первого: спать, спать! – заявила Аглаида Васильевна, поднявшись со стула, и, осторожно опустив крышку рояля, потушила свечи.

Жизнь шла своим чередом. Компания ходила в класс, кое-как готовила свои уроки, собиралась друг у друга и усиленно читала, то вместе, то каждый порознь.

Карташев не отставал от других. Если для Корнева чтение было врожденною потребностью в силу желания осмыслить себе окружающую жизнь, то для Карташева чтение являлось единственным путем выйти из того тяжелого положения «неуча», в каком он себя чувствовал.

Какой-нибудь Яковлев, первый ученик, ничего тоже не читал, был «неуч», но Яковлев, во-первых, обладал способностью скрывать свое невежество, а во-вторых, его пассивная натура и не толкала его никуда. Он стоял у того окошечка, которое прорубали ему другие, и никуда его больше и не тянуло. Страстная натура Карташева, напротив, толкала его так, что нередко действия его получали совершенно произвольный характер. С такой натурой, с потребностью действовать, создавать или разрушать – плохо живет полуобразованным людям: *demi-instruit – double sot*,¹ – говорят французы, и Карташев достаточно получил ударов на свою долю от корневской компании, чтоб не стремиться страстно, в свою очередь, выйти из потемок, окружавших его. Конечно, и читая, по множеству вопросов он был еще, может быть, в большем тумане, чем раньше, но он уже знал, что он в тумане, знал путь, как выбираться ему понемногу из этого тумана. Кое-что уж было и освещено. Он с удовольствием жал руку простого человека, и сознание равенства не гнело его, как когда-то, а доставляло наслаждение и гордость. Он не хотел носить больше цветных галстуков, брать с туалета матери одеколон, чтоб надушиться, мечтать о лакированных ботинках. Ему даже доставляло теперь особенное удовольствие – неряшливость в костюме. Он с восторгом прислушивался, когда Корнев, считая его своим уже, дружески хлопал его по плечу и говорил за него на упрек его матери:

– Куда нам с суконным рылом!

Карташев в эту минуту был бы очень рад иметь самое настоящее суконное рыло, чтоб только не походить на какого-нибудь франтоватого Неручева, их соседа по имению.

Компания после описанного вечера, как ни весело провела время, избегала под разными предлогами собираться в доме Аглаиды Васильевны. Аглаиду Васильевну это огорчало, огорчало и Карташева, но он шел туда, куда шли все.

– Нет, я не сочувствую вашим вечерам, – говорила Аглаида Васильевна, – учишься ты плохо, для семьи стал чужим человеком.

– Чем же я чужой? – спрашивал Карташев.

– Всем... Прежде ты был любящим, простым мальчиком, теперь ты чужой... ищешь недостатки у сестер.

– Где же я их ищу?

– Ты нападаешь на сестер, смеешься над их радостями.

– Я вовсе не смеюсь, но если Зина видит свою радость в каком-нибудь платье, то мне, конечно, смешно.

¹ Полуобразованный – вдвойне дурак (*фр.*).

– А в чем же ей видеть радость? Она учит уроки, идет первой и полное право имеет радоваться новому платью.

Карташев слушал, и в душе ему было жаль Зину. В самом деле: пусть радуется своему платью, если оно радует ее. Но за платьем шло что-нибудь другое, за этим опять свое, и вся сеть условных приличий снова охватывала и оплетала Карташева до тех пор, пока он не восставал.

– У тебя все принято, не принято, – горячо говорил он сестре, – точно мир от этого развалится, а все это ерунда, ерунда, ерунда... яйца выеденного не стоит. Корнева ни о чем этом не думает, а дай бог, чтоб все такие были.

– О-о-о! Мама! Что он говорит?! – всплескивала руками Зина.

– Чем же Корнева так хороша? – спрашивала Аглаида Васильевна. – Учится хорошо?

– Что ж учится? Я и не знаю, как она учится.

– Да плохо учится, – с сердцем пояснила Зина.

– Тем лучше, – пренебрежительно пожимал плечами Карташев.

– Где же предел этого лучше? – спрашивала Аглаида Васильевна, – быть за неспособность выгнанной из гимназии?

– Это крайность: надо учиться середка наполовинку.

– Значит, твоя Корнева середка наполовинке, – вставляла Зина, – ни рыба ни мясо, ни теплое ни холодное – фи, гадость!

– Да это никакого отношения не имеет ни к холодному, ни к теплему.

– Очень много имеет, мой милый, – говорила Аглаида Васильевна. – Я себе представляю такую картину: учитель вызывает: «Корнева!» Корнева выходит. «Отвечайте!» – «Я не знаю урока». Корнева идет на место. Лицо у нее при этом сияет. Во всяком случае, вероятно, довольное, пошлое. Нет достоинства!

Аглаида Васильевна говорит выразительно, и Карташеву неприятно и тяжело: мать сумела в его глазах унижить Корневу.

– Она много читает? – продолжает мать.

– Ничего она не читает.

– И не читает даже...

Аглаида Васильевна вздохнула.

– По-моему, – грустно говорит она, – твоя Корнева пустенькая девчонка, к которой только потому нельзя относиться строго, что некому указать ей на ее пустоту.

Карташев понимает, на что намекает мать, а скрепя сердце принимает вызов:

– У нее мать есть.

– Перестань, Тёма, говорить глупости, – авторитетно останавливает мать. – Ее мать такая же неграмотная, как наша Таня. Я сегодня тебе одену Таню, и она будет такая же, как и мать Корнева. Она, может быть, очень хорошая женщина, но и эта самая Таня при всех своих достоинствах все-таки имеет недостатки своей среды, и влияние ее на свою дочь не может быть бесследным. Надо уметь различать порядочную, воспитанную семью от другой. Не для того дается образование, чтоб в конце концов смешать в кашу все то, что в тебя вложено поколениями.

– Какими поколениями? Все от Адама.

– Нет, ты умышленно сам себя обманываешь; твои понятия о чести тоньше, чем у Еремея. Для него не доступно то, что понятно тебе.

– Потому что я образованнее.

– Потому что ты воспитаннее... Образование одно, а воспитание другое.

Пока Карташев задумывался перед этими новыми барьерами, Аглаида Васильевна продолжала:

– Тёма, ты на скользком пути, и если твои мозги сами не будут работать, то никто тебе не поможет. Можно выйти пустоцветом, можно дать людям обильную жатву... Только ты сам и можешь помочь себе, и тебе больше, чем кому-нибудь, грех: у тебя семья такая, какой другой ты не найдешь. Если в ней ты не почерпнешь сил для разумной жизни, то нигде и никто их не даст тебе.

– Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.

– Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья – это те камни, из которых сложен этот

зал.

Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.

Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.

Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.

– Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, – сказал он матери с силой и выразительностью, – а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь...

– Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.

Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:

– Мама, я иду к Корневу.

И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.

IV ГИМНАЗИЯ

В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.

С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.

С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.

Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробежал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:

– Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.

А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.

Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую.

Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека.

Он говорил быстро и слегка заикаясь. Несмотря на молодость, у него уже было порядочно отвислое брюшко.

Маленькие жертвы, умевшие плакать перед ним и целовать его руки, за глаза, пораженные, вероятно, несоответственностью его брюшка, называли его «беременной сукой».

В общем, это был тиран – убежденный и самолюбивый, про которого рассказывали, что на юбилее Каткова, когда того качали, он так подвернулся, что Катков очутился сидящим на его спине. Так и звали его поэтому в старших классах: катковский осел.

Учитель словесности, Митрофан Семенович Козарский, был маленький мрачный человек со всеми признаками злой чахотки. На голове у него была целая куча нечесаных, спутанных курчавых волос, в которые он то и дело желчно запускал свою маленькую, с пальцами врозь, руку. Он всегда носил темные, дымчатые очки, и только изредка, когда снимал их, чтобы протереть, ученики видели маленькие серые, злые, как у цепной собаки, глаза. Он и рычал как-то по-собачьи. Трудно было заставить его улыбнуться, но когда он улыбался, еще труднее было признать это за улыбку, точно кто насильно растягивал ему рот, а он всеми силами этому противился. Ученики хотя и боялись его, и зубрили исправно разные древние славянские красоты, но и пытались заигрывать с ним.

Такое заигрыванье редко сходило даром.

Однажды, как только кончилась перекичка, Карташев, считавший своею обязанностью во всем сомневаться, что, впрочем, выходило у него немного насильственно, встал и решительным, взволнованным голосом обратился к учителю:

– Митрофан Семенович! Для меня непонятно одно обстоятельство в жизни Антония и Феодосия.

– Какое-с? – сухо насторожился учитель.

– Я боюсь спросить вас, так оно несообразно.

– Говорите-с!

Козарский нервно подпер рукою подбородок и впился в Карташева.

Карташев побледнел и, не сводя с него глаз, высказал, хотя и путано, но в один залп, свои подозрения в том, что в назначении боярина Федора было пристрастие.

По мере того как он говорил, брови учителя подымались все выше и выше. Карташеву казалось, что на него смотрят не очки, а темные впадины чьих-то глаз, страшных и таинственных. Ему вдруг сделалось жутко от своих собственных слов. Он уж рад был бы и не говорить их, но все было сказано, и Карташев, замолчав, подавленный, растерянный, глупым, испуганным взглядом продолжал смотреть в страшные очки. А учитель все молчал, все смотрел, и только ядовитая гримаса сильнее кривила его губы.

Густой румянец залил щеки Карташева, и мучительный стыд охватил его. Наконец Митрофан Семенович заговорил тихо, размеренно, и слова его закапали, как кипятки, на голову Карташева:

– До такой гадости... до такой пошлости может довести человека желание вечно оригинальничать...

Класс завертелся в глазах Карташева. Половина слов пролетела мимо, но довольно было и тех, которые попали в его уши. Ноги подкосились, и он сел, наполовину не сознавая себя. Учитель нервно, желчно закашлялся и схватился своей маленькой, растрепанной рукой за впалую грудь. Когда припадок прошел, он долго молча ходил по классу.

– В свое время в университете с вами подробно коснутся того печального явления в нашей литературе, которое вызвало и вызывает такое шутовское отношение к жизни.

Намек был слишком ясен и слишком обидным показался для Корнева.

– История нам говорит, – не утерпел он, бледнея и подымаясь с перекосившимся лицом, – что многое из того, что современникам казалось шутовским и не стоящим внимания, в действительности оказывалось совсем другим.

– Ну-с, а это не окажется, – круто повернул к нему свои темные очки учитель. – И не окажется по тому по самому, что это – история, а не передержка. Ну-с, во всяком случае, это не современная тема. Что задано?

Учитель погрузился в книгу, но сейчас же оторвался и снова заговорил:

– Мальчишеству нет места в истории. Пятьдесят лет тому назад живший поэт для понимания требует знания эпохи, а не выдергиванья его из нее и привлечения в качестве подсудимого на скамью современности.

– Но стихи этого поэта «Подите прочь»² мы, современники, учим на память...

Митрофан Семенович высоко поднял брови, оскалил зубы и молча смотрел, как скелет в синих очках, на Корнева.

– Да-с, учите... должны учить... и если не будете знать, получите единицу... И не вашей-с компетенции это дело.

– Может быть, – вмешался Долба, – мы не компетентны, но хотим быть компетентными.

– Ну-с, Дарсье! – вызвал учитель.

Долба встретился глазами с Рыльским и пренебрежительно потупился.

Когда урок кончился, Карташев сконфуженно поднялся и вытянулся.

– Что, брат, отбрил тебя? – добродушно хлопнул его по плечу Долба.

– Отбрил, – неловко усмехнулся Карташев, – черт с ним.

– Да не стоит с ним и спорить, – согласился Корнев. – Что ж это за приемы? неграмотные, мальчишки... А если бы только его грамотой ограничивались, так были бы грамотные?

– Положим... – начал было своим обычным авторитетным тоном Семенов.

– Пожалуйста, не клади, – весело перебил его Рыльский, – потому что положишь и не подымешь.

Учитель истории Леонид Николаевич Шатров давно завоевал себе популярность между учениками.

Он поступил учителем в гимназию как раз в тот год, когда описываемая компания перешла в третий класс.

И своей молодостью, и мягкими приемами, и тем одухотворенным, что так тянет к себе молодые, нетронутые сердца, Леонид Николаевич постепенно привлек к себе всех, так что в старших классах ученики относились к нему и с уважением и с любовью. Одно огорчало их, что Леонид Николаевич славянофил, хотя и не «квасной», как пояснял Корнев, а с конфедерацией славянских племен, с Константинополем во главе. Это смягчало несколько тяжесть его вины, но все-таки компания становилась в тупик: не мог же он не читать Писарева, а если читал, то неужели же он так ограничен, что не понял его? Как бы то ни было, но ему извиняли даже славянофильство и урок его всегда ожидался с особым удовольствием.

Появление его неказистой фигуры, с большим широким лбом, длинными прямыми волосами, которые он то и дело закладывал за ухо, с умными, мягкими, карими глазами, всегда как-то особенно возбуждало учеников.

И его «пытали». То книжку Писарева нечаянно забудут на столе, то кто-нибудь пустит вскользь на тему из области общих вопросов, а то выскажет и связное соображение. Учитель выслушает, усмехнется, пожмет плечами и скажет:

– Сократитесь, почтеннейший!

А то заметит:

² Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа».

– Экие еще ребята!

И так скажет загадочно, что ученики не знают, радоваться им или печалиться, что они еще ребята.

Леонид Николаевич очень любил свой предмет. Любя, он заставлял и соприкасавшихся с ним любить то, что любил сам.

В тот урок, когда он, сделав переключку, скромно подымался и, закладывая прядь волос за ухо, говорил, спускаясь с своего возвышения: «Я сегодня буду рассказывать», – класс превращался в слух и готов был слушать его все пять уроков подряд. И не только слушали, но и аккуратно записывали все его выводы и обобщения.

Манера говорить у Леонида Николаевича была какая-то особенная, захватывавшая. То, расхаживая по классу, увлеченный, он группировал факты, для большей наглядности точно хватая рукой их в кулак своей другой руки, то переходил к выводам и точно вынимал их из зажатого кулака взамен тех фактов, которые положил туда. И всегда получался ясный и логичный вывод, строго обоснованный.

В рамках научной постановки вопроса, более широкой, чем программа гимназического курса, ученики чувствовали себя и удовлетворенными и польщенными. Леонид Николаевич пользовался этим и организовал добровольную работу. Он предлагал темы, и желающие брались, руководствуясь указанными им источниками и своими, если боялись одностороннего освещения вопроса.

Так, в шестом классе одну тему – «Конфедерация славянских племен в удельный период» – долго никто не хотел брать. Решился наконец Берендя, выговорив себе право, что если, после знакомства с указанным учителем главным источником, Костомаровым, постановка вопроса ему не понравится, то он волен прийти к другому выводу.

– Обоснованному? – спросил Леонид Николаевич.

– Ко-конечно, – прижал Берендя свои пальцы к груди и поднялся, по обыкновению, на носки.

Однажды Леонид Николаевич пришел в класс против обыкновения расстроенный и огорченный.

Новый попечитель, осмотрев гимназию, остался недоволен некоторой распушенностью учеников и недостаточностью фактических знаний.

Между другими был вызван к попечителю и Леонид Николаевич, и прямо с объяснения, очевидно неблагоприятного для него, он пришел в класс.

Ученики не сразу заметили скверное расположение духа учителя.

Сделав переключку, Леонид Иванович вызвал Семенова.

Ученики надеялись, что сегодняшний урок пройдет в рассказе.

Разочарование было неприятное, и все со скучными лицами слушали ответ Семенова.

Семенов тянул и старался выехать на общих местах.

Леонид Николаевич, наклонив голову, слушал, скучный, с болезненным лицом.

– Год? – спросил он, заметив, что Семенов уклонился от указания года.

Семенов сказал первый, подвернувшийся ему на язык, и соврал, конечно.

– Храбро, но Георгиевского креста не получите, – заметил полураздраженно, полушутя Леонид Николаевич.

– Он его получит при взятии Константинополя, – вставил Рыльский.

Леонид Николаевич нахмурился и опустил глаза.

– Никогда не получит, – задорно отозвался Карташев с своего места, – потому что федерация славянских племен с Константинополем во главе – неосуществимая ерунда.

– Вы, почтеннейший, сократитесь, – сказал Леонид Николаевич, поднимая на Карташева загоровшиеся глаза.

Карташев сконфузился и замолчал, но Корнев вступился за Карташева. Он проговорил язвительно и едко:

– Хороший способ полемизировать!

Леонид Николаевич побагровел, и жилы налились на его висках. Некоторое время длилось

молчание.

– Корнев, станьте без места.

С третьего класса Леонид Николаевич никого не подвергал такому унижительному наказанию.

Корнев побледнел, и лицо его перекошилось.

Гробовое молчание воцарилось в классе.

– Я не стану, – ответил замогильным голосом Корнев, приподымаясь с места.

Опять все смолкло. Что-то страшное надвинулось и вот-вот должно было воплотиться в какой-то непоправимый факт. Все напряженно ждали. Леонид Николаевич молчал.

– В таком случае прошу вас выйти из класса, – проговорил он, не поднимая глаз.

Точно камень свалился с плеч у каждого.

– Я не считаю себя виноватым, – заговорил Корнев. – Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я не сказал ничего такого, чего бы вы не разрешили мне сказать в другое время. Но если вы признаете меня виноватым, то я пойду...

Корнев начал пробираться к выходу.

– Начертите карту Древней Греции, – вдруг сказал ему Леонид Николаевич, указывая на доску, когда Корнев проходил мимо него.

Вместо наказания Корнев принялся вырисовывать на доске заданное.

– Карташев! Причины и повод крестовых походов.

Это была благодарная тема.

Карташев по Гизо изложил обстоятельно причины и повод крестовых походов.

Леонид Николаевич слушал, и, по мере того как говорил Карташев, с лица его сбегало напряженное, неудовлетворенное чувство.

Карташев хорошо владел речью и нарисовал яркую картину безвыходного экономического положения Европы как результат произвола, насилия и нежелания своевольных вассалов считаться с назревшими нуждами народа... Приведя несколько примеров обострившихся до крайности отношений между высшим и низшим сословиями, он перешел к практической стороне дела: к поводу и дальнейшему изложению событий.

Леонид Николаевич слушал оживленную речь Карташева, смотрел в его возбужденно горевшие глаза от гордого сознания осмысленности и толковости своего ответа, – слушал, и им овладевало чувство, может быть, схожее с тем, какое испытывает хороший наездник, обучая горячую молодую лошадь и чуя в ней ход, который в будущем прославит и лошадь и его.

– Ну-с, прекрасно, – с чувством заметил Леонид Николаевич, – довольно.

– Рыльский, экономическое состояние Франции при Людовике Четырнадцатом.

В речи Рыльского не было тех ярких красок и переливов, какими красиво сверкала речь Карташева. Он говорил сухо, сжато, часто обрывал свои периоды звуком «э», вообще говорил с некоторым усилием. Но в группировке фактов, в наслоении их чувствовалась какая-то серьезная деловитость, и впечатление картины получалось не такое, может быть, художественное, как у Карташева, но более сильное, бьющее фактами и цифрами.

Леонид Николаевич слушал, и чувство удовлетворения и в то же время какой-то тоски светило в его глазах.

– Кончил, – заявил Корнев.

Леонид Николаевич повернулся, быстро осмотрел исписанную им доску и сказал:

– Благодарю вас... садитесь.

Совершенно особого рода отношения существовали между учениками и учителем латинского языка Дмитрием Петровичем Воздвиженским.

Это был уж немолодой, с сильной проседью, красноносый человек, сутуловатый и сгорбленный, с голубыми глазами цвета нежного весеннего неба, составлявшими резкий контраст с угреватым лицом и щетинистыми, коротко подстриженными на щеках и бороде волосами. Эти волосы торчали грязной седоватой щетиной, а большие усы шевелились, как у таракана. Вообще «Митя» был неказист с виду, часто приходил в класс выпивши и обладал способностью действовать на

своих учеников так, что те сразу превращались в первоклассников-мальчишек. И Писарев, и Шелгунов, и Щапов, и Бокль, и Дарвин сразу забывались на те часы, когда бывали уроки латинского языка.

Никому не было дела до политических убеждений Мити, но много дела было до его красного большого носа, маленьких серых глаз, которые по временам вдруг делались очень большими, до его сутуловатой фигуры.

Еще издали заметивший его идущим по коридору влетал в класс с радостным криком:

– Идут!!

В ответ раздавался дружный рев сорока голосов. Подымалось вавилонское столпотворение: всякий по-своему, как хотел, спешил выразить свою радость. Ревели по-медвежьи, лаяли по-собачьи, кричали петухами, бил барабан. От избытка чувств вскакивали на скамьи, становились на голову, лупили друг друга по спинам, жали масло.

В дверях показывалась фигура учителя, и все мгновенно стихало, а затем, в такт его походки, все тихо, дружно приговаривали:

– Идут, идут, идут...

Когда он всходил на кафедру и останавливался вдруг у стола, все враз отрывочно вскрикивали:

– Пришли!

А когда он опускался на стул, все дружно кричали:

– И сели!

Водворялось выжидательное молчание. Нужно было выяснить вопрос: пьян Митя или нет?

Учитель принимал суровую физиономию и начинал щуриться. Это был хороший признак, и класс радостно, но нерешительно шептал:

– Щурится.

Вдруг он широко раскрывал глаза. Сомнения не было.

– Выкатил!! – раздавался залп всего класса.

Начиналась потеха.

Но учитель не всегда бывал пьян, и тогда при входе он сразу обрывал учеников, говоря скучным и разочарованным голосом:

– Довольно.

– Довольно, – отвечал ему класс и так же, как он, махал ручкой.

Затем следовало относительное успокоение, так как учитель хотя и был близорук, но так знал голоса, что, как бы ученики их ни меняли, всегда безошибочно угадывал виновника.

– Семенов, запишу, – отвечал он обыкновенно на какой-нибудь крик совы.

Если Семенов не унимался, то учитель и записывал его на лоскутке бумажки, причем говорил:

– Дайте мне клочок бумажки, – я вас запишу.

А класс на все лады повторял:

– Дайте мне клочок бумажки, – я вас запишу.

И все наперерыв спешили подать ему требуемое с тою разницею, что если он был трезв, то подавали бумагу, а если пьян, то несли, что могли: книги, шапки, перья – одним словом, все, только не бумагу.

Услыхали ученики, что учитель получил чин статского советника. В ближайший урок никто его иначе не называл, как «ваше превосходительство»... Причем каждый раз, как он собирался что-нибудь сказать, дежурный обращался к классу и испуганным шепотом говорил:

– Тс!.. Его превосходительство хотят говорить.

Известие, что Митя – жених, вызвало в учениках еще больший восторг. Это известие пришло как раз перед его уроком. Даже невозмутимый Яковлев, первый ученик, и тот поддался.

Рыльский согнул немного коленки, сгорбился, надул лицо и, приставив палец к губам, тихо, медленно, как надувшийся индюк, стал ходить, изображая Митю и приговаривая низким басом:

– Жених.

– Господа, надо почтить Митю, – предложил До лба.

– Надо, надо!

– Почтить Митю!

– Почтить! – подхватили со всех сторон и с жаром приступили к обсуждению программы праздника.

Решено было избрать депутацию, которая бы передала учителю поздравления класса. Выбрали Яковлева, Долбу, Рыльского и Берендю. Карташева забраковали по той причине, что он не выдержит и все дело испортит. Все было готово, когда в конце коридора появилась знакомая сутуловатая фигура учителя.

Долгополый форменный сюртук ниже колен, конусом вниз какие-то казацкие штаны, сверток под мышкой, густые волосы, щетина на щеках, колючая борода, торчащие усы и вся нахохлившаяся фигура учителя производила впечатление помятого после драки петуха. Когда он вошел, все чинно встали, и в классе воцарилась мертвая тишина.

Всех так и подмывало рывкнуть, потому что Митя был интереснее обыкновенного. Он шел, нацелившись, прямо к столу, неровно, быстро, стараясь соблюсти достоинство и стремительность в достижении цели, шел так, точно боролся с невидимыми препятствиями, боролся, одолевал и победоносно подвигался вперед.

Было очевидно, что на завтраке успели усердно поздравить жениха.

Лицо его было краснее обыкновенного: угри, налитый красный нос так и блестели.

– Просто хоть воду жми, – весело, громко заметил Долба, пожимая плечами.

Учитель усиленно заморгал, на мгновение задумался, уставившись в окно, и проговорил:

– Садитесь.

– Не можем, – ответил ему класс почтительным шепотом.

Митя опять задумался, выкатил глаза, замигал и повторил:

– Пустое, садитесь.

Тихий стон умирающих от нестерпимых судорог смеха сорока человек пронесся по классу.

С задних скамеек поднялись четыре выборных для поздравления депутата. Все они шли, каждый отдельно, по четырем проходам к учительскому месту, чинно и торжественно.

Учитель щурился, они шли, а класс, замирая, наблюдал.

Лучше других был Яковлев. Он священнодействовал. На его лице было написано такое величественное, несокрушимое достоинство, такое серьезное проникновение своей ролью и в то же время так коварно раздувались его ноздри, что без смеха на него нельзя было смотреть.

У Долбы получалось нечто неестественное, натянутое, желание разодолжить. Рыльский хотел быть актером и зрителем, к своей роли относился недостаточно серьезно. Долговязый Берендя шагал слишком невдохновенно своей обычной походкой человека, которого то и дело толкают в шею.

Когда депутаты вышли вперед скамеек, они остановились, выровнялись в одну линию и все враз, круто повернувшись лицом к классу, низко поклонились товарищам. Класс чинно и торжественно ответил своим уполномоченным таким же поклоном.

Митя по-прежнему только щурился на все эти загадочные действия и внимательно наблюдал то кланявшихся депутатов, то отвечавших им товарищей.

Откланявшись классу, депутаты, по два в ряд друг против друга, поклонились один другому сперва прямо, а затем накрест.

Новым маневром депутаты, четыре в ряд, стояли уже перед учителем и низко, почтительно кланялись ему в пояс. Приходилось волей-неволей выйти из роли наблюдателя.

Учитель сделал какое-то движение, среднее между поклоном и кивком головы, как бы говорившим: «Ну, положим... что ж дальше?»

Яковлев, слегка прокашлявшись, раздувая ноздри, начал:

– Дмитрий Петрович! товарищи поручили нам благодарить вас за честь, которую вы оказали одному из наших товарищей, вступая с ним в родство. Класс счастлив, узнав о вашем браке, и преподносит вам свои искренние поздравления.

– О да, искренние и самые сердечные поздравления, – пробасил кто-то.

– Кви-кви! – пронеслось по классу.

– Дмитрий Петрович! – говорил Яковлев, почтительно наклоняясь к учителю и раздувая ноздри.

Учитель, успевший и выкатить и прищуриться, задумался и, махнув, по обыкновению, ручкой, произнес своим обычным голосом:

– Пустое.

– Что, собственно, пустое? – почтительно спросил Яковлев.

– Все пустое.

– То есть как? Дело идет о браке... о счастье двух нежно любящих друг друга...

– Его нос любящий, – сорвался чей-то голос.

Класс завыл.

– Господа, я не могу... – сказал Яковлев, уже захлебываясь от смеха. – Вы мне мешаете...

Он зажал рот и не то заплакал, не то засмеялся.

Началось что-то совсем выходящее из ряда обыкновенного. Точно бешеный вихрь, пропитанный пьяными парами, ворвался в класс. Вскикивали, взвизгивали, били друг друга. Толпа ошалела. Карташев, точно обезумевший, сорвался с места и подлетел к учителю.

Учитель прищурился на него.

– Что вам угодно?

Меньше всего мог ответить Карташев, чего ему было угодно. Что-то подпирало ему бока; горло судорожно сжималось, хотелось выкинуть что-нибудь такое, чтоб и он и другие сразу лопнули от смеха.

– Мне угодно...

Какая-то молния пронизала Карташева.

– Жениться... – взвизгнул он, не помня себя, и присел к полу.

Ответ Карташева окончательно выбил учеников из колеи. Уже не стесняясь, забыв о присутствии учителя, весь класс охватился безумием Карташева.

– О-ой! Па-а-длец! – стонал Корнев, вскакивая и снова падая на скамью.

Учитель совсем ошалел.

– Вы кто? – всматриваясь, спросил он Карташева.

На секунду Карташев, приподнявшись, попытался было вдуматься в серьезность и ответственность своего положения. Но слишком уж расходилась пьяная поверхность неудержимого веселья. Новая ее волна захлестнула благоразумный порыв, и, охваченный этой волной, с новым подмывающим чувством ответственности Карташев с каким-то бесшабашным отчаянием взвизгнул:

– Я частный пристав.

Дикий вопль, рев пронесся в ответ по классу.

Учитель встал и заговорил вдруг голосом, сразу отрезвившим всех:

– Стыдитесь!

И, быстро захватив свой сверток, он вышел из класса.

Сразу оборвалось веселье, и все смотрели друг на друга, точно после крушения бешено разлетевшегося поезда.

Первое движение было чувство страха, что Митя пошел жаловаться.

Но пришел Иван Иванович и на невинный вопрос Долбы о Дмитрие Петровиче ответил:

– Заболел... домой ушел.

Значит, не пожаловался. Всех охватило вдруг раскаяние. Набросились на Карташева, стали упрекать его, что он вечно пересолит, что он испортил дело. Карташев принялся было оправдываться, передавать свои ощущения, как это все нечаянно вышло. Обвиняемый начал самым серьезным тоном, но, охваченный вдруг наплывом воспоминаний, кончил тем, что и сам, и все его судьи попадали на скамьи и зафыркали.

– Тише, господа, тише, – остановил Иван Иванович, выходя из своей задумчивости.

Урока два после этого в классе царил образцовое молчание, да и учитель приходил трезвым. Но потом Митя пришел опять выпивши и, по обыкновению, выкатив глаза, лукаво спросил, улыбаясь:

– Что ж так тихо, господа?

На это ему сначала рывкнули, а затем запели серенаду на мотив, специально для него сочиненный:

Воспеть тебя, о нос чухонский,
В полночный час дерзаю я:
И синь ты, нос, как свод небесный,
И ал, как алая заря!

«И синь» «и ал» с каким-то меланхолическим воплем подхватывал на разные голоса весь класс.

Митя внимательно выслушал и снисходительно произнес:

– Не так громко.

Конечно, никто его не послушал, и все пошло по-старому.

Чего только не предпринимало гимназическое начальство, чтоб водворить надлежащий порядок на уроках Дмитрия Петровича: оставляло без обеда и в розницу, и всем классом, ставило единицы за поведение и даже временно исключило одного, но ничто не помогало.

Было только одно средство прекратить беспорядок на уроках Дмитрия Петровича: это удалить его. Но Дмитрию Петровичу оставалось до пенсии всего два года, и были причины, почему все хотели помочь этому человеку как-нибудь дотянуть до конца свою службу. Когда случалось кому-нибудь из товарищей Дмитрия Петровича слушать восторженные рассказы учеников о проделках на его уроках, вместо веселого смеха учитель говорил с горечью:

– Эх, господа, если б вы знали этого человека... Это была звезда между нами.

Жизнь Дмитрия Петровича начиналась при счастливых условиях. Он был уже магистром, собирался жениться, как вдруг за что-то попал в крепость. Через три года он вышел оттуда. Невеста его уж была замужем за другим; он долго не мог получить никакого занятия. Прежние его покровители от него отвернулись. Он начал пить и принял единственное место, какое соглашались ему дать: место учителя латинского языка.

– Слабый человек, – говорили о нем все в один голос, – но прекрасной души и прекрасных правил.

В кругу тех, кто приходился ему по душе, Дмитрий Петрович был другим человеком, с громадным запасом знаний, остроумным, незлобивым, с ясным взглядом на жизнь европейски образованного человека. Но для учеников он был только Митя, старый, пьяный Митя, который терпеливо и весело позволял издеваться над собой, сколько кому было угодно.

V ЖУРНАЛ

Когда классы после вакаций только что начинались, рождество казалось таким далеким маяком среди однообразного, серого моря гимназической жизни.

Но вот и рождество: завтра сочельник и елка. Ветер гонит холодный снег по пустынным улицам и распахивает холодное форменное пальто Карташева, который один, не в обычной компании, спешит домой с последнего урока. Как быстро пролетело время. Где Данилов и Касицкий теперь? Море замерзло, вероятно. Давно, с тех пор как уехали друзья, не видал его Карташев.

Как переменилось все с тех пор. Совсем другая жизнь, другая обстановка. А Корнева? Неужели он влюблен? Да, влюблен безумно, и чего бы он не дал, чтоб быть всегда с ней, чтоб иметь право смотреть смело ей в глаза и говорить ей о своей любви. Нет, никогда не оскорбит он ее своим признанием, но он знает, что любит, любит и любит ее. А может быть, и она его любит?! Иногда она так заглядывает в глаза, что так и хочется схватить, обнять... Жарко Карташеву среди снежной метели: полурасстегнуто пальто, и, как во сне, шагает он по знакомым улицам. Давно уж он ходит по ним. И лето и зиму шагает. Какая-нибудь радостная мысль в голове свяжется с домом, на который упадет его взгляд, и этот дом и потом будит память. И мысль эта забудется, а дом все

чем-то притягивает к себе. Вот на этом углу он как-то встретил ее, и она кивнула ему и улыбнулась так, как будто вдруг обрадовалась. Зачем он тогда не подошел к ней? Она оглянулась еще раз издали, и сердце его замерло и заныло, и рванулось к ней, но он испугался, что она вдруг догадается, зачем он стоит, и он быстро пошел с озабоченным лицом. Ну, а если б она и догадалась, что он любит ее? О, это была бы, конечно, такая дерзость, которую ни она, никто не простил бы ему. Узнали бы все, отказали бы от дома, а Корнев какими бы глазами посмотрел бы на него? Нет, не надо! И так хорошо: любить в своем сердце. Карташев оглянулся. Да, вот и рождество, две недели никаких уроков, на душе и пустота, и удовольствие праздника. Он всегда любил рождество, и память связывала в одно и елку, и подарки, и аромат апельсинов, и кутью, и тихий вечер, и груды лакомств. А там, на кухне, колядуют. Они приходят оттуда с своими незатейливыми лакомствами: орехи, рожки, винные ягоды, им дарят платья, вещи.

Так шло всегда, сколько он помнит себя. В ярких огнях елки и камина, сейчас же после ужина, опять вдруг вспомнится любимая кутья, и он весело бежит и возвращается с полной тарелкой, садится против камина и ест. Наташа, его поклонница, крикнет: «И я». За ней Сережа, Маня, Ася, и все опять тут с тарелками кутьи. Не выдержит и Зина. Всем весело и смешно, и мать, нарядная, довольная, ласково смотрит на них. Что ему в этом году подарят? – подумал Карташев, звоня у подъезда.

На другой день вечером ему подарили фунт табаку и табачницу. И хотя он давно уже потихоньку курил, но теперь, получивши подарок, он долго еще не решался закурить при матери. И когда закурил, то с серьезным, озабоченным лицом сейчас же сел за подаренные Сереже сказки и начал внимательно читать их. Мать улыбалась, смотрела на него и, встав, молча подошла к нему и поцеловала его в голову. Он смущенно поцеловал ей руку и опять поспешно уткнулся в книгу. Кругом было обычное возбуждение и радость всех, а он думал: «Что-то теперь делает компания?»

Как раз в это время раздался звонок, и скоро в передней послышались топанье ног и веселый, уверенный голос Корнева:

– Эй, кто в бога верует, можно колядовать.

Раздался смех остальных: Рыльского и Долбы.

Карташев обрадовался товарищам, точно вечность не видался с ними. Он бросился в переднюю. Гости вошли. Аглаида Васильевна ласково встретила их:

– Вот это мило с вашей стороны.

– Ну, и отлично, – сказал Корнев. – А мы так думали, думали, да и решили к вам.

– Пожалуйста, – подсунул Карташев свой табак гостям.

– Это что?! Разрешение? Поздравляю!

– Ведь мы, надо вам знать, с третьего класса курим.

Корнев добродушно подмигнул Аглаиде Васильевне, принимаясь за папироску.

– Очень жаль.

– Да, конечно, очень, очень жаль... А-а, наше вам...

Вошли Зина и Наташа. Хотели было играть на рояле, но Аглаида Васильевна по случаю поста не позволила.

– Что ж мы делать будем? – спросил Корнев.

– Так сидите, вот чаю напьетесь...

– Мы всегда в этот вечер Гоголя или Диккенса читаем, – сказала Наташа.

И, подумав, она прибавила:

– Давайте Гоголя читать.

– Ну что ж, Гоголя так Гоголя, – согласился Корнев.

– Вы его заставьте, – сказал Долба, – он так читает, что вы лопнете от смеха.

– Ну, какое там чтение! – сконфузился Корнев.

Но его заставили, и он читал так, что и Аглаида Васильевна вытирала слезы от смеха.

Сидели, слушали и в то же время щелкали орехи, фисташки, миндаль. Потом подали чай. Карташев разошелся на скользком вопросе о религии, и дело дошло до маленького скандала.

– Для чего, собственно, совершенство? – рассуждал, как равноправный и взрослый, Карта-

шев. – Всякое совершенство тем совершеннее увидит зло и придет в отчаянье, отчаянье – порок. А если оно равнодушно, то это вдвое порок... Бесчувственное.

– Тёма! Как ни неприятно, а я должна тебя попросить замолчать.

Карташев сконфуженно уткнулся в свой стакан.

– Это что ж, цензура? – спросил Корнев.

– Да, цензура, – ответила твердо Аглаида Васильевна.

Рыльский пригнулся к сластям и рылся в них.

– Цензура достигает цели? – спросил он, ни к кому не обращаясь.

– Да, вполне, – сухо ответила Аглаида Васильевна.

– Гм... – Рыльский поднял голову, скользнул взглядом по лицам товарищей и, сделав серьезное лицо, опустил глаза.

Карташев обиделся на мать, посидел немного и, встав, ушел к себе в комнату.

Разговор и оживление оборвались.

Когда окончили чай, гости один за другим тоже направились в комнату Карташева.

– Ты что лежишь? – спросил его Корнев.

– Так, – нехотя ответил Карташев.

– Эх-хе-хе, покурить, что ли? Эх, табак там оставили!

Карташев позвал Таню и приказал принести табак. Посидели еще, и Рыльский предложил:

– А не пойти ли нам к Дарсье?

– Так что? – встрепнулся Долба.

– Ну, останемся, – сказал Карташев.

– Идем, – уговаривал Корнев.

Карташеву и самому хотелось.

– Неловко перед матерью.

– Ну пойдешь, выдумай ей что-нибудь, – сказал Рыльский, – не тебя учить.

– Вот что, – предложил Долба, – мы скажем ей, что мы по очереди решили сегодня всех обойти... были у вас, а теперь к Дарсье... Ты вот что... ты брось дуться... Мы теперь опять пойдем как ни в чем не бывало в гостиную, и ты иди, а немного погодя мы и поведем линию.

Через полчаса компания, проделав, что задумала, и захватив Карташева, уже шагала к Дарсье. Аглаиду Васильевну уговорили даже отпустить его ночевать к Дарсье, так как все решили там остаться.

– Надо вот что, – говорил Рыльский, отворачиваясь от ветра, – надо, чтоб Дарсье послал за Берендей и Вервицким.

– У! Непременно! Черт побери, устроим ночное бдение! – воскликнул Корнев.

– А может, он спит, подлец? – спросил Долба.

– Кто, Дарсье? Нашел дурака. Он спит только во время чтения.

У Дарсье любили собираться. Он хотя жил за городом, но в его распоряжении был целый дом, прекрасно меблированный. В другом доме, рядом, жила его семья, которая в изобилии снабжала его гостей всякой едой, не исключая и водки. Компания любила пройтись по маленькой, а Берендя постоянно обнаруживал склонность повторить. При появлении водки он оживлялся, желтые глаза его весело лучились, он возбужденно помахивал головой, говорил, острил и на эти короткие мгновения делался душой компании. Вервицкий не упускал случая упрекнуть друга, предсказывая ему будущность пьяницы, но тот, весело прицеливаясь глазами в него, загадочно говорил, поднося к губам вторую рюмку:

– Дурак ты.

– Ну, уноси, уноси! – командовал Вервицкий, – и веселая, франтоватая прислуга уносила на больших серебряных подносах граненые графинчики с водкой.

Такие закуски и чай со всевозможными сортами острых сыров и вкусных печений подавались обыкновенно, когда компания, начитавшись, утомлялась и начинала чувствовать какую-то пустоту внутри.

Этот момент всегда ловко угадывал Дарсье.

– А не закусить ли, черт возьми! – вскакивал обыкновенно он первый, выходя сразу из того

летаргического состояния, в какое впадал при чтении.

Это воззвание к еде всегда было так весело, такой искрой пробегало по остальным, что чтение бросалось и все спешили только полнее отдаться приятному удовлетворению своего голодного желудка.

Дарсье в описываемый вечер был на половине своих родных, где на импровизированном балу усердно танцевал с своими кузинами.

Компания не любила общества Дарсье. Это все были красивые, затянутые барышни и безукоризненные франты-кавалеры. Их встречала компания на главной улице в часы гулянья в цилиндрах и цветных перчатках и при встрече с ними пренебрежительно фыркала.

Дарсье выскочил к товарищам и радостно, пожимая им руки, говорил:

– Черт, откуда вы? Идем к матери.

Но все наотрез отказались, как он ни уговаривал.

– Если ты занят, мы уйдем? – сказал наконец Корнев.

– Кой черт, занят! Ну, хорошо... подождите... я только пойду... скажу гостям, что... что им сказать? Постой! Я скажу, что умирает... Корнев, товарищ... приехали за мной.

– Ну, валяй, – махнул рукой Корнев.

Через несколько минут Дарсье вернулся.

– Ну что?

– Плачут.

– Послушан, надо за Берендей и Вервицким послать.

– Непременно.

– Эй, ты, француз, – крикнул ему вдогонку Рыльский, – ты не забудь, что мы того... голодные.

Через час на столе стояла обычная закуска и выпивка, и холодные еще с мороза Вервицкий и Берендя уже закусывали.

Долба, расставив ноги, энергично жевал кусок сочного балыка и говорил вперемежку с едой:

– Господа... Давайте на праздниках свой журнал затеем?

Это была неожиданная, но эффектная мысль. Долба пригнулся к новому куску балыка. Корнев торопливо проглотил кусок и усиленно принялся за свои ногти. Рыльский молча внимательно ел. Задумался и Карташев, больше о том, что вот-де какая простая мысль, а ни разу не пришла ему в голову. Он точно искал глазами, не найдется ли и на его долю что-нибудь, и простое, и новенькое, и эффектное.

Берендя был весь поглощен заботой выпить третью рюмку и к предложению Долбы отнесся как-то равнодушно.

Вервицкий отозвался первый.

– Что ж, – одобрил он, – это хорошо.

– Рыло, – сказал Корнев, – с такой рожей говорит, точно у него миллион доводов сейчас посыплется. Ну, почему хорошо?

Все рассмеялись.

Но у Вервицкого было больше оснований сочувствовать, чем можно было предполагать. К общему удивлению, оказалось, что он давно уже пописывает. Для начала Вервицкий даже предложил свой рассказ под заглавием «Дворник».

– Ти-ти-ти, писатель...

Берендя в исключительные минуты лишился дара слова.

– Ти-ти-ти... – передразнил его Вервицкий. – Терпеть не могу... чего тут удивляться? Что ты дурак, так, думаешь, и все дураки?

– Вот так штука! – продолжал Берендя, незаметно протягивая руку за третьей рюмкой, – кто бы мог думать?

– Вот, ей-богу, дурак, – волновался Вервицкий.

– Смотри, смотри, – показал Долба на Берендю.

Но Берендя уж быстрым движением успел опрокинуть в рот рюмку.

– Ах ты, подлец!

И, в то время как Вервицкий тузил Берендю, Берендя, весело пригнувшись, выбирал на столе, чем бы заесть.

– Так ты писатель? – продолжал он и опять потянулся к графину.

– Убирай водку! – решительно скомандовал Вerviцкий. – Горькая пьяница, пропойца! Дрянь, тряпка!

– Господа, давайте его качать! – предложил вдруг Берендя и залился подмивающим смехом.

– Да ну вас к черту, – запротестовал Долба, – давайте как следует обсуждать дело.

Мысль о журнале была одобрена. Не откладывая в долгий ящик, тут же был избран редактором Долба. Во-первых, потому, что ему первому пришла эта мысль; во-вторых, и главным образом потому, что на нем мирились все. Если бы, например, выбрать Корнева – Карташеву будет обидно. Выбрать Карташева было тоже неудобно. Карташев по-прежнему нет-нет и выпалит что-нибудь такое, что совсем не согласовалось с общим тоном; так, он стоял за независимость убеждений, и эта независимость в конце концов сводилась, по мнению партии Корнева, к тому, чтобы иметь право поменьше читать и побольше рубить сплеча, побольше говорить того, что только взбредет в голову. Рыльский не годился в редакторы опять по другим причинам. Он имел одну слабость, которую не разделял даже Корнев: был слишком поляк. Это вызывало постоянные столкновения с Семеновым, Вerviцким и даже с Карташевым.

Был выяснен и материальный вопрос. Необходимые средства получались равномерным распределением расходов между участниками. Главный расход заключался в бумаге и переписке статей. Ввиду ограниченности средств решено было издавать журнал в двух экземплярах, из которых один переходил бы из рук в руки по мере прочтения, причем право держать у себя журнал ограничивалось сутками. Были намечены и отделы: беллетристический, политико-экономический, исторический, научный, критика и фельетон с картинками из общественной жизни.

Вerviцкий взял на себя поставку беллетристических произведений, Долба взялся за фельетон, по историческому отделу вызвались двое: Рыльский и Берендя. Рыльский взял тему: социальные причины, вызвавшие отпадение Малороссии от Польши. Берендя остановился сперва на теме из русской истории: доказать исторически, что русская раса идет общечеловеческим путем в деле прогресса. Статья имела целью нанести окончательный и решительный удар славянофилам вообще и учителю истории, Леониду Николаевичу Шатрову, – в частности.

На праздниках несколько раз собирались по поводу журнала. Генеральное совещание было назначено у Долбы.

Карташев по дороге зашел за Корневым, и если бы не Корнев, то он так бы и остался там.

– Послушайте, Карташев, – выскочила на крыльцо сестра Корнева, – приходите после Долбы к нам чай пить.

Карташев покраснел от счастья до корней волос и голосом, ясно говорившим, что разве смерть помешает прийти, ответил:

– Приду.

– Пораньше.

– Как только кончится. Кончится скоро... уходите, а то простудитесь.

И, заглянув еще раз в глубь смотревших на него издали глазок, он скрепя сердце пошел чинно рядом с Корневым.

Долбу приятели застали сидящим за своим столом и погруженным в какие-то глубокомысленные соображения. Он рассеянно пожал им руки, толкнул небрежно лежавшую перед ним рукопись Вerviцкого и проговорил озабоченно:

– Черт его знает... Для первого номера и такую неудачную штуку...

– Плохо? – спросил Корнев.

– Почему дворник, – размышлял Долба, – а не точильщик или водовоз...

Он пожал плечами.

– Фартук разве... Ничего типичного; ни быта, ни идеи... так, какие-то детские картинки... Ну вот...

Долба взял рукопись и прочел наудачу:

– «Семен любил после обеда со своим другом посидеть на завалинке, где-нибудь на улице, так, чтоб был виден заход солнца. Если при этом друзья бывали выпивши, а это случалось нередко, они тихо мурлыкали себе под нос какую-нибудь однообразную песнь и меланхолично провожали глазами опускавшееся на покой солнце...» И дальше описание заходящего солнца... третье по счету.

– Да, не завлекательно, – сказал раздумчиво Корнев.

– И вдобавок неграмотно, как только может быть...

Долба засмеялся своим мелким смехом.

– Покажи.

Корнев взял рукопись и стал просматривать ее.

– Неважное блюдо, – сказал он, возвращая назад рукопись.

Долба взял опять рукопись, уставился в нее, пожал плечами и проговорил:

– Ну, черт с ним!

Он схватил карандаш и написал под заглавием «Патологический очерк».

– Валяй. По крайней мере, редакцию ни к чему не обязывает.

– Собственно, почему же патологический?

– Да потому, что поручиться за то, что не может быть такой Семен дворником, особенно когда все мы его знаем и видим каждый раз, когда приходим к автору, – Долба фыркнул, – нельзя, а с другой стороны, и не тип это... Очевидно, патологический очерк!

– Да, конечно, – согласился Корнев.

– По крайней мере, рамка литературная.

Долба отложил рукопись Вервицкого в сторону и, придвинув слегка исписанный листок, скромно проговорил, всматриваясь в глаза Корневу и Карташеву:

– Я свой фельетон начал уже...

– А... начал... интересно послушать.

– Очень интересно, – насторожился Карташев.

– Да неважно... так, черновик.

– Ну, да уж там видно будет. Читай.

Долба смущенно рассмеялся, растрепал свои волосы, мгновение помолчал и начал:

– Фельетон... Картинки общественной жизни... «Все идет по-старому от начала времени по предопределенному пути...»

– Ты что ж, не признаешь, что путь этот изменялся и способен и впредь изменяться?

– Да, пожалуй, это не совсем удачный оборот... Да это, впрочем, для начала... надо ж с чего-нибудь... Как-то это начало все равно, что вот в купанье: разделся... попробуешь лезть в воду... одной ногой, другой... так, этак... все неловко – пока, наконец, соберешься с силами: бултых сразу...

– Конечно...

– Ну-с... «Все так же мчится на своем рысаке счастливый собственник и меньше всего думает о том, что есть миллионы людей, которые позавидовали бы не то что его жизни – жизни кучера его, жизни рысака, а даже жизни его экипажа, который приедет, и его поставят в крытый сарай, а миллионы и такого сарая не имеют. Что ж? Экипаж может испортиться, а непромокаемый плащ – человеческая кожа – не боится, как известно, ни дождя, ни ветра».

Долба оторвался и, рассмеявшись, уставился в слушателей.

– Ничего... – сказал Корнев.

Карташев был занят вопросом: мог ли бы он так написать? И, подавленный мастерством пера Долбы, он похвалил:

– Очень, очень хорошо.

– Разве? – спросил Долба и весело рассмеялся.

– Ну, валяй, валяй... Любит, чтоб хвалили... – заметил недовольно Корнев.

– Ну вот... Ну ладно...

– «А между тем вторая тысяча лет истекает с того великого момента, когда на земле раздались вечные слова братства, равенства и свободы...»

Корнев усиленно загрыз ногти и перебил автора:

– Здесь, некоторым образом, игра ума...

– Ну, так ведь я уж, конечно, так, чтоб посильнее...

Дверь отворилась, и вошли Вервицкий и Берендя.

Долба положил свою рукопись и, здороваясь с пришедшими, заявил Вервицкому:

– Твоя завтра в набор... смотри.

Вервицкий посмотрел, увидел надпись, внимательно прочел и повторил с некоторым вопросом в голосе:

– Патологический?

– Значит, если буквально, – пояснил Долба, – болезненный.

– Чем же болезненный? – немного огорчился Вервицкий.

Все рассмеялись.

Берендя принялся объяснять ему.

Но Вервицкому не понравилось его объяснение, и он нетерпеливо перебил его:

– Ти-ти-ти... терпеть не могу, когда ты лезешь не в свое дело, берешься за то, чего сам не понимаешь.

– Но... позволь, почему я не понимаю?

– Да, не понимаешь – и конец. Объясни, – обратился он к Корневу.

Корнев объяснил, стараясь облечь все в такую форму, чтоб не задеть самолюбия Вервицкого.

Вервицкий стоял, засунув руки в карманы, расставил ноги и слушал, смотря внимательно в пол.

В передаче Корнева ничего обидного для его авторского самолюбия не оказалось, и он проговорил удовлетворенно:

– Теперь понимаю... А то ти-ти-ти, ти-ти-ти, и ни черта.

– Я... я... тебе то же самое говорил, с тою разницею, что не принял твоего самолюбия, что ли...

– Ерунда... – перебил его Вервицкий, – опять ерунда...

– Да... да... какая же ерунда?

И Берендя нежно приложил пальцы к своей груди.

– А вот такая, – ответил упрямо Вервицкий.

– Ты... ты... сердисься, Гораций, значит, ты не прав, – сказал Берендя.

Вервицкий передразнил его и заключил:

– Выдернет ни к селу ни к городу и рад.

Затем, не устаивая больше вниманием своего друга, он обратился к Долбе:

– Ты что ж, уже читал мое сочинение?

– Прочел.

– Ну что, как?

Несмотря на грубоватую решительность, в голосе Вервицкого слышались тайная тревога и страх.

– Да ведь что ж? Небольшая вещичка... Да ничего.

– Я ведь ее так, между прочим, и написал, – объяснил Вервицкий. – Ну ничего, так ничего: и то добре и то в шмак... Э, и ты написал. Ну, покажи, покажи...

В это время пришли Семенов и Рыльский.

Вервицкий, схватив рукопись Долбы, уселся к окну и принялся читать ее с таким решительным и вдумчивым видом, с каким только когда-либо автор читал новую вещь своего собрата.

Началось обсуждение тем.

– Ты на чем же остановился? – обратился Долба к Карташеву, когда до него дошла очередь.

– Я, собственно, еще ни на чем не остановился.

– Что-нибудь историческое? – посмотрел Долба на Корнева.

– Отчего, собственно, историческое? – насторожился Карташев.

– Ну, что хочешь...

– Научное разве что-нибудь, – нерешительно произнес Карташев.

- Что ж из научного? – спросил Корнев. – Я думаю, этот отдел нам не по плечу... Какую научную статью мы можем написать?
- Отчего ж? – сказал Долба. – Популяризацию, например, Фохта, Молешота, Бюхнера.
- Их в русском переводе нет: по Писареву разве.
- Ну, это уж будет популяризация популяризации, – ответил огорченно Карташев.
- Я беру на себя, – заявил Корнев, – отдел критики... собственно, конечно, не критики, а сжатое изложение и некоторые соображения по части текущей литературы.
- Ну, что ж, отлично... Это красивый отдел, и у тебя выйдет. Ну, останавливайся и ты на чем-нибудь...
- Нет, я ничего не буду писать, – сказал Карташев, отчего-то вдруг обидевшись.
- Да ты чего? Ну, пиши научное...
- Нет, да я... нет.
- Послушай: да ты, может быть, критический отдел хотел... так бери, пожалуйста.
- Нет, нет...
- Да пиши... Ведь в критическом отделе могут и двое работать. Собственно даже, я думаю, для большего интереса можно и полемику устроить: один написал, а кто-нибудь, может быть, возражать станет.
- Это хорошо, – повеселел Карташев. – Ну, так вот, ты и пиши, а я тебе возражать в следующем номере буду...
- Да, может, и не придется?
- Наверно, придется.
- Все рассмеялись.
- А теперь я вот что возьму, – продолжал Карташев. – Я напишу о вреде классического образования.
- С какой стороны?
- Со всех... Во-первых, теоретически докажу.
- То-то теоретически, – вставил Рыльский, – а то практически...
- Все рассмеялись.
- Ты напиши, – дал совет Корнев, – что практически неудобно классическое образование в том отношении, что есть иногда опасность умереть от смеха. И знаешь: маленькую иллюстрацию к этому... Картинки...
- Карташеву было обидно, что его тему вышучивают.
- Шутить так шутить, а серьезно говорить – так и давайте. Одно дело – наш Дмитрий Петрович... ничего общего здесь нет с общей постановкой классического образования.
- Да нет... тема благодарная, – согласился Корнев.
- Но как он ни старался проговорить это серьезно, в голосе его чувствовалась подозрительная нотка, и Рыльский подхватил ее:
- И я тебе советую, когда уж все там изложишь, что хочешь, – привести, как последний аргумент, такой: из всех времен только у самих классиков не было классиков, а между тем они-то и являются идеалом.
- Сиречь, – перебил Долба, – надо, двигаясь вперед, стать передом не к заду...
- Я ничего не буду писать, – обиделся окончательно Карташев.
- Бросили шутки, и все начали урезонивать его.
- Да ничего не хочу, – упрямо твердил он. – Не буду. Вышутили, вышутили, и пиши. Не буду.
- Послушай, ну, что ты в самом деле... Ну что ж, нельзя, значит, пошутить? Далай-лама ты, что ли?
- Не далай-лай...
- Карташев как ни был обижен, но не мог не рассмеяться тому, что не мог выговорить: далай-лама.
- Рыло ты, – сказал Корнев, добродушно путая густые волосы Карташева, который после своего невольного смеха сидел с глупой физиономией, напрасно стараясь придать ей обиженный

вид.

– Ну, кто серьезно вышучивал? Глупо же... Прекрасная тема, вполне современная, назревшая.

– Может ведь так, братец мой, выйти, – заметил серьезно Семенов, – так напишешь, что и классическое-то образование все к черту отменяют.

Как не удерживалась компания от смеха, чтоб еще больше не огорчить Карташева, но сил не хватило, и все опять расхохотались.

– Дурачье, – проговорил, фыркая, Карташев.

– Ну, послушай... – сказал Рыльский. – Брось к черту, да и бери, что ли... Мне пора... Я должен идти сегодня с родными.

Карташев вспомнил про свое обещание сестре Корнева, ее приглашение и, окончательно развеселившись, согласился:

– Ну, хорошо, черт с вами.

– А Дарсье так и не приехал.

– Врешь, приехал, – ответил вошедший Дарсье, по обыкновению одетый с иголки.

– Ну, а ты что берешь?

– Ему отдел мод завести, – предложил Рыльский.

И, пока все смеялись, Дарсье добродушно повторял:

– Свины... Право, свины...

– Нет, в самом деле, ты что берешь?

– В сущности, я ведь совсем не владею пером.

– Не будь скромн, – вставил Рыльский, – ни пером, ни языком.

Дарсье сконфуженно провел рукой по своему лицу:

– Не злоупотребляю, может быть.

– О-го! – ответил Рыльский и запустил руку в кудрявую шевелюру Дарсье.

– Ну, уж это пожалуйста, – Дарсье отшатнулся, – языком мели, что хочешь, а рукам воли не давай. Знаешь пословицу: *jeu des mains, jeu des vilains*.³

– По-русски это выходит, – перевел Долба, смеясь своим смехом, – у всякого человека свой гонор есть.

Однажды Карташев, взволнованный, пришел из класса домой, наскоро пообедал и заперся в кабинете.

Лежа на диване, он держал только что вышедший гимназический журнал и читал с наслаждением свою статью, переписанную четким, крупным почерком. Карташеву казалось, что это не он писал: так плавно и гладко читалось теперь написанное.

Он прочел залпом. Ему не захотелось больше ничьих статей читать, и с журналом в руках, торжествующий и смущенный, он пришел в столовую, где сидела Аглаида Васильевна с детьми: Зина пытливо вскинула глаза на брата, остановилась на мгновение на его тетради и проговорила тем разочарованным голосом, когда вперед уже знаешь, в чем дело:

– А-а, журнал...

– Покажи, – протянула руку Аглаида Васильевна.

Карташев дал ей журнал и с довольной гримасой небрежно сел на стул у стола.

Аглаида Васильевна перелистывала довольно толстую тетрадь и, остановившись на статье сына, начала ее читать.

– Мама, читай громко, – потребовала Зина.

Карташев напряженно следил за ней глазами все время, пока она читала. Иногда она улыбалась, и тогда он вскакивал и смотрел в журнал: чему именно улыбается мать.

Когда она кончила, он впился в нее глазами. Мать некоторое время молчала и наконец сказала с усмешкой:

– Глупенький ты.

³ Руки распускают только мужланы (*фр.*).

Карташев не ожидал такого отношения. Он покраснел и смутился. Он спросил, стараясь быть равнодушным:

– Тебе не нравится?

Мать недоумевающе пожала плечами:

– Не-ет... ничего...

Какая-то непривычная сухость тона еще тяжелее задела Карташева.

Мать начала читать следующую статью Корнева: «Нечто о художественном».

– У него очень логически развивается мысль, – заметила она мимоходом и опять сосредоточенно погрузилась в чтение.

Кончив, она вскользь окинула взглядом сына и, задумавшись, смотрела в окно. Карташеву казалось, что она думала в это время о том, что Корнев написал прекрасную статью, а он, ее сын, написал бездарную, плохую, и ей стыдно теперь за него. Сердце Карташева тоскливо сжалось. Он сидел смущенный, растерянный и весь был охвачен мыслью, как бы хоть не заметили и не угадали его душевного состояния. Никто ничего не заметил: мать встала и вышла из комнаты. Зина, тоже вдруг потеряв интерес к его журналу, продолжала заниматься. Карташев посидел еще и, незаметно захватив журнал, ушел с ним к себе.

Там он бросил журнал на стол, а сам, улегшись на диване, долго лежал с открытыми неподвижными глазами, заложив руки за голову.

– Ну, что ж, – подавленно произнес он вслух, – не буду больше никогда писать – и конец.

И в гимназии говорили о статьях Корнева, Долбы, Беренди, но о Карташеве все молчали. Он видел это, и болезненное чувство мучило его каждый раз, когда речь заходила о журнале. Он старался делать равнодушное лицо и давал себе всевозможные клятвы никогда не брать пера в руки. Но часто по вечерам, когда уже все расходился спать, он садился за письменный стол и подолгу сидел над белым листом бумаги. Иногда он пробовал писать, не думая, что подвернется, и страница-другая увлекали его, но, перечитав написанное, он, испуганно оглядываясь, уничтожал рукопись.

VI ВЕРВИЦКИЙ И БЕРЕНДЯ

Однажды Вервицкий и Берендя возвращались вместе из гостей.

Друзья шли молча.

– А не любит меня Корнев за то, что я ему правду-матку режу, – проговорил Вервицкий.

– Да ты когда резал?

– Да всегда.

Друзья опять замолчали.

– Зайдешь, что ли? – пригласил Вервицкий, подходя к воротам своего дома.

– А можно?

– Только долго не сиди и вперед уговор: больше двух папирос не дам.

– А к чаю хлеб будет?

– Этого сколько хочешь: тяткин.

Друзья, низко пригнувшись, вошли в калитку, прошли под освещенными окнами верхнего этажа, причем Берендя для чего-то даже пошел на цыпочках; затем свернули в маленький, темный проход и стали осторожно спускаться по крутой лестнице.

– Ой! – споткнулся Берендя и ухватился за плечо Вервицкого.

– Да ну!.. пусти, – ответил своим грубоватым, сиплым голосом Вервицкий и отворил дверь в низкую комнату, освещенную висючей лампой. Он быстрым пытливым взглядом обвел комнату и сейчас же что-то заметил.

– Ну, теперь поймал подлецов.

Он встал на табурет, достал с полки ящик с табаком и внимательно, долго смотрел в него. На лице его было и удовлетворение от искусно выполненного плана, и огорчение о погибшей безвозвратно горсти табаку. Его охватила злоба, он начал браниться и, наконец крикнув: «Отцу скажу!» – выскочил из комнаты.

Берендя как-то весь съежился во время этой сцены, и только когда Вервицкий ушел, он облегченно вздохнул. Рассеянно скрутив папиросу, он осторожно уселся на стул и, смотря в окно, стал пускать густые клубы дыма.

Сверху донесся сперва голос Вервицкого, затем резкий громкий – отца, затем визг братьев.

«За уши дерет», – мелькнуло в голове Беренди, и он испуганно раскрыл глаза и насторожился.

Дверь быстро отворилась, и вошел Вервицкий. Он остановился, неприятно огорченный клубами дыма.

– Начадил уж, – обратился он ворчливо к другу.

Но, заметив при этом и неимоверно толстую папиросу, он окончательно взбесился:

– Ты бы уж из всего табаку сделал!

– Если тебе обидно, я назад положу.

– Обидно, что табак переводишь. Хотя бы затягивался. – Вервицкий отворил форточку. – Сядь хоть около форточки, чтоб дым выходил.

– Изволь, – согласился Берендя.

Наступило молчание.

– Ну что, им уши надрал отец?

– Конечно, надрал, – ворчливо ответил Вервицкий. – Подлецы, каждый раз. А я откуда возьму? отец вот дает рубль в месяц – и изворачивайся на него.

– Да тебе на что при всем готовом?

– На что? Да вот табак.

– Глупости.

– Глупости, когда чужой, а купи его.

– Куренье вредно.

– Зачем же куришь?

– Я ведь, только если угостят.

– А я вот не могу... Не на что купить – лучше курить не буду, а чужого не попрошу.

– Послушай, я вот получу деньги, подарю тебе полфунта.

– Слышали.

– Право, подарю... А давно не высылали: хозяйка, того и гляди, выгонит... Чай вышел...

– Приходи ко мне чай пить. Идешь в гимназию – зашел, вечером зашел: напился и пошел.

– Я ведь, собственно, не любитель чаю. У меня в библиотеке полтора рубля есть... мог бы.

– Ну, уж я этого не понимаю.

Принесли чай, и друзья жадно набросились на еду.

Наевшись, напившись, Берендя улегся на кровать, причем Вервицкий, подбрав, добродушно проговорил: «Постой», – и подостлал под ноги Беренди, чтоб не запачкать одеяло, пальто гостя, а сам, усевшись к окну, взял гитару и, куря и смакуя, начал тихо наигрывать малороссийские мотивы. По низкой комнате в облаках дыма понеслись жалобные прерывающиеся звуки. Под них Вервицкий мечтал о своей будущей литературной славе, о Зиночке Карташевой, а Берендя лежал и не хотел ни о чем думать. На первом плане у него стоял вопрос о деньгах и о причине их невысылки, хорошо известной ему: вероятно, отец опять запил, и с этим вместе рисовалась ему вся тяжелая домашняя обстановка чиновника с грошовым жалованьем, громадной семьей да к тому же пьющего запоем.

Наигравшись, Вервицкий тоже пожелал поваляться на кровати и, слегка толкнув друга, сказал «пусти», улегся рядом с Берендей.

Он продолжал плавать в волнах своей будущей славы, той славы, которую всю без остатка он сложит к ногам Зиночки.

Беренде хотелось говорить. Все то, что в данный момент парализовало его мыслительные способности, просилось на язык.

– Ты знаешь, мой отец запоем пьет, – проговорил он.

– Гм! – ответил неопределенно Вервицкий.

– Собственно, если рассказать все – черт знает, ведь это какой трагизм, в сущности... Он

ведь, когда напьется... ночью...

Берендя понизил голос и широко открыл свои желтые глаза.

– Отец пьяный, в одной рубахе, качается и бежит за нами по комнатам, а мы с матерью все от него... кричим...

– Послушай, – перебил его Вервицкий, – ты не обижайся: я тебе совет дам – никогда не рассказывай этого, потому что делу ты этим не поможешь, а сам выходишь в каком-то таком несимпатичном свете...

– Да я никогда никому и не говорю, – испуганно успокоил друга Берендя.

– И не надо говорить.

Друзья опять замолчали.

Мысли Вервицкого получили другое направление. Он думал о своем друге, о том, что он не то что дурак, а так, черт его знает что, без всякого такого умения все это так делать, чтобы выходило по-людски. Ему жалко стало своего обездоленного друга, ему даже захотелось как-нибудь смягчить свое резкое замечание, которое он сказал от доброго сердца для его же пользы. Он стал уже придумывать что-нибудь, но в это время его вдруг точно что кольнуло в сердце, он быстро схватился за отвислый карман своей старой, из отцовской переделанной, жилетки, и, пощупав тяжелые серебряные часы, удачно купленные на толкучке за четыре рубля, вынул их, приподнялся на локоть к свету, сперва скользнул взглядом с удовольствием по крышке, затем, нажав пружину, посмотрел, который час, и, свистнув, проговорил:

– Э-ге-ге-ге! Десятого двадцать минут... Иди, иди, – добродушно обратился он к Беренде, – я еще ничего не готовил.

– О! – встревожился Берендя, – и мне тоже ведь надо.

Он оделся, скрутил на дорогу еще одну папироску, третью по счету, предварительно спросив:

– Можно?

– Ну, да крути, да не разбрасывай хотя, – ответил Вервицкий.

И пока Берендя крутил, поглядывая в то же время добродушно-лукаво на Вервицкого, что вот, дескать, не в счет, последний с добродушно-разочарованной миной следил за неумелым кручением Берендей папироски и за исчезающим в папироске табаком. Ему жаль было не табаку, а все того же Берендю, который и этой мелочью, и неумением крутить, и посягательством на эту третью папироску так характерно обрисовывался в глазах молодого писателя.

– Да, мелочи рисуют людей, – вздохнул Вервицкий, когда Берендя уже скрылся за дверью. И он продолжал стоять в той же позе и все так же смотреть с высоты своего умственного пьедестала на ушедшего Берендю. И таким маленьким и жалким казался ему его друг и все делался меньше, пока не превратился наконец в какую-то точку и не слился с длинным лучом свечки, на которую так долго, не мигая, засмотрелся Вервицкий, – так долго, что у него наконец заболели глаза. Он усиленно сжал веки, а когда открыл, то уж перед ним не было ни Беренди, ни литературной славы, ни Зиновки: перед ним стоял его белый некрашенный стол, а на нем лежал ранец с учебными тетрадями. «Наука горька, но плод ее сладок», – и Вервицкий решительно, ни о чем больше не думая, потянулся за ранцем.

А Берендя шел, волоча свои длинные ноги, по пустым спящим улицам; желтоватые глаза его бесцельно смотрели вперед, и он машинально, но все дымил своей папироской, пока она не искрилась до того, что начала не на шутку жечь его пальцы.

– А, черт с тобой, – проворчал он, на мгновение отвлекшись от своего созерцательного настроения и бросая окурочек.

Затем он опять погрузился в свое состояние и вышел из него только тогда, когда где-то вблизи раздался сиплый, пьяный голос человека, который, очевидно, разговаривал сам с собой.

Действие уже происходило за городом, в том месте, где большой темный бульвар отделял собственно город от предместья.

Берендя сделал несколько шагов и наткнулся на сидевшего на скамье какого-то громадного верзилу.

– Ты... ты что кричишь? – спросил Берендя, немного смущенно пятясь от верзилы.

– А ты что? – проговорил сиплый голос, и, вдруг поднявшись, верзила быстро схватил Берендю за горло. – Давай денег.

«Задушит», – судорожно, мучительно мелькнуло в голове Беренди и, метнувшись, он прохрипел странным, не то просящим, не то раздраженным голосом:

– Да пусти же.

– Давай деньги.

– Нет же! – с горечью ответил Берендя. – Я гимназист... Какие у меня деньги?

– Зачем же ты шляешься по ночам? – смущенно пробормотал верзила, опуская руки.

– Я занимался у товарища и домой иду... Нарочно ходил к товарищу, чтоб хоть двадцать копеек достать... чаю, сахару нет.

– Дурак же ты...

– Ну что ж... – поматывая, по обыкновению, головой, ответил Берендя.

Он остановился и подумал: в сущности, добрый человек.

– Ну, спасибо, что отпустил, – нерешительно проговорил он и протянул руку верзиле. – Я Берендя.

– Петр Семенович, – угрюмо отрекомендовался верзила.

– Милости просим ко мне. Я живу на Почтовой, в доме Терениной.

«Черт его знает, зачем я его в гости зову», – подумал Берендя.

– Приду, – лаконически ответил верзила и вдруг, засунув руку в карман, вынул оттуда два двугривенных и, протягивая Беренде, сказал:

– Ты ходил за деньгами – на.

Берендя мгновение колебался.

– Отдашь.

– Спасибо, Петр Семенович, как бы только вас это не стеснило...

– Не беспокойтесь.

– Слушайте, Петр Семенович, в таком случае и вы дайте мне свой адрес: я скоро получу деньги.

– В любом кабаке спросите.

Верзила указал наискосок бульвара.

– Утром, в то время как в гимназию ходите, я почти всегда там.

Берендя еще раз поблагодарил, пожал руку и добродушно заметил, уходя:

– А вы мне, Петр Семенович, таки помяли шею.

– Да уж... извините... – угрюмо ответил верзила, с опущенной головой исчезая в кустах бульвара.

«Что за черт, – думал Берендя, шагая дальше с сорока копейками в кармане, помятой шеей и с неясным впечатлением от всей этой неожиданной встречи, – надо посмотреть, не в крови ли деньги?»

Войдя в улицу, он подошел к фонарю и внимательно осмотрел оба двугривенных. Деньги оказались чистыми. Берендя усмехнулся, спрятал их в карман и пошел дальше.

Вернувшись домой, он долго ходил по своей комнатке, все обдумывая свою неожиданную встречу. В общем, она оставила в нем какое-то приятное впечатление от поставленного по существу вопроса.

«Он человек, я человек», – и Берендя останавливался, смотрел своими лучистыми глазами вперед, пожимал плечами, усмехался и говорил: «Вот, черт побери!»

С общепринятой точки зрения тем не менее дело выходило из ряда вон, и Берендя не знал, на чем остановиться: считать ли себя правым, что пригласил этого бродягу к себе и не только пригласил, но и взял у него деньги, или смотреть на себя чуть ли не как на участника этого бродяги. Им овладевало по временам брезгливое чувство, и он повторял свое «черт возьми» уже с раздражением и решал, что обо всем этом не следует никому, а уж тем более Вервицкому, и заикаться. Но опять, продолжая рыться в своих ощущениях, он наталкивался на что-то другое, перед чем все условное отодвигалось на задний план, а впереди стоял только человек...

«Во времена классиков, – иронизировал сам с собою Берендя, – какой-нибудь Диоген...»

Берендя вспомнил сегодняшнюю тему Карташева и раздраженно усмехнулся.

«Только и учишь весь этот классический мир для того, чтобы не сметь и думать о той классической простоте и ясности существа вещей, какая была. С каким-нибудь пропойцей, может быть, разбойником, я, мальчишка, договариваюсь в два слова до человеческого, а в взрослом обществе этот человек доходит до пропойства, до потери человеческого».

Берендя плюнул и подумал:

«Я очень рад, что и пригласил его и деньги принял».

Берендя с удовольствием ощупал пальцами деньги и подумал:

«А недурно бы что-нибудь съесть да рюмочку водки...»

Он осторожно подошел к двери, приотворил ее и долго стоял, всматриваясь в темноту и прислушиваясь. Но все было тихо, все давно спали, и Берендя, затворив опять дверь, возвратился к себе. Он нерешительно остановился перед учебниками, отошел от них, приблизился было к скрипке, но, вспомнив, что все спят уже, он и скрипку оставил и, взяв книгу, повалился с ней на кровать.

Он читал до тех пор, пока весь керосин не сгорел в лампе, пока слабый рассвет не заглянул в окна, и только тогда, наскоро раздевшись, он лег на кровать. Но долго еще ворочался, чутко прислушиваясь к шороху, к каждому скрипу, переживая неприятное ощущение не то страха, не то какого-то нервного переутомления. Даже засыпая, он постоянно вздрагивал всем телом, и ему казалось, что он все падает с размаху, все срывается стремительно в какую-то пропасть. Наконец он заснул нервным, тревожным сном, мечась по кровати и отчаянно скрипя зубами.

Этот скрип на друга его Вервицкого всегда наводил панический ужас и был еще лишней причиной относиться пренебрежительно к Беренде, считая его каким-то недоделкой.

VII ПРОПОЙЦЫ

– Ну-с! Так как же? – обхватив за руки Берендю, как-то в классе во время рекреации остановил последнего Долба.

Берендя, притиснутый Долбой к стене, смотрел на него и вдруг решил поделиться с ним своим секретом.

– П... послушай, – начал он таинственно, – вот, че... черт возьми, у меня есть два знакомых...

– Каких знакомых?

– Пропойцы!

Берендя фыркнул.

– Какие пропойцы?

– Один техник, другой учитель... – Берендя рассказал Долбе о своей фантастической встрече и знакомстве с Петром Семеновичем и его товарищем, Васильем Ивановичем, которого вскоре привел к Беренде Петр Семенович.

– И... интересный тип... умные, – кричал Берендя.

– Ну?!

– Вот... вот... тебе крест... Черт знает что такое.

– И сошелся с ними?

– Да... да, сошелся...

Берендя, как-то пригнувшись и показывая свои гнилые зубы, всматривался нерешительно в Долбу. Долба смотрел на него некоторое время и наконец залился своим мелким смехом.

– Ах, черт! – тряс он головой, и трудно было сказать, что означал его смех: сочувствие Беренде, удивление или презрение к нему.

Смех Долбы так долго продолжался, что Корнев, сидевший в это время за какой-то книгой и усердно обгрызавший свои ногти, оторвался и лениво окрикнул его, не поворачиваясь:

– Ну, чего там?

Долба в ответ еще энергичнее рассыпался своим мелким смехом, покраснел и усиленно тряс головой. Корнев бросил книгу и, подойдя к нему и Беренде, проговорил:

- Ну?
- Между смехом Долба передал о знакомстве Беренди с пропойцами.
- Ну? – переспросил Корнев, когда кончил Долба.
- Ну, и ничего, – ответил немного уже смущенный Долба.
- Чему же ты смеешься?
- Отчего мне не смеяться?
- Рыло!
- За...замечательно интересный народ, – приложил Берендя свои пальцы к груди.
- Гм! – протянул раздумчиво Корнев.
- Посмотреть бы их надо? – не то советуясь, не то советуя, предложил Долба.
- Их, что же, за деньги показывают? – спросил Корнев.
- За...зачем? – не понял Берендя остроты, – так прямо п...приходите.

Посмотреть новых знакомых Беренди собрались: Корнев, Рыльский, Долба, Карташев. Корнев привел к Беренде и своего двоюродного брата Моисеенко, студента университета. К Моисеенко и Корнев, и вся компания относились с уважением.

Моисеенко был простой с виду, вдумчивый и серьезный, весь поглощенный своими мыслями человек. Казалось, не было книги, которой бы он не прочел. На все, что для компании представлялось неясным, у Моисеенко всегда были определенные и точные разъяснения. Он охотно давал их, ставил ни во что свою эрудицию и поэтому пользовался в кружке Корнева авторитетом. Можно было спорить с Корневым, с Рыльским и Долбою, но с Моисеенко не спорил никто, и когда молчавший до того Моисеенко начинал говорить, то все споры сами собой кончались. Для компании это был тот же Писарев, Бокль, Дарвин, с тою разницею, что те были далеки, бывали не всегда понятны, а этот был близок и понятен.

С виду, впрочем, никакого поклонения или почитания не было – относились даже как будто пренебрежительно.

Отношения Беренди к пропойцам были очень своеобразные. Они брали у него деньги, изредка заглядывали в его квартиру, а то встречались с ним в той части бульвара, где он жил.

Берендя уже знал их историю, выслушивал терпеливо проклятия Петра Семеновича по адресу своих врагов и блаженный лепет товарища его Василия Ивановича:

- Вы умный, хороший, вы честный, вы очень умный...
- Че-чем я умный? – растерянно говорил Берендя.
- Вы скромный и умный... Вы поняли жизнь лучше нас... вам жить.
- Расслюнявился, – обрывал его Петр Семенович. – Ум тоже нашел... Вам сколько лет? – обращался он пренебрежительно к Беренде.
- Семнадцать.
- Семнадцать, – у вас на губах молоко не обсохло еще, а в ваши годы я уж в морду залепил профессору... Подлец хоть бы пожаловался... ей-богу! «Я, говорит, семейный человек, не губите меня».

– Ах, Петр Семенович, я как подумаю... какой талант в вас погиб...

Берендя тоже был склонен видеть в Петре Семеновиче что-то выдающееся. На смотринах Корнев усиленно грыз ногти и пытливо всматривался в странных знакомых Беренди. Василий Иванович, по обыкновению, во все глаза смотрел в каком-то ошалелом восторге на всех. Петр Семенович угрюмо ежился и старался подавить всех своим презрением.

Моисеенко молча, внимательно наблюдал их, изредка задавая вопросы и опять продолжая слушать.

Когда приятели ушли, Корнев раздумчиво заметил:

– У этого... Василия Ивановича, что ли? что-то жалкое. А тот, другой, очевидно, совсем потерял всякий образ человеческий... Во всяком случае... я не знаю... интересного мало... а впрочем...

Корнев сосредоточенно принялся за свои ногти.

Es ist eine alte Geschichte
Die bleibt doch immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei,⁴ –

продекламировал Долба и лениво улегся на кровать.

Корнев встал, подошел и, сказав: «Пусти», – лег рядом с ним.

Долба приподнялся на локоть и, рассматривая широкое бледное лицо Корнева, машинально опраправлял свободной рукой его густые волосы.

– В сущности, если так вдуматься, – говорил Корнев, – собственно, ведь страшная вещь жизнь... Все как будто идет себе шаг за шагом, а чем кончается... Может быть, и между нами...

– Ничего не может быть подобного, – решительно проговорил Моисеенко, вставая и подходя к окну.

Он стоял спиной, смотрел в далекую перспективу улицы и говорил тем охватывающим живым голосом, каким говорят нервные, убежденные люди.

– Почва, на которой они поломали себе ноги, – я знаю их историю, – безыдейность. При таком условии, чем лучше человек, чем больше в нем сил, тем скорее он разобьется. Ну, пароход с сильной машиной без компаса и карт на полном ходу... Отчасти, конечно, они жертвы безвременья... Жизнь нашего поколения начинается при иных условиях: цели ясно намечены, и пути обозначились... период брожения, процесс оклассования, конечно, неизбежен.

– Как ты сказал? – спросил Корнев.

– Оклассования... тот процесс, что на Западе уже заканчивается. Период чистой идеи... ну, хоть эпохи конца прошлого столетия во Франции... сменяется периодом приспособления этой идеи к жизни... классы общества вступают в свои права, и в силу того или другого влияния класса идея видоизменяется, идет процесс борьбы, она или обуржуаживается, или в более чистом виде проникает в жизнь. Являются люди теории... практические деятели, рядом уступок проводящие по частям свою идею. Запутаться в этом хотя и сложном, но ясном процессе теперь можно только при неразвитости; нет, конечно, выполнения того, что выработала человеческая мысль лучшего, но разборка идет, и той каши понятий, того сумбура искусственных потемок, которые губят, уже нет. А следовательно, и места отчаянию нет и быть не может. То есть, конечно, жизнь всегда может разбиться при преследовании личных эгоистических целей: хотел быть сановитым – не выгорело, хотел устроить свое состояние – лопнуло все. Таких и жалеть нечего, – вольно же выбирать то временное счастье, которое всякая роковая случайность жизни шутя и легко может вырвать и разбить вдребезги! Есть другое счастье на земле... истинное и единственное... счастье, заключающееся в самосознании, кто ты и что ты, в идее, в той жизни для других, в той сфере, которая недоступна ни грязным рукам проходимца, ни роковым случайностям. Способность жертвовать собою для блага других присуща натуре человека: не глуши ее, и она явится таким источником счастья, с которым разве сравнится то эфемерное, которое под своей красивой скорлупой таит только постоянную необходимость заглушать в себе гордость сознания своего человеческого чувства. Вся жизнь здесь дрожи непрерывно перед риском потерять все, всю жизнь, вынужденный роковой последовательностью, будь злом. В альтруистической жизни совершенно обратное; ты не нуждаешься во лжи и фальши, потому что для тебя нужен минимум: десятирублевый сюртук так же хорош, как и сторублевый, одна комната для тебя то же, что для другого несколько этажей. В этом страшная сила и преимущество: тебе нечего терять. Другое преимущество в том, что в то время как одни только и заняты тем, что для тебя совершенно не нужно, ты все свое время употребляешь на положительную работу – уничтожение зла, приведением его шаг за шагом к самосо-

⁴ Эта старая история
Вечно новой остается,
А заденет за живое –
Сердце надвое порвется (нем.). – Из стихотворения Г. Гейне «Ein Junge lieb ein Mädchen...».

знанию. Как бы ни была скромна твоя роль, тебе тем удобнее это. Ученый – ты разъясняешь людям незыблемые законы человеческого благополучия; ты вместо пальца, приставленного ко лбу, силой вещей заставляешь, указывая промахи, считаться с знанием. Практический деятель ты, ну хоть сторож железнодорожной будки, но раз твой умственный микроскоп умеет работать, ты наблюдаешь и изучаешь великий мир, одинаковый в своих проявлениях и в капле воды, и в океане. Причины, почему в одной деревне плохо живется, необходимы для понимания общих причин упадка, как слагаемые нужны для общей суммы. Одним словом, жизнь людей альтруистических – будущая жизнь всего человечества: внешность им не нужна, единение их основано не на количестве платьев, не на цвете подкладки, не на всем том, во что могут нарядить человека, как куклу, чужие деньги и чужие руки; не на наивной гордости не сознающих своей роли, а на счастье иметь возможность сознавать свое человеческое достоинство, на сознании, что это достоинство возмущается одною мыслью, что ты наденешь, может быть, и золотые, но унижительные цепи преступного раба. Чудная басня Лафонтена: голодный, но свободный гражданин. Здесь, в этом обществе, одно тебе необходимо: знание и самосознание, то есть надлежащее развитие. Стоит потрудиться, потому что, во-первых, и труд благородный, и результат труда – счастье жизни. Духовное счастье: жизнь отнять его не может. Великое преимущество! У людей времени Петра Семеновича было то неудобство, что не было общества таких людей, то есть оно было, конечно, но не многочисленное, не распространенное... Теперь таких людей везде встретишь и найдешь, а в веселой компании и кусок честно заработанного черного хлеба съешь с бо~льшим наслаждением, чем какие-нибудь трюфели богатого ресторана в обществе людей, узнающих друг друга только по меткам портных, а перепутай портной метки – и все пропало... Какое ж это счастье? Счастье улицы... достояние любого проходимца... грош ему цена!

– Ну и бритва язык, – сказал Долба и, тряхнув головой, весело рассмеялся.

Моисеенко, в разговоре рассеянно переходивший от окна к столу, перебравший и перетрогавший, кажется, все вещи по пути, остановился, посмотрел на всех, точно соображая, где он и как попал сюда, озабоченно сдвинул брови и, суетливо застегивая свой пиджак, взялся за шапку.

– Куда? Пстой, – удерживал Корнев.

– Ку-куда вы? – спросил, в свою очередь, Берендя, поднимаясь.

– Нужно на урок.

Моисеенко торопливо попрощался со всеми и вышел.

За Моисеенко разошлись и другие.

На перекрестке Рыльский и Долба ушли в одну сторону, а Корнев, Карташев и Берендя стояли в раздумье: что предпринять и куда идти.

– Идем на бульвар, – предложил Берендя. – Там увидим, наверно, и моих гостей.

Все трое пошли.

Петр Семенович и Василий Иванович действительно сидели на скамье боковой аллеи бульвара.

Было тихо и уютно.

Вдали с щемящей грустью сумерек неподвижно застыла далекая готическая церковь; засыпавший в мартовском вечере бульвар; розовые полосы мягкого влажного весеннего заката, когда белые сочные облака так свободно купаются в нежной и бледной вечерней лазури небес. Кругом никого не было.

– Мо-можно присесть? – спросил Берендя.

– Садитесь, садитесь, – заволновался Василий Иванович, с каким-то восторгом и счастьем осматривая подошедших.

Василий Иванович чувствовал себя уютно и заглядывал вопросительно-счастливо им в глаза.

В Карташеве неприятное, брезгливое чувство к расплывшемуся заискивающему Василию Ивановичу подавлялось сознанием необходимости отвечать ему чем-нибудь ласковым. Но он не мог отделаться в душе от тяжелого брезгливого ощущения: что-то точно насильно забиралось в него в образе этих заискивающих, жалобно смотрящих голубых глаз пропившегося человека в грязном костюме, в оборванных рукавах, из-под которых выглядывало темное от грязи белье. Он чувствовал, что не может и оттолкнуть этого ласкового взгляда, и места ему нет в его душе. Даже

радость Василия Ивановича была ему неприятна и отталкивала от себя чем-то грязным и нечисто-плотным. Ему вспомнилась Жучка в тот момент, когда, вытащенная из колодца, она с размаху бросилась и лизнула его, грязная, прямо в губы. И это воспоминание, невольная параллель Жучки с этим оборванцем смутила его укором совести и прогнала все неприятное. Он, как мог, ласково кивнул Василию Ивановичу головой.

Василий Иванович напряженно, точно ожидавший этого, вспыхнул, и его лицо осветилось таким мягким светом счастья, от которого весело и легко стало Карташеву.

– Мы вот с Василием Ивановичем о вас толковали, – проговорил Петр Семенович. – Он видит, по своему обыкновению, в вас что-то особенное... ерунда все это... вы не больше тростника... трах – и ничего нет... так голыми руками вас всех переломаешь, как хочешь, а жизнь... Надо жизнь знать, что за зловредная это штука... Как в песне где-то: «На смех людям породила вас маты».

– Ах, Петр Семенович, – страшно заволновался Василий Иванович, – зачем же... разбивать надежды... Не верьте ему... Жизнь трудна, но есть выход... и может быть так прелестна, так хороша...

Василий Иванович судорожно забрал воздух в себя и замер. Слезы одна за другой закапали по его лицу.

– Ну, что вы, ей-богу, Василий Иванович... Люди подумают, водка в вас плачет...

Карташев передал матери о своем новом знакомстве.

Аглаида Васильевна насторожилась.

– Если людям нет выхода, – говорил сын, – что ж им остается делать? Не изменять же своим убеждениям? Во времена язычества какой-нибудь анахорет уносил свою идею в пустыню, к звёздам, и оттуда мир она завоевала.

– Уносил с водкой? – спрашивала Аглаида Васильевна.

– Ну да... ну, так они и не знаменитости какие-нибудь... Просто честные люди.

– Перестань, Тёма, глупости говорить... Честные люди – не нашедшие себе другого занятия, как хватать ночью за горло, просить милостыню и пропивать чужие деньги в кабаках!

– А у него очень оригинальная теория: он говорит, что стоил бы людям гораздо дороже, если б он делал то, что другие...

– Он пьян, может говорить что угодно, но ты, кажется, не пьешь?

– Не пью.

– Стыдно, Тёма, быть таким наивным. К чему же и образование тогда, если ты не можешь разобраться, где истина, а где бред опустившегося пьяницы.

– Ведь я не защищаю его. Я говорю, что есть некоторая правда...

– Должно быть снисхождение, но правды нет. Слишком святая вещь правда, чтоб она не нашла себе другого места, как кабак.

– Теперь нашла, а прежде могла и не найти... Крепостной сидел в кабаке, а с ним и правда сидела. Правда бежала в Сечу, а Сеча была, в сущности, что ж, как не разбойничий кабак? Собственно, я бы так даже поставил вопрос: в кабаке всегда сидит та правда, до которой люди еще не додумались...

Карташев, сказав это, сам удивился и прибавил:

– А знаешь, мама, это очень тонкая мысль.

Аглаида Васильевна улыбнулась.

– Некоторая доля правды есть, конечно.

– А если есть, то и знакомство с такими людьми полезно, – поймал сын.

– Но эту правду, не исковерканную, ты можешь и в жизни наблюдать.

– Ну-у, в жизни!.. все равно что в книге искать неизвестную страницу... а тут уже знаешь, где искать.

– По-твоему, значит, наука в кабак должна перейти?

– Не в кабак...

– Ты же сам говорил о закрытии кабаков?

– Ну – да, конечно...

– Что конечно?

– Ну, значит, что, может быть, и слишком прямолинейно думать, что закрыл кабак и конец злу... Более сложно выходит...

– Вот в этой сложности и сила. Было бы очень просто иначе: пошел в кабак и все узнал. Чтоб понять эту сложность, и учатся люди.

– А собственно, жизнь, как подумаешь, очень сложная история... глу-у-бокая... дна не достанешь...

– Сколько знания приобретешь, столько и достанешь.

– Какого знания?

– Да хоть какого-нибудь.

– Латинской грамматикой не достанешь.

Карташев вздохнул.

– Шесть часов в неделю: четвертая часть времени куда пропадает. А еще греческий приба-
вят. Я вот в своей статье все это высчитываю... А то, что в это время мог бы узнать полезного, а
то, что потупеешь от непроизводительной работы!.. Дай я тебе в пищу стружки буду подклады-
вать, разве не испорчу тебе желудок? Ужасно обидно...

– Не так уж ужасно...

– Тебе не так, а вот когда сидишь за этой грамматикой проклятой, так обидно, так унизи-
тельно себя чувствуешь, как будто... если б в каком-нибудь обществе вдруг тебя на колени поста-
вили.

– Скажите пожалуйста!.. Величайшие умы учили латинский язык, и это не помешало им сде-
латься великими и не унизило их, а вас унижает.

– Величайшие умы!.. Они наряжались в туфли, наряжались в парики, пудрились... Ну, а я
все это проделаю?.. У них сознания не было, а у нас есть сознание бесполезности, у всех есть, а
делаем... точно назло... на вот тебе...

– Ну уж это совсем глупости начинаешь говорить.

– Вовсе не глупости, – возразил Карташев, все более увлекаясь своим молодым задором. – В
эпоху Возрождения латынь понадобилась потому, что своего ничего не было. Теперь своего
столько, что вся наука древнего мира в моем кабаке поместится, а, собственно, та бестолковая
грамматика, которую мы зубрим, совсем бессмысленная ерунда, которую одинаково не знаем ни
мы, ни сами древние, ни учителя... Шутовской предмет, которого уважать нельзя, нельзя уважать
и того, кто берется выдавать его за что-то серьезное... Выходит обман, фальшь, унижение...
обидное унижение... Так иногда взял бы да пустил этой грамматикой в чей-нибудь деревянный
лоб.

– Ах, как мило! ты его в лоб, он тебя в нос: доказали. Нет уж, милый! – вспыхнула Аглаида
Васильевна, – когда дело до рук доходит, тогда конец всему: и прав будешь – один останешься, и
друзья отвернутся, если у тебя других доводов нет.

– Сколько угодно есть...

– А если есть, то при чем тут руки?

– Досада...

– Досада? это уж личное чувство, а с личным никто и считаться не станет. Все личное только
унизит и погубит: вот как этот спившийся техник.

– А его товарищ – совершенно обратное.

– Середину нужно... такт... понимание жизни; а раз понимаешь – твое я и потонет, и воли
рукам незачем давать... Так же унижительно, как то непроизводительное зубрение грамматики, о
котором ты говоришь.

– Так, значит, зло так пусть и будет, а ты смотри да радуйся?

– Мелодраматических злодеев нет, мой милый... Сознательно одно зло все не могут де-
лать... Если ты чувствуешь в себе призвание видеть зло там, где другие видят добро, так и имей
терпение выяснить это, представить тому неопровержимые данные.

– А если их знать не хотят?

– Что ж, знать не хотят? Сила не в тех, кто знать не хочет, а сила в твоей истине. Ты сам ана-

хоретов приводил... Я тебе Христа приведу... Не унизил же он свою истину участием рук; наоборот, унизились те, кто его распяли... И люди оценили, поклонились распятому... две тысячи лет тому назад величайший деятель человечества показал единственный путь проведения в жизнь своих идеалов: сам прими страдания за них, если убежден, но волоса не тронь неуверенного; не смей унижать свою истину потому только, что ты малодушен.

– Значит, все-таки сложи руки и сиди: тебе будут плевать в глаза, а ты будешь говорить – божья роса?

– И в Христа плевали.

– Так то ж Христос.

– Вот-вот, и идея его – достояние мира.

– Нет, это все в теории хорошо, а на практике не годится.

– Именно... Поверь, эта мысль была еще яснее такому же практику, как ты, который стоял на Голгофе в момент распятия Христа.

– По-вашему, французская революция не должна была быть?

– По-моему, французская революция не убедила современников, сколько ни резали, – через десять лет уже сидел Наполеон.

– Но теперь все-таки ясно людям всё...

– Но не ясно вот что: может быть, истины эти, при распространении знания, сами собой прошли бы в жизнь...

– А теперь наверно прошли.

– И ученье Христа прошло.

Карташев напряженно уставился в мать:

– Учению Христа помогло небо, а здесь ум человеческий...

– Провел истины Христа, – dokonчила мать.

– Я что-то не помню там патера с распятием...

– Ну, об этом довольно...

VIII ЭКЗАМЕНЫ

Прошла пасха. Начались переходные экзамены из шестого в седьмой. На экзамене истории с Карташевым случился скандал. Было задано на письменную тему – причины крестовых походов. Успех был обеспечен, но Карташеву захотелось отличиться, и он, разложив на коленях конспект, начал списывать с него. Директор, увидев это, встал и подошел к Карташеву.

– Это что-с?

– Я хотел по Гизо.

Директор пересматривал общую тетрадь Карташева, где были и полезные заметки, и фигуры голых женщин, а Карташев, смущенный и сконфуженный, стоял перед ним.

– Стыдитесь! – вспыхнул вдруг, как порох, директор.

Тетрадь полетела в угол залы, а за ней и все мысли Карташева. Мало того, что директор швырнул тетрадь, он приказал Карташеву поднять ее.

Карташев чувствовал, что директор не имел права так поступать, и в душе шевелилась мысль сказать ему это, но другая мысль, о том, что его за это исключат, заставила Карташева с помертвевшим лицом покорно пойти и поднять свою тетрадь. Это был тяжелый удар самолюбию, и, если бы Карташеву сказали вперед, что он так поступит, – он, наверно, обиделся бы. А теперь обижаться ему не на кого было, он исполнил, по его мнению, лакейскую обязанность и испытывал своеобразное удовлетворение: хоть и унизился, а остался целым и невредимым.

Он, конечно, чувствовал себя оскорбленным и, отвечая, не смотрел на директора, но это был такой ничтожный протест, который и самого Карташева не удовлетворил.

Он получил по пяти и за устный и за письменный ответ. На письменный ему задали новую тему, и так как он ее не знал, то опять смошенничал, приняв на этот раз большие предосторожности. Последнее обстоятельство давало злое удовлетворение, но в общем, возвращаясь с экзамена,

он хотел, чтобы весь экзамен этот был только сном, о котором можно было бы, проснувшись, забыть.

Конечно, было благоразумно с его стороны, что он не сделал скандала: выгнали бы – и только, а теперь все обошлось благополучно и получил даже две пятерки. Корнев получил четыре, Рыльский – три, но Долба тоже получил две пятерки. С Долбой директор был очень любезен и даже смеялся по поводу чего-то, а Долба держал себя уверенно, развязно и, кончив, так равнодушно тряхнул волосами, как бы говорил: «Иначе и быть не могло».

«Хорошо ему, – думал Карташев, – а случись это с ним, и он бы, наверно, поднял тетрадь, и Корнев, и Рыльский, и все».

Карташев чувствовал себя скверно: точно уменьшился вдруг ростом. «Все равно, день, два, а там и забудется, – думал он, – а пятерки останутся... Черт с ним, и с директором, и со всей этой историей. Я, что ли, виноват? На его душе грех... Эх, перелететь бы куда-нибудь к счастливым людям, где радость в том, что сознают свое достоинство, где молодость ярка и сильна, где люди ищут удовлетворения не в унижении других, а в уважении в этих других такого же человека, как они... Да, да, где эта счастливая страна?» И Карташев напряженно и нехотя зевал и гнал от себя бесполезные скучные мысли. Что-то продолжало сосать сердце, и вечером в ароматном садике, на дворе у Корневых, где все уже знали, конечно, про скандал, он сидел, стараясь быть естественным, и Маня Корнева спрашивала его:

– Что с вами?

Он слышал насмешку в ее голосе, чудилось ему пренебрежение и сожаление со стороны Рыльского, Долбы и даже Корнева. Он уж не любил в эту минуту Маню, он ничего не хотел, его тянуло домой, и, когда он шел по темным улицам и вспоминал, как любезна была Корнева с Рыльским, он уныло шептал: «А черт с тобой!.. Ну и кокетничай с своим Рыльским... С кем хочешь... Черт с вами со всеми!»

С этого вечера после экзамена по истории, когда Корнева кокетничала с Рыльским, все переменялось в их отношениях. Прежняя близость сразу исчезла, и Карташев чувствовал, что он вдруг стал чужим для нее. Только мать Корнева по-прежнему ласково гладила его по голове и даже нежнее обыкновенного говорила ему:

– Голубчик ты мой.

Но дочь ее, смотревшая прежде с удовольствием, когда мать ласкала Карташева, теперь равнодушно говорила:

– Ну, мама, уж пошла...

И она смеялась своим естественным, веселым и беззаботным смехом, от которого, казалось, все смеялось, и прибавляла уже серьезно, с ноткой пренебрежительного раздражения:

– Да, ей-богу же, смешно.

Карташев ежился и робко смотрел на Корневу: куда девалась та прежняя Маня, с которой так легко и весело ему было? Только с Рыльским она была прежняя. Теперь Карташев еще сильнее любил ее и с непередаваемой болью видел, как пылкая, увлекающаяся Маня все больше заинтересовывалась Рыльским и смотрела на него так ласково, как никогда не смотрела на Карташева. А Рыльский, равнодушный и веселый, так смотрел на Маню, как никогда бы себе не позволил Карташев. Это было утешением для Карташева, и иногда он спрашивал Семенова:

– Как ты думаешь, Рыльский может сделать подлость?

– Какую? – переспрашивал Семенов и делался сразу серьезным и строгим.

– Вообще подлость?

Семенов несколько мгновений думал и без снисхождения утверждал, наклоняя, по обыкновению, голову:

– Может.

– Я тоже думаю.

– Может, – повторял убежденно Семенов.

IX СЕМЬЯ КОРНЕВА

Экзамены кончились. У Карташева и Корнева была осенью передержка по-латыни. Это их мало печалило, а Карташева даже радовало, что он в компании с Корневым срезался. Эта передержка сблизила их. Вообще с тех пор, как его сестра охладела к Карташеву, Корнев стал к последнему более расположенным, а от Рыльского, напротив, как будто отдалился. Что до Карташева, то он искренне полюбил Корнева и горячо звал его ехать к матери в деревню. Звала его и Аглаида Васильевна, но Корнев тянул и не решался. Отчасти мать Корнева, Анна Степановна, была против разлуки с сыном, когда и без того через год предстояла разлука, так как сын собирался в Петербург в медико-хирургическую академию. Отчасти не решался Корнев ехать и просто потому, что как-то странно было так сразу бросить налаженную обстановку и ехать в совершенно чужую семью: как примут его, как отнесутся при более близком знакомстве. Он знал, что пользовался в семье Карташева некоторым престижем, был уверен даже, что престиж этот был больше того, на какой он имел право рассчитывать, и тем более боялся за этот престиж. С другой стороны, его привлекала незнакомая ему совершенно деревенская жизнь. Он тянул с решением и пока отдавался приятному ничегонеделанию наступивших вакаций; ходил в гости, принимал у себя, валялся по диванам с книжкой в руках. В открытые окна врывался веселый, звонкий шум летней улицы; мягкий ветерок играл волосами, шелестел листьями книги и радостно шептал, что впереди целый ряд беззаботных, свободных от занятий дней.

Корнев, сколько помнил себя, всегда помнил все ту же обстановку. Та же квартира, веселая, чистая, с невысокими комнатами, мебель в белых чехлах, солнце, канарейка, тиканье всевозможных часов в разных комнатах. Тот же порядок, заведенный и установленный раз навсегда. Отсутствие роскоши, во всем солидная прочность, начиная с мебели и кончая бельем, всегда безукоризненно чистым, без модных фасонов, но с основательными внутренними достоинствами. Роскошь допускалась только в двух вещах: в вине и сигарах. То и другое получалось непосредственно, минуя пошлины, и вследствие этого стоило сравнительно дешево. Отец Корнева, Павел Васильевич, любил побаловать себя и своих друзей, или, как он называл их, собутыльников, и хорошим вином, и сигарами.

В доме Корневых гости редко показывались. Появляясь же, сразу принимались за еду и питье. Жена Павла Васильевича, Анна Степановна, не то дичилась, не то боялась друзей мужа, скрывая, впрочем, то и другое под маской любезной, гостеприимной хозяйки, кормила их разными вкусными блюдами простой кухни, — гости ели, пили и хвалили хозяйку, когда она заглядывала к ним в столовую.

— Анна Степановна!.. милейшая!.. по божеской и человеческой совести, такого пирога, как ваш, нет нигде во всем городе, хоть повесьте меня, — гремел обыкновенно главный запевала компании, Александр Иванович Злобцкий, громадная туша на высоких расставленных ногах.

— Так когда-нибудь и уйдем увси от вас без языка; бо проглотымо, истинно говорю, проглотымо... Да поддержите... чи вже проглотылы? — обращался Александр Иванович к остальной молчавшей компании.

— И сам назвонишь, — отвечал равнодушно чиновник таможни, Иван Николаевич Пономаренко, с оплывшим бледным лицом, маленькими черными, непокорными глазами. — Добре подвели, слава богу, язык... как только влезли на такую колокольню!

— Возможно ли терпеть сие оскорбление? — спрашиваю я вас, любезная наша хозяйка, Анна Степановна... Пожалуйте ручку...

— Эх! Юбочник.

— Что-о? — завидно...

— Кушайте, кушайте на здоровье, — говорила Анна Степановна, робко пятясь к двери, и, еще раз окинув взглядом стол с едой, тарелками и винами, спешила из накуренной комнаты в кухню пополнить исчезнувшее со стола.

— Вот кому счастье господь бог послал, — говорил ей вслед Александр Иванович и кивал на хозяина. — Давай меняться на мою фурумуру... двух сестер в придачу дам.

— Терпи, терпи, — пренебрежительно утешал его Пономаренко, — в рай попадешь.

— Да брешешь же, не попаду: в раю мученики, а дурней и оттуда гонят.

– Бачили прокляты очи, що покупалы: ижты ж, хоть повылазты.

– О, отозався казак! Та не ешьте ж бо, а пейты. – И Александр Иванович запевал излюбленную песню.

В кухню к Анне Степановне доносилось нестройное громкое пение:

А кто пье, тому наливайте,
Кто не пье, тому не давайте,
А мы будем пить
И горилку лить
И за нас,
И за вас,
И за неньку
Стареньку,
Шо научила пи-и-ть,
Го-о-рилочку лы-ы-ть.

Пьяные голоса один за другим замирали над последним протяжным аккордом.

Анна Степановна слушала, уставившись в блюдо, на которое накладывалось новое кушанье, и была довольна, что ряд комнат отделял ее от пировавших. Еще более радовалась этому, когда дом вздрагивал от взрывов сильного смеха или когда несея по комнатам громкий, горячий говор, шум, а то и крики. Анна Степановна только тревожно оглядывалась на двери, боясь, что вот-вот и сюда кто-нибудь заберется.

На рассвете, заплетаясь, компания удалялась наконец восвояси, и громадный «сам», как она называла мужа, бритый, молчаливый, стараясь сохранить свою обычную величественную осанку, поджав губы, мрачный, не смотря на нее, направлялся, лавируя, в свою спальню. Анна Степановна легко вздыхала и, разбитая, измученная, но успокоенная, плелась по комнатам, тушила лампы и наконец ложилась, долго еще растирая свои отекавшие от непрерывного стояния больные ноги.

По мере того как подрастали дети, характер кутежей и самый состав компании немного изменился. Устраивался род вечеров, и до ужина все шло чинно.

Под аккомпанемент дочери то solo, то хором распевались разные песни, и главным образом малороссийские: «Гей ты, казаче Софроне», «Заплакала Украина». Их запевал смуглый, с длинными черными усами, уверенный в себе регент соборной церкви, под магическим взглядом черных глаз которого Маня Корнева чувствовала себя как-то особенно хорошо.

А то вдруг без музыки затягивал Александр Иванович:

Ей кажут: встань раненько,
Причешися чопурненько;
Она встаты не хоче,
Як та видьма все цокоче.

И, кончив, он обнимал молодого Корнева и весело говорил:

– Так-то-сь, мой почтеннейший... Все бабы ведьмы, и нет ни единой, у которой хотя бы таковой малесенький хвостик не торчал. По опыту докладываю вам...

– Вот как, – отвечал Корнев, ежась и понижая свой голос до баса.

– Поверьте опытному человеку... и сладкое забвение от сей горькой истины сокрыто на дне сих сосудов... во исполнение реченного: и из горького выйдет сладкое... а потому предлагаю...

– Не пью.

– Напрасно... Чему же учат вас в таком случае?

– Ерунде больше.

– О, отозався казак... Будьте ж здоровеньки...

В обыкновенное время жизнь в доме Корневых протекала однообразно и монотонно. «Сам» ходил на службу, а возвратившись, обедал, надевал халат, и его громадная фигура в халате каза-

лась еще больше в невысоких комнатах.

Иногда он заглядывал в общие комнаты, загадочно смотрел, поджимал губы и испускал не то мычанье, не то вздох, не то несколько нот какого-то ему одному известного мотива и опять уходил к себе.

Проводив с утра детей в гимназии, мужа на службу, Анна Степановна принималась за хозяйство. Горничная прибирала комнаты, — она помогала ей. Вытирала с добродушной, энергичной гримасой пыль, вытирала зеркала тряпочкой, смоченной в водке, разговаривала с горничной, расспрашивая ее о ее житье, о родных, вникала во все подробности ее прежней жизни, докапывалась до противоречий и, смотря по впечатлению, или привязывалась к ней, или начинала ее мягко, но неуклонно так выводить на свежую воду, что горничная отказывалась от места. Насколько часто менялись горничные (может быть, здесь действовала и ревность: Павел Васильевич старых горничных не терпел), настолько кухарки жили долго. Возраст здесь не играл роли, и кухарки всегда у Анны Степановны были пожилые. Несколько лет уже жила старая, но веселая кухарка Марина, большая сплетница, в честность которой Анна Степановна верила, как в свою. С Мариной Анна Степановна отдыхала душой и всегда с удовольствием ждала ее возвращения с базара. Марина проворно раскладывала на большой чистый стол принесенную провизию: свежую красную говядину, белый хлеб, морковь, кочаны капусты, бублики; Анна Степановна с удовольствием подсаживалась поближе, вдыхала в себя свежий аромат от провизии, помогала кухарке и внимательно слушала, переспрашивая, разные городские новости. И Анна Степановна знала всегда все: и какой обед у Карташевых, и какая родня у Рыльского, и кто из ее знакомых к кому чаще ходит, — все передавала кухарка, что успевала узнавать на базаре от своих подруг. И все складывала в себя и тщательно берегла Анна Степановна. Запас этих сведений помогал ей разбираться в сложных отношениях незнакомого ей общества. Разговаривая с нею, ее добрые знакомые и не подозревали, что она каждый день приподнимает ту таинственную завесу их домашней жизни, которую обыкновенно стараются так тщательно закрывать от непосвященных глаз. Из-за этой запрещенной завесы Анна Степановна видела большею частью совсем других людей, чем те, какими желали изобразить себя эти люди. Добрый радетель о чужих бедах выходил прижимистым, сухим, несправедливым эгоистом; красноречивая дама с бегающими глазками, так ищущими общего сочувствия, пользовалась общеою ненавистью прислуги за свой несносный черствый характер. И это постоянное двойное освещение, под которым Анна Степановна видела людей, в связи с природной чуткостью, делало то, что она никогда не ошибалась в своих симпатиях и всегда говорила и действовала наверняка.

Сознательно или бессознательно, но признавал это и всегда сосредоточенно-величественный и загадочно-молчаливый муж ее, и молодой, считавший себя далеким от ее влияния, сын. В этом отношении она имела несомненное влияние в семье, и тем более сильное, чем меньше оно сознавалось и ею и семьей. В остальном, в глазах сына, она была маменькой, которую он любил и старался забыть и ее неразвитость, и ее мещанское звание, которое невольно, но часто подчеркивалось в обществе. Но дочери оно доставляло много мучительного. Оно вносило раздражение, может быть, и зависть в сношения ее с подругами и влияло на выбор подруг. Мещанство матери было самым больным местом дочери, и неосторожный намек в этом смысле заливал ее щеки, шею и уши ярким румянцем. К чести Марьи Павловны надо сказать, что она не то что стыдилась за мать, а просто раздражалась и обижалась. Что думал «сам», этого никто не знал, не знала и Анна Степановна. Понимая всех своих знакомых, она с совершенным недоумением останавливалась перед своим мужем. Известный инстинкт подсказывал ей, конечно, манеру обращения, но, сильный и верный с другими, инстинкт действовал здесь робко, наугад и часто невпопад. Существовало что-то, в чем так и не могла разобраться Анна Степановна. И это бессознательно мучило ее и заставляло напряженно рыться в прошлом, в бесполезном усилии найти затерянное начало; все с самого начала таким было, сразу как-то потерялась руководящая нить, с самой первой встречи.

Покончив со всякими делами по хозяйству, надев большие черепаховые очки, Анна Степановна садилась где-нибудь в залитой солнцем комнатке, где особенно звонко заливались канарейки, за починку и штопанье старого белья и часто отдавалась воспоминаниям об этой первой встрече.

Да, двадцать лет прошло, точно вот вчера все это было. Все, как живое, стояло перед глаза-

ми.

Пошла она в собор и надела, как сейчас помнит, синенькое с белыми звездочками платье. На самой груди была маленькая вырезка и в ней крестик, маленький, серебряный, позолоченный, на бархатной ленточке. Стоит она в церкви, молится; уж к кресту пошли, уж идут мимо нее назад; только и она было собралась двинуться, как вдруг... Анна Степановна опускала работу при воспоминании, как это случилось. Стоит перед ней молодой человек, высокий, в синем воротнике, в золотых пуговицах; волосы этак короткие, причесанные назад, светлые-светлые, глаза голубые так насквозь и смотрят... И вдруг... крестится, наклоняется да прямо в крестик, что в прорезе у нее на груди, губами... Завертелось все в глазах: и страшно, и стыдно, и вот точно волю всю ее отнял, – а слезы так и льются по щекам. Взял он ее под руку и повел из церкви. Очнулась уж в какой-то улице. Спрашивает ее:

– Вы где живете?

Глянула она на него, вспомнила и говорит:

– За что же это вы меня на всю жизнь опорочили?

– Простите... ради бога, простите...

А сам идет все да говорит, говорит что-то...

Разливаются канарейки, льются их трели, лежит на коленях работа, а Анна Степановна все смотрит и смотрит куда-то вдаль.

Двадцать лет пронеслось... Все такой же он: веселый – называет ее «Анна Степановна»; сердитый – скажет: «сударыня», подожмет губы – туча тучей. Так и упадет ее сердце, и жизнь не в жизнь, ходит, шепчет себе: «Закатилось мое солнышко», – да вздыхает. А боже сохрани при нем вздохнуть. Как услышит его шаги, сама себя испугает – идет, идет! И примет спокойный вид. Пройдет он – смотрит ему вслед, смотрит потухшим, непонимающим взглядом.

Павел Васильевич и с детьми был чужой. Больше других разрешалось дочери; разрешалось, или она сама себе разрешала: не боялась она как-то его угрюмого вида даже и тогда, когда деньги приходилось просить.

Сын относился к отцу с какой-то смесью страха, непонимания и того характерного недружелюбия, которое всегда является результатом далеких отношений отца к детям. Недружелюбие это было не по существу, – в каком-то отвлечении его не существовало, но от этого текущие отношения не были ближе. В этом отвлечении сын, в общем, уважал отца. От матери он узнал историю их брака, знал некоторые подробности из его жизни, дававшие ясное представление о том, что его отец был, по крайней мере, прежде (теперь он молчал), человеком чутким к высшим потребностям жизни. Об этом же говорила громадная библиотека отца, которую сын оценил, начав серьезное чтение. Уважал он отца и за отсутствие всякой рисовки. Некоторое сочувствие отца к его развитию сын угадывал, но в редкие минуты беседы на эту тему отец высказывался так определенно и категорично, что чувствовалось, что всякий спор с ним был совершенно бесполезен. Вообще Корнев считал, что отец – существующий факт, который надо принимать так, как он есть, ничего здесь не переменить, и лучшее, чтобы не раздражать и не раздражаться, – это избегать с ним всяких лишних разговоров, не идущих к делу. А деловые разговоры всегда были коротки и лаконичны: «выдержал», «срезался» и в очень редких случаях: «папенька, позвольте денег».

Х ПИКНИК

Наташа Карташева, державшая экзамен в казенную гимназию в тот же класс, где была и Корнева, познакомилась таким образом с Маней, и, по настоянию братьев, они обе познакомились и домами между собой. Зина Карташева держала себя в стороне от подруг Наташи. Месяц тому назад она кончила курс в частной гимназии и теперь была уже на правах взрослой барышни. С товарищами брата у нее тоже было мало общего.

Зинаида Николаевна кончила ученье, выходила, так сказать, уже на дорогу жизни, а компании предстояло еще столько же, если не больше, учиться: ходили к тому же слухи о восьмом классе, о греческом языке, о каком-то циркуляре попечителя. Все это занимало и волновало компанию,

но все это уж не интересовало Зинаиды Николаевны: напротив, товарищи брата в ее глазах еще больше превращались в мальчиков. Компания чувствовала это отношение к себе Зинаиды Николаевны и понемногу, затаив недовольство, стала отдаляться от нее. Зинаида Николаевна и довольна была отделаться от мальчишек, и в то же время чувствовала пустоту: ученье кончилось, новая жизнь не сложилась. Не было даже подходящего кружка знакомых, где общность интересов связывала бы ее с этим кружком. Она бывала у нескольких подруг, эти подруги бывали у нее, но все это было как-то не «по-большому», не налажено и, главное, не интересно: не было даже настоящих кавалеров, взрослых, окончивших курс, интересных, если не считать одного судебного следователя да брата одной подруги, молодого учителя гимназии – Логинова, которого Зинаида Николаевна маленькой девочкой встречала, бывало, в церкви в гимназическом мундире. Оба эти кавалера у Аглаиды Васильевны в доме не бывали, и встречалась с ними Зинаида Николаевна или у подруги, или на бульваре, куда на прогулку ее и подруг проводжали эти кавалеры.

Компания, шляясь и наталкиваясь на Зинаиду Николаевну и ее общество, размашисто, не без иронии раскланивалась с ней и пускала по ее адресу, в отсутствие Карташева, остроты, смысл которых был тот, что «Зинаида Николаевна теперь стали большие, им нужно женихов, и они, мальчишки, для них больше не интересны».

– Ну, и скатертью дорога, – говорил Корнев, – на здоровье! Хотя, не в обиду будь сказано, господин следователь имеет вид голодного галчонка, а господин учитель был известен своей глупостью еще в тот период, когда впервые узнал, откуда у него ноги растут.

Зинаида Николаевна точно чувствовала, что означали эти боковые довольные взгляды, которыми компания, проходя мимо, дарила ее и ее общество, краснела и испытывала неприятное, немного враждебное чувство к друзьям брата.

– Гм, гм! – говорил Долба, оглядываясь на приличной дистанции на проходившее общество Зинаиды Николаевны. – На трех барышень двух кавалеров маловато.

– Дежурство устроят, – отвечал Рыльский, поправляя свой шнурок.

Что до Наташи, то она училась и не думала еще о том времени, когда ее сверстники превратятся вдруг в мальчишек. Теперь эти мальчишки и ее и Корневу очень интересовали; как-то незаметно, само собой происходило обоюдное сближение, и Наташа и компания в обществе друг друга чувствовали себя легко и свободно. Иногда даже компания при Наташе прохаживалась насчет ее старшей сестры, иногда серьезный подымался разговор на тему, что значит, собственно, «кончила курс».

Окончание экзаменов решено было отпраздновать пикником. Так как следующее после экзаменов воскресенье совпало к тому же с днем рождения Корнева, то и постановили: обедать у Корневых и сейчас же после обеда ехать на лодках на дачу к подруге Корневой – Горенко. Наташа, сошедшаяся быстро с Горенко, тоже участвовала со всеми и в обеде и в пикнике.

В воскресенье с утра, по обыкновению, вся семья Корневых (за исключением Анны Степановны, болевшей ногами) отправилась в собор.

Как-то давно уже Павел Васильевич коснулся раз навсегда этого вопроса по поводу высканного сыном взгляда на религию.

– М-м-м... – протянул Павел Васильевич, сжав губы, и уставился, точно задумался, в пол. Так он стоял долго и наконец, решительно подняв голову, произнес:

– Да-с...

И опять задумался.

– Вот что...

Павел Васильевич сделал еще одну паузу, собрал губы и заговорил, свободно модулируя свой голос:

– Там как угодно... Все человечество... величайшие умы... Ну-с, все равно... это меня не касается... Но у вас есть сестра...

Павел Васильевич в торжественных случаях говорил своим домочадцам «вы». Он еще раз сжал губы и кончил:

– Я желал бы, чтоб формальности были соблюдаемы.

Ту же мысль Аглаида Васильевна своему сыну высказала так:

– Там, веришь ли ты или не веришь, мне решительно все равно. Я верю, что, когда надо будет, господь пожалеет меня и сделает тебя верующим; но вот чего я не могу позволить – это казаться сестер. «Горе соблазнившему единого от малых сил»... помнишь? Ни люди, ни бог не простят. И в церковь извольте ходить.

Таким образом, и Корнев и Карташев ходили в церковь. Ходила, впрочем, и остальная компания и даже католик Рыльский, потому что в церкви можно было встретить всех: Аглаиду Васильевну с дочерьми, сестру Корнева, подруг и ее, и Зининых, и Наташиных.

День был настоящий летний, так и тянуло куда-нибудь подальше от душного города. Город со своими нарядными, звонкими улицами, панелями в тени акаций, с белыми маркизами, с красивым тенистым бульваром, с сверкавшим там, внизу, синим морем, залитый ярким солнцем, – точно спал в неподвижном воздухе.

В соборе шла обедня. Было прохладно и просторно. Редкие шаги по каменному полу собора звонким эхом отдавались в ушах. Над головами в высоком куполе, точно живые, двигались волны ладана и таяли там, вверху, в неподвижных золотых лучах солнца. По церкви, вибрируя, неслись и мягкие дрожащие звуки протодиаконского баса, и стройное пение архиерейских певчих. В раскрытые окна заглядывал веселый, праздничный день, тихий, неподвижный, точно заглянул и притих, проникнутый торжественной службой. По временам лишь вдруг врвался звонкий треск мостовой или мягко шумела в окнах молодая, вся в белом цвету, листва акаций.

У алтаря, с левой стороны, ближе к решетке, стояла Аглаида Васильевна, спокойная, сосредоточенная, внимательная к службе; Зинаида Николаевна, сдержанная, строгая; Наташа, усталая, рассеянная; Анна Петровна Горенко, с живыми синими глазами, которые быстро, пытливо, в контраст с безмятежными большими глазами Наташи, всматривались во все окружающее. Подальше стоял громадный «сам» – Павел Васильевич Корнев, с плотно сжатыми губами, со сложенными на животе руками, иногда вдруг всем туловищем поворачивавшийся назад и смотревший куда-то вдаль над головами молящихся. Позади него стояла Маня Корнева с дочерью хозяина того дома, где жили Корневы, нарядной, красивой бесцветной девушкой. Еще дальше в легких парусиновых костюмах, облокотившись о колонны, стояли Корнев и Карташев.

Карташева мучила все та же мысль о Мане Корневой. Сердце его тоскливо ныло. Он то смотрел, задумавшись, вперед, то, убегая от своих неприятных мыслей, исчезал взглядом в окне, следя, как нежный воздух в нем млеет, рябит и уносится мелкими струйками вверх, в прозрачное небо. Там, в голубой дали, точно купался высоковысоко орел! Счастливый орел! Ему нет преград: он прилетел из степей, видит теперь синее море и опять улетит назад в степи... куда захочет: может быть, в Крым, на Кавказ... увидит горы... снег на них... полетит в другие степи, ровные, гладкие, с болотистой рекой, высокими камышами, низким небом... Завывает камыш, качается над рекой. Мутная река бежит мимо: камыш машет ей вслед, точно хочет догнать ее и не может... Маня Корнева чужая ему и любит Рыльского... Близко стоит она, как и прежде, а чужая... Ее желтенькое барежевое платье... тоже чужое... В окно свежая волна воздуха несет аромат моря, жасмина, акаций и мучительно проникает в сердце. Нет, не чужая! – шепчет, точно просит, чей-то голос... Чужая! чужая! чужая! – упрямо твердит другой... А в голове точно поет кто-то тоскливо и сладко:

Любил я вас сердцем
И любил душою,
Вы же, как младенцем,
Забавлялись мною.
Вы не понимали
Ни моих страданий...

Не понимала!.. Слезы сверкали в глазах Карташева. Эх, забыть бы все и улететь туда в окно, где белая акация тонет в нежном голубом небе, где орел черной точкой только виднеется уже там, вдали. Глупая его любовь, глупый он сам... слава богу, никто не знает о его любви, и никогда не

узнает... и она, что любил он ее... Наташа повернулась и смотрит на него, точно задумалась, жаль ей его. Неужели угадала? Нет, слава богу, не угадала; перевела спокойно глаза на Корневу и смотрит так, как будто и его о чем-то спрашивает. Счастливая Наташа! не мучится. И Анна Петровна оглянулась и смотрит на него ласково, внимательно... синие-синие глаза, зубки белые, думает что-то и кусает губы... губы маленькие, красивые. Покраснела и отвернулась. Может быть, он неловко посмотрел?.. Отчего ему всегда кажется, что он вдруг сделает когда-нибудь что-то такое, чего уж и поправить нельзя будет?.. Рассеянным не надо быть, надо постоянно думать.

Карташев стряхнул с себя мысли и повернулся к алтарю: затворялись царские врата, певчие теснее обступили смуглого регента с черными усами, в расстегнутом сюртуке; подумал про него, что ему жарко; замер на мгновение над поднявшимся вверх камертоном и окончательно пришел в себя, когда воздух дрогнул, и полились, и зазвенели, и загудели трескучие залпы торжественного: «Тебе бога хвалим».

«Скоро конец», – подумал Карташев и устало посмотрел назад. Он весело встрепенулся: пробирались Семенов, Долба и Рыльский. Корнев, какой-то праздничный, настоящий именинник, причесанный с боковым пробором светлых густых волос, тоже повернулся, и из монгольских припухших прорезов смотрели его серо-зеленые пытливые глаза.

Семенов шел впереди, выпятив грудь, с сияющим выражением своего красного в веснушках лица. Он был доволен собой: успел отстоять обедню с родными и попал вовремя в собор. Из-за Семенова выглядывали большие карие глаза Долбы, а из-за Долбы смотрело беззаботно-веселое, насмешливое лицо Рыльского. Он с каким-то затаенным любопытством и некоторым страхом косился по сторонам, точно вот-вот узнают, что он католик, догадаются, зачем он пришел, и вдруг выведут его из церкви. Он усиленно обмахивал свою грудь каким-то полукатолическим, полуправославным крестом и еще веселее поглядывал вперед, где стояла знакомая публика.

Приблизившись, Семенов в упор нажал на Карташева и, сохраняя свой надутый вид, толкнул его слегка в бок кулаком. Корнева повернулась, весело скользнула глазами по прибывшим, на мгновение остановилась на Рыльском и, отвернувшись, уставилась в золотое сияние над алтарем.

Компания оживленно зашушукала, послышался сдержанный тихий смех. Корнева, опять повернувшись и сдвинув брови, старалась строго посмотреть на шумевших. В ответ Рыльский быстро закрестился, закланялся, не спуская с нее глаз. Она тоже смотрела на него своими влажными карими глазками и уже не строго, но с какою-то вызывающе пренебрежительною гримасою; смотрела ему в глаза, на крестившуюся руку и опять в глаза. Что-то точно кольнуло ее в сердце, в глазах ее сверкнул огонек, и, не выдержав, она отвернулась к алтарю. Только видны были ее красные ушки да аккуратно высоко вверх подобранные волосы. Карташев видел все. Не было сомнения. Растерянный, сконфуженный, он старался забыть и о Корневой и о Рыльском, старался думать о постороннем и был рад, когда служба кончилась и все начали здороваться между собою. Он тоже потянулся, поздоровался с Маней, торопливо избегая ее взгляда, подошел к Наташе и Горенко.

– Приезжайте же сегодня с сестрой к нам на дачу, – сказала Анна Петровна ласково.

Карташев рассеянно поклонился.

– У нас хорошо: море близко, купанье отличное, вечером такая прелесть... так бы и не ложился спать.

– Ах, как жалко, что мы едем в деревню! – с огорчением сказала Наташа, – я так люблю море.

– В деревне тоже хорошо, – упавшим голосом ответил Карташев, грустно следя, как Корнева пошла к выходу.

– Послушай, – дернул его Семенов, – Марья Павловна поручила тебе сказать, чтобы ты пришел на бульвар, когда проводишь сестер.

Карташев вспыхнул, а Семенов, попрощавшись, быстро зашагал вдогонку за скрывавшимися Корневой, Рыльским и Долбой.

– Вы к нам в деревню приезжайте, – повеселел вдруг Карташев, обращаясь к Анне Петровне.

– Я не могу: у меня брат больной.

Она встревоженно отвела глаза, без интереса скользнула ими по проходящим и начала прощаться. Наташа крепко поцеловалась с нею.

– Ах, как я ее люблю! – говорила Наташа брату, идя с ним из церкви. – Она ужасно гордая... не гордая, а самолюбивая... и добрая: все готова отдать... Как она любит брата! Брат тоже симпатичный... Жаль его! – он, наверно, умрет: у него чахотка.

– Она очень симпатичная, – согласился Карташев.

– Сегодня как раз восемнадцать лет, – говорила Аглаида Васильевна, сходя с паперти и равняясь с сыном, – как мы переехали из Петербурга сюда. Я еще маленькой мечтала всегда о юге, и мне кажется, если б мне пришлось возвратиться в Петербург, я умерла бы там... Без солнца, без воздуха, без моря нельзя жить...

Она вошла в аллею.

– А я люблю север, зиму, – ответил сын.

– Ни того ни другого ты не видал. А если придется тебе жить на севере, ты никогда его не будешь любить: север – бледная тень юга, слабая копия плохими красками... А особенно ты... Когда я ждала тебя на свет, я по целым часам просиживала на берегу моря, читала Вальтера Скотта, «Консуэло» Жорж Занд, Диккенса, постоянно смотрела на портрет Пушкина... Целую галерею портретов устроила.

– Ну, ни на Пушкина, ни на Диккенса, ни на Вальтера Скотта я, кажется, не похож.

– Мальчик ты еще...

– Не совсем и мальчик, – ответил сын, косясь на свои пробивающиеся усы.

– Для меня всегда мальчик.

– Удобная позиция, – усмехнулся он, – по крайней мере, надежды никогда не потеряете, что из меня выйдет что-нибудь.

Мать улыбалась и удовлетворенно провожала глазами обгонявших их пешеходов.

Подходя к дому, Карташев нетерпеливо прибавлял ходу.

– Тёма совсем уже перестал дома сидеть, – сказала Зина.

Карташев покосился на мать.

– Налюбуемся еще друг на друга за лето в деревне, – ответил он угрюмо.

– А пока Маней... Спеш... – пренебрежительно кончила Зина.

Тёма почувствовал какой-то намек на Рыльского, сверкнул глазами, но, овладев собой, принял равнодушно спокойный вид.

– Я не мешаюсь в твои дела, – прошу и в мои не мешаться.

– Во-первых, у меня никаких дел нет, – обиделась Зина.

– Очень жаль.

– Ну, уж это не твое дело.

– Тёма, Зина, что это такое? – вмешалась Аглаида Васильевна. – Право, чем больше вы растете, тем у вас хуже манеры.

– Я никогда с Тёмой больше не буду разговаривать. Он каждое мое слово перевирает.

– Да и не разговаривай, пожалуйста. Воображает, что кончила курс...

– Стыдно, Тёма, – оборвала Аглаида Васильевна. И, понизив голос, хотя Зина и ушла, Аглаида Васильевна добавила: – Сестра курс кончила: вместо того чтоб сделать ей что-нибудь приятное, ты точно такой же чужой ей, как какой-нибудь Долба, который только и рад, когда подметит что-нибудь... Стыдно. В этом отношении с Корнева бери пример, никогда против сестры...

– Ну, уж и никогда.

– Никогда... так пошутит, но он любит и, смотри, как горой встанет, чуть что... Кстати, что ж он, едет?

– Он хочет... мать, кажется... поедет!

– Мы во вторник вещи отправляем.

– Я сегодня спрошу его... Наташа, не опоздай к Корневым.

Мать вошла в дом, а Карташев пошел назад, расстроенный и огорченный. Дойдя до перекрестка, он остановился, подумал и вместо бульвара повернул к квартире Корневых.

Зина, уйдя от брата, вошла первой в гостиную, остановилась посреди комнаты спиной к входившей Наташе и проговорила:

– Тёма дурак: не видит, что его Корнева по уши влюблена в Рыльского... Никакого самолю-

бия нет. Рыльский так ухаживает явно...

– Рыльский же в тебя влюблен, – пустила булавку сестра.

– Что ж из этого? Можно ухаживать за кем угодно. Да мне решительно, впрочем, все равно, в кого влюблен Рыльский. Мальчишка...

– А ты что за маменька?

– Я сегодня выйду замуж, у меня через год дети, а он мальчишка...

– Тоже может жениться... Сын Акима таких же лет, а собирается же жениться.

Сестра так возмутилась, что даже не сразу ответила.

– Какие ты глупости говоришь.

– Почему глупости?

– Да потому, что глупости. Там животная жизнь, а им надо учиться и учиться.

– В таком случае выходит, что ты старше их только тем, что перестала учиться.

Зина вместо ответа села на стул и, как была в шляпке, расплакалась.

Наташа смущенно смотрела на сестру.

– Я совсем тебя не хотела обидеть, – растерянно проговорила она.

– Да я вовсе не оттого и плачу, – ответила Зина, вытирая слезы и отворачиваясь к окну. – Лезут, лезут... пристают... Точно преступление какое сделала, что курс кончила... Я в монастырь уйду...

– Зачем же в монастырь? – растерялась совсем Наташа.

Зина не ответила и, вытерев слезы, смотрела своими черными строгими глазами на улицу, по которой один за другим мчались нарядные экипажи, уносившие сидевших в них на дачи.

Вошла Аглаида Васильевна, оглянула дочерей, поцеловала выскочивших к ней Маню и Асю, спросила, где Сережа, скользнула взглядом по Зине, подошла к ней и, обняв ее голову двумя руками, наклонилась и, ласково поцеловав ее, проговорила:

– Умница моя.

Зина молча поцеловала руку матери.

– Все придет в свое время...

Аглаида Васильевна точно подслушала разговор сестер.

– И я в твои годы, когда кончила курс, также не знала, что с собой делать. Все идут одной и той же дорогой: только кажется, что с нами вот именно и происходит что-то особенное... Вот приедем из деревни, я знакомства возобновлю...

– Да я и не хочу их, – огорченно перебила дочь.

– Ну, не хочешь, ложу в театр возьмем... К тете в Петербург поедешь... Только не плачь: это портит цвет лица, будешь бледная, со вздутыми глазами. Ты что ж, поедешь сегодня на дачу к Елищевым?

– Кажется, поеду.

– Если бы Тёма был свободен, – сказала мать, – ему бы тоже поехать надо было.

– Страшно занят, – не утерпела Зина, – для всех время есть, кроме сестер.

– Рожденье Корнева, – заступилась Наташа.

– С сестрой за брата отпразднует...

– Ну, ну, – заметила Аглаида Васильевна, – уж ты сегодня расходишься.

– Вы, мама, всегда за Тёму заступаетесь...

– Ах, скажите пожалуйста, – рассмеялась Аглаида Васильевна, глядя волосы дочери, – вы, кажется, и до мамы добираетесь.

Зина встала и горячо поцеловала мать.

– Надо, детки, мягче относиться друг к другу, – говорила мать, целуя, в свою очередь, дочь.

Павел Васильевич Корнев шел от обедни, выступая по улице как-то боком, размахивая правой рукой так же свободно, как будто он шагал не по улице, а по своему кабинету. Он сдвинул легкую соломенную шляпу на затылок, отдувался, пускал свое «фу» и по временам обмахивался большим полотняным платком, который за два конца держал в правой руке.

Обгоняя его, прошли его сын и племянник, студент местного университета. Оба шли воз-

бужденно и быстро.

Корнев сосредоточенно слушал и, по обыкновению, обгрызал свои и без того обглоданные ногти.

– Я прочитал твою статью, – говорил студент. – Видишь ли... Да брось, – нетерпеливо ударил он по руке Корнева. – Скверная привычка какая... главное, хочешь быть медиком: трупное заражение готово.

– Скверная привычка, – ответил вскользь Корнев и принялся опять за ногти.

– Да... так вот я говорю... – поймал свою мысль студент, всматриваясь большими близорукими глазами в проходившего господина. – Если смотреть на жизнь как на удовольствие, тогда, конечно, отчего и не прикрасить ее для большего еще, что ли, удовольствия... Но если жизнь...

Студент поискал глазами, оглянулся для чего-то назад и, точно поймав нужное слово, продолжал:

–...но если жизнь – серьезный труд, решение весьма важной задачи, на которую полагается весьма ограниченное время, именно наша жизнь – время, из которого мы не имеем права терять ни одной секунды.

Студент на мгновение нервно открыл глаза, еще раз оглянулся.

– Тогда все то, что понимается под словом «художественно»...

– Понятно, – озабоченно произнес Корнев, прибавляя шагу.

Они почти бежали по улице. Опередив немного Корнева, ухватив его за пуговицу парусиновом пиджака, студент продолжал:

– Не только потеря времени, но и вред!

Последнее слово крикнул он на всю улицу.

– И вот почему! Человек с самой серьезной физиономией говорит:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен.⁵

Мне представляется такая картина: сидит чучело с длинными волосами, сидит и ждет, пока его потребуют и поволочат в широкошумные дубравы. А так как сидеть скучно, то он и погружается малодушно и делается между сынами земли самым ничтожным... Вот к чему это приводит: патент на бездельничанье. Напрягся и потек, потек и изнемог. Та же мысль, только красивее передана. А в погоне за этой красотой гибнет знание. Человек, вместо того чтобы учиться и с этим знанием, как анатом со скальпелем, идти в жизнь, разворачивать ее не в фотографическом изображении, в каком мы ее и без того все видим, но осмыслить не можем, а в систематичном изложении постоянно накапливающегося, неотразимого вывода, – человек сидит болваном и ждет, пока его идиот Аполлон потащит в широкошумные дубравы... пакость! Уж если этакому болвану охота время свое тратить, так и пусть его, ну, а читать его ерунду прямо уж преступление... В этом и зло этого принципа искусства для искусства.

– Да, конечно...

– А вот ты в своей статье и не подчеркнул этого... Есть и еще очень скверная сторона здесь. Художественная форма очень капризная вещь: удастся не то, что хочешь, а то, что выходит; ведет, следовательно, форма, а не суть. И еще: художественно ты можешь воспроизвести то, что видел, положим, но то, что ты слышал, например, тебе не удастся облечь в художественные формы, – ты бросаешь, а между тем, может быть, слышанное по содержанию гораздо важнее наблюденного. Опять содержание гибнет из-за формы. А между тем жизнь не форма, и за каждое предпочтение формы перед сутью приходится дорого платить. Вся задача людей, все их развитие сосредоточено на том, чтобы по возможности расширять формы жизни, – это мерило цивилизации: у китайца под формой все протухло, тина, болото... У американца жизнь бьет ключом. Больше можно сказать:

⁵ Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».

форма – мерило силы народной, и преобладание ее над сутью – бессилие народа. Литература и должна разбивать эти мешающие жить формы. И что ж? Она же сама, этот, так сказать, таран рутины сам превратился в такую рутину, что современному русскому живому, умному человеку, не обладающему этой формой, приходится, не раскрывши, что называется, рта, являться и сходить с подмостков жизни... А между тем это живое слово необходимо. В прежнее время без пара, электричества, без этих страшных рычагов цивилизации там, может быть, и можно было дожидаться сочетания и содержания и формы, а теперь... когда выпячивает и с боков и снизу... когда чуть не караул впору кричать, сидеть и ждать златокудрого Аполлона может только какая-нибудь Коробочка или идиот, довольный тем, что он освободил себя от обязанности давать отчет за свои благоглупости. Наше время машин и механики, время прозы, ремесленное время, время усиленной грязной работы с засученными рукавами, время ума, а не время тонкостей маркизов и помпадурш, и литература должна быть на высоте. Не форма ее задача, а простым человеческим языком объяснение смысла этой работы, направление к цели, ободрение работников, подготовка и воспитание этих работников, которые бы полюбили свою работу, умели бы умирать за нее, а не придумывать разные отговорки в пользу сытого брюха... «семья, семья...». Так не женись, черт тебя побери, если нельзя найти другой семьи!

– Видишь ты, я указал...

– Бледно!! Это должно выпятиться так, чтобы слова из бумаги лезли.

– Да, пожалуй...

Последнюю фразу Корнев проговорил уже во дворе, в том углу его, где стоял стол, застланный чистой скатертью. Он снял фуражку и, положив ее на стол, сам сел в кресло.

– Сам идет? – спросила озабоченно Анна Степановна, показавшаяся в дверях.

– Идет, – рассеянно ответил сын. – Зайдет, вероятно, к приятелю своему Жану. – Корнев раздраженно кончил: – Да что вы, маменька, пугаете сами себя; точно в самом деле зверь какой идет. Человек никогда вам резкого слова не сказал, а вы его боитесь, точно вот он схватит сейчас палку и пойдет бить посуду.

– Ох, боюсь, – ответила Анна Степановна и, комично сморщившись, посмотрела на сына и племянника и весело рассмеялась. – До смерти боюсь... Так затрепыхается, заколотится в середке, ноги подкосятся... Ей-богу.

Калитка скрипнула, и вошел Карташев.

– О-о! Мой! – просияла Анна Степановна, и, когда Карташев подошел, она обняла его и, подмигивая, проговорила: – Ось як.

Карташев присел к столу и был рад, когда на него перестали обращать внимание. Облокотившись на локоть, он под разговор Корнева с братом задумался, и его сердце тревожно билось, что Корнева теперь с Рыльским и, вероятно, не скоро заглянет сюда: лучше было бы пойти прямо на бульвар. Может быть, она обрадовалась бы его приходу. Карташев вздохнул.

– Ох, тяжело жить! – ласково заметила Анна Степановна, кладя руку на мягкие волнистые волосы Карташева.

Корнев уже несколько раз поглядывал на приятеля. За последнее время он начинал чувствовать какую-то особенную симпатию к Карташеву.

– Ты что это в самом деле? – спросил он.

– Устал, – ответил смущенно Карташев и, отгоняя от себя свои мысли, спросил: – Ну что? решил ехать с нами?

– Куда это? – поинтересовался двоюродный брат Корнева.

– К ним... в деревню, – ответил Корнев.

– Ты что ж, едешь?

Корнев озабоченно посмотрел на мать. Анна Степановна только вздохнула.

– Не решил еще.

– Отчего ж тебе не ехать? – спросил его брат. – Деревня...

Но Карташев перебил его:

– В деревне так интересно.

Студент ждал, что он еще скажет.

– Наши хохлы такие симпатичные, оригинальные... Когда узнаешь их – их нельзя не полюбить. А степи наши... Сначала они никакого впечатления не производят, но постепенно так привыкаешь к ним, как к человеку. Знаешь, этот простор, одиночество степи... и ты один...

«Один!» – охватило Карташева с щемящей болью и сильнее потянуло в степь.

Он вздохнул всей грудью.

– А осенью в степи!.. Небо синее, синее... воздух прозрачный, неподвижный... видно на десятки верст: только скирды да где-нибудь стадо овец, да орел на скирде... спокойно... тихо... так и кажется, что степь спит... дышит...

– Не храпит? – добродушно улыбнулся Корнев и посмотрел на брата. Карташев сконфуженно провел рукой по лицу и тоже улыбнулся.

– Смейся, а если бы поехал...

– В деревне есть что посмотреть, – сосредоточенно, избегая Карташева, заговорил студент. – Как разворачивают «Отечественные записки» эту деревню... Успенский, Златовратский – какая прелесть!

– Немножко скучно только, – вставил Корнев. – У Успенского и Златовратского хоть талантливо, а у других уж так серо...

– Ну можно ли так говорить? – вспыхнул студент. – Тебе серо читать, а им жить в этом сером надо. Что ж, оно само посветлеет, если мы от него отворачиваться станем? Разве удовольствия искать в таком чтении? Материал здесь важен, и всякий хорош, лишь бы верный был. В этом отношении «Отечественные записки» и ставят вопрос в том смысле, в каком я выше говорил, – никакой формы не надо, суть давай, – потому что речь здесь идет о решении самой насущной в жизни государства задачи. Здесь нечего разводить эстетику: нужно знание... Для человека с хорошими мозгами в деревне первая пища.

– Да нет... что ж? я, собственно, поехал бы, – согласился Корнев и покосился на вошедшую мать.

Анна Степановна покачала головой.

– Да уж поезжай, – вздохнула она и, обратившись к Карташеву, спросила: – Где-то моя коза? Вы не бачили часом?

Сердце Карташева екнуло, и он ответил, стараясь придать своему голосу свободный тон:

– Она на бульвар ушла.

– Вертит тому Рыльскому голову, – покачала головой Анна Степановна. – И в кого она уродилась.

– Не в вас? – спросил племянник.

– Не знаю, я и молодой не була...

Анна Степановна скользнула взглядом по сыну и закончила:

– Так сразу на своего наскочила.

– А за ним уж и весь свет пропал?

Анна Степановна только подняла подбородок и добродушно махнула рукой.

Корнева с Рыльским возвращались с бульвара, пропустив далеко вперед Семенова с хозяйской дочкой. Долба еще на бульваре отстал, встретив какого-то знакомого.

– Слушайте, Рыльский, как вам нравится Аглаида Васильевна? – спрашивала своего спутника Корнева.

– Умная баба, ловко за нос водит своего сына.

– Знаете, я не понимаю Карташева: в нем какая-то смесь взрослого и мальчика.

– Я думаю, в этом и выражается ее влияние: она давит его и умом, и сильным характером.

Корнева весело рассмеялась и проговорила:

– Посмотрите на Семенова, как он тает.

Смеялась ли Корнева, сердилась – все у нее выходило неожиданно, всегда искренне и непринужденно.

Рыльский взглянул на Семенова и усмехнулся.

– Семенов! – позвала Корнева.

Семенов оглянулся, сразу собрался и деловито зашагал к отставшим.

– Вам нравится ваша дама? – тихо спросила Корнева, когда он подошел к ней.

– Вот дурища! – весело, по секрету сообщил Семенов. Все трое фыркнули. – Я...

– Идите, идите...

Семенов зашагал назад к своей даме.

Корнева и Рыльский опять пошли вдвоем.

– Слушайте, отчего мне так весело? А вам весело?

Рыльский ответил сначала глазами и потом прибавил:

– Весело.

Корнева пытливо заглянула в его глаза и произнесла с набежавшим вдруг огорчением:

– Мне все кажется, что вы шутите, а на самом деле думаете совсем другое.

– Я говорю, что думаю.

Корнева наблюдала Рыльского. Рыльский делал вид, что не замечает, и серьезно провожал глазами встречавшихся гуляющих.

– Отчего, когда я хочу на вас сердиться, – я не могу. Пожалуйста, не думайте: я ужасно чувствую вашу самонадеянность и презрение ко всем. Иногда так рассержусь, вот взяла бы вас и побила.

Она рассмеялась.

– А посмотрю на вас... и все пропадет... Ведь это не хорошо... правда?

– Что не хорошо? – спросил Рыльский.

Они вошли под тень акаций.

На них пахнуло сильным ароматом цветов.

– Ах, как хорошо пахнет, – сказала Корнева.

Рыльский подпрыгнул и сорвал белую кисть цветка.

– Дайте...

Она оглянулась и, пропустив свидетелей, прикрепила цветок у себя на груди. Она прикрепляла и смотрела на цветок, а Рыльский смотрел на нее, пока их взгляды не встретились, и в ее душе загорелось вдруг что-то. Она закрыла и открыла глаза. Ее сердце сжалось так, будто он, этот красавец с золотистыми волосами и серыми глазами, сжал ее в своих объятиях.

Она пошла дальше, потеряв ощущение всего; что-то веселое, легкое точно уносило ее на своих крыльях.

– Ах, я хотела бы... – вздохнула она всей грудью и замерла.

Нет, нельзя передать ему, что хотела бы она унести с ним вместе далеко, далеко... в волшебную сторону вечной молодости... Хотела бы вечно смотреть в его глаза, вечно гладить и целовать золотистые волосы.

– Нет, ничего я не хочу... Я хотела бы только, чтобы вечно продолжалась эта прогулка...

Но они уже стояли у зеленой калитки их дома. Сквозь ажурную решетку увидела она брата, спину уныло облокотившегося о стол Карташева и, оглянувшись назад, произнесла упавшим голосом:

– Уже?

Эхо повторило ее вздох в веселом дне, в залитой солнцем улице и понесло назад в ароматную тень белых акаций, в безмятежное синее море, в искристый воздух яркого летнего дня.

После обеда компания отправилась кататься на лодках. Поехал и Моисеенко, соблазненный заездом на дачу Горенко, с которой он был знаком и которой интересовался. По поводу приглашения дочери хозяина Корнев было запротестовал, но Семенов энергично обратился к нему:

– Ты молчи... понимаешь?

Так как Семенова поддержала и Корнева, то Корнев только рукой махнул.

Вервицкий тоже ехал и, сбегав домой, захватил на всякий случай с собой гитару и удочки. А Берендя принес скрипку.

В гавани Вервицкий, вынув из кармана карандаш и книжку, как признанный уже писатель, приготовился записывать свои путевые впечатления.

Это очень занимало и веселило компанию, пока приготавливали лодки.

– Ты что же будешь записывать? – спросил Долба.

– Так, что придется.

– А уж написал что-нибудь?

– Чистая...

Наняли две лодки, так как одной, достаточно поместительной, не оказалось. Вопрос – кто где сядет – решил сам собой. Карташев, избегая Корневой, как только она вступила в лодку, прыгнул в другую, за ним прыгнула Наташа, за ней Корнев, а за Корневым Моисеенко.

– Ну-с, держитесь, только и видели нас! – крикнул весело Долба с своей лодки.

Карташев сделал презрительную гримасу. Как опытный моряк, он сразу увидел, что их лодка ходче и парус больше. Но, чтоб найти себе в чем-нибудь утешение, он взял рифы, вследствие чего лодка Долбы обогнала его. Карташев сам сидел на руле.

– Не подвести ли? – раскланялись из первой лодки.

Карташев молча злорадно посмотрел, волнуясь от нетерпения. Пропустив первую лодку, выехав уже в море, он с отданными рифами, с подтянутыми кливер и фокшкотами направил лодку в сторону от ехавших впереди. Лодка понеслась стрелой, сильно накренившись на левый бок, только не черпая воду, ныряя и описывая громадный полукруг.

– Куда это они? – спросила Корнева, сидевшая рядом с Рыльским.

Лодка Карташева на мгновение качнулась, круто стала против ветра, болтнулись паруса, и уже правым галсом понеслась наперерез второй лодке.

– А красиво, – заметил Вервицкий.

– Записывай скорей, – крикнул Рыльский.

Лодка неслась и была совсем близко. Шум воды, точно кипевшей у ее носа, угрожающе усиливался.

– Что ж это они, прямо на нас? – взволновался Вервицкий.

Он схватился за борт и принялся делать отчаянные взмахи рукой, долженствовавшие указать Карташеву истинный путь.

– Да, ей-богу, он опроки...

Лодка Карташева пронеслась у самого носа их лодки: то, что называется у моряков, нос обреза.

– Ну, разошелся Карташев, – сердился Рыльский, – он теперь не успокоится, пока или нас, или их не перетопит.

– Ей богу, шалый какой-то, – сказал Долба, – не может, как люди.

– Ну его к черту, поедет, господа, назад, – предложил Семенов.

Карташев уже успел повернуть свою лодку и опять резал воду, направляясь на противников.

– Послушай, мы не потопим друг друга? – спросил Корнев.

– Ну!.. я ведь собаку съел...

– Ну, съел так съел, – согласился Корнев и, оставив всякую заботу, продолжал разговор с Наташей и братом.

Разговор вертелся на Горенко. Говорила больше Наташа, а кавалеры слушали: Моисеенко – потому, что речь шла о Горенко, Корнев – потому, что говорила Наташа.

Карташев, почти налетев опять на лодку, круто повернул было, чтобы плыть рядом, но не рассчитал расстояния, и кончилось тем, что чужим парусом чуть было не выбросило Семенова в воду.

Семенов, взбешенный, еще бледный от избегнутой опасности, властно закричал Карташеву:

– Сумасшедший ты... Отнимите от него руль!

И Семенов, красный, решительный, своими маленькими горящими, как угли, глазами впился в Карташева. На мгновение все поддались его команде. Только Наташа, сконфуженная, улыбалась и ласково смотрела на брата.

– Ну, ты, отец командир, сокращайся, – пренебрежительно крикнул Корнев Семенову, – не утопили... Чего петушишься?

– Садись, садись, – дернул Семенова Долба.

– Да это черт знает что такое, – волновался Семенов, усаживаясь, – сумасшедшее нахальство какое-то... Надоело жить – топи себя...

Намек Семенова вызвал улыбку у всех. Семенов успокоился.

Только Берендя ничего не понял и, довольный, что все благополучно кончилось, пробормотал:

– Че... черт побери... если б опрокинули, я... я утонул бы.

Он так глубокомысленно и серьезно вник в миновавшую опасность, лучистые глаза его так раскрылись и усталились, что все покатались со смеху.

– Ти... ти... ти... отчего ж бы утонул? – спросил Вервицкий.

– Ду... дурак, – обиделся Берендя, – я плавать не умею.

И лодка опять задрожала от смеха.

Неудача Карташева кончилась тем, что он должен был уступить руль лодочнику-греку, который, воспользовавшись удобным моментом и чувствуя за собой большинство, решительно отнял у него руль.

Окончательно развенчанный, Карташев с горя полез на нос и, устроившись там за кливером так, чтобы его никто не видел, придумывал план мести всем: коварной изменнице и отныне своему заклятому врагу, Рыльскому, и Семенову, и даже лодочнику. Относительно Мани у него уж не было теперь никаких сомнений: теперь они сидели рядом, и это убеждало его, что он в отставке.

Было из-за чего залезть за парус, страдать, сознавая глупость страдания, и поздно жалеть, что поехал.

На лодке, где сидела Корнева, послышалось пение. Пел Долба. Его приятный, сильный и характерный голос хохла мелодично несся по воде.

Все притихли и отдались очарованию пения и тихого, безмятежного вечера. Было часов восемь. Ветер совсем стихал. Солнце садилось и золотило своими лучами синюю даль моря. Море точно вздыхало от избытка безмятежного покоя. И воздух, и море, и небо там, на далеком западе, точно засыпали, утомленные, сладким сном. Запал как загорелся, так и горел, залитый огненной массой. Только ближе к горизонту, точно зажатый, сквозил клочок прозрачного золотисто-зеленого неба; точно вход туда, за пределы земли.

Корнев засмотрелся в эту точку. Неожиданной волной вдруг хлынуло на него далекое прошлое. Точно какие-то таинственные двери этого далекого, милого детства вдруг отворились в этом клочке золотисто-зеленого неба и мягко звали в свою вечную даль. Прильнув к стеклу окна своей детской, он, опять мальчик, смотрит на это заходящее солнце, смотрит на сад, на целый лес других садов. Далеко за ними ярко горят в заходящих лучах окна какой-то башни. Что это за башня? Кто в ней живет? Давно зашло солнце, потухли окна волшебной башни, едва догорает розовая полоска на далеком западе, а он все не может оторваться от чарующего вида. Уже сонного укладывает его няня в кровать, но и в кровати долго еще мучит он свою старую няню трудными для нее вопросами, куда делась башня, и куда солнце ушло, и что за полоска там далеко, далеко так тоскливо светится в надвигающейся темной, пока еще прозрачной в вечернем сумраке, ночи.

И старушка няня, как умеет, отвечает на трудные для нее вопросы: солнце спать ушло, полоска оттого, что солнышко дверь забыло затворить, принцессу заколдовал злой волшебник и посадил в башню. Он вырастет, убьет волшебника и уедет с принцессой в ту страну, куда ушло солнышко, где так хорошо, что и сказать нельзя. Теперь и не помнит он, и что это за башня, и где это все было, и няни уже нет. А стоит, как живая, будто стоит там за дверьми его вечной детской, тихо возится и ждет, когда он приведет к ней заколдованную принцессу.

Корнев вдруг очнулся, недовольно сдвинул брови и покосился на своего двоюродного брата.

Ветер совсем стих. Паруса сердито хлопнули и опустились. Лодочники перебросились между собою несколькими греческими фразами и стали убирать паруса. Карташеву хотелось принять участие в уборке, но он был сердит на лодочника. Он равнодушным недружелюбным взглядом наблюдал, как тот возился, и не двинул пальцем. Когда лодочник, забравшись на нос, задевал его, он брезгливо, так, что лодочник замечал, сторонился от его загорелых, засученных рук, от его черной бороды, обветренных глаз и красной фески.

Долба продолжал петь.

Когда он кончил, Берендя заметил:

– За... замечательно мелодичны малороссийские песни.

– Типично... именно с оттенками хохла, – поддержал Рыльский.

– Что? – спросил его с подъехавшей в это время лодки Корнев.

Лодки поехали рядом.

– Я говорю, типично поет он.

– Да, – согласился Корнев.

– И голос у вас выразительный какой, – сказала Наташа. – Спойте еще.

– Еще? Что ж еще? Я принимаю похвалу только оттенку. Наши песни только тот споет так... чтоб передать душу хохлацкую... а наша душа в степи, в тоске по степи, когда ее нет... в удали казацкой... в любви, – есть дивчина, любит ее, сколько пустит, – нет – потопит свое горе и душу без думки, с размаху, так – только чтоб дух захватило в славном деле... Спеть так может только тот, кто рос в степи, кто кормился в ней подпаском, плакал, когда били его, радовался, когда дивчина-сердце по той степи шла да светилась на весь божий мир. О! такой запоет про степь: запоет, як про мамку свою рыдну, затоскует и заплачет, как про дивчину, от которой оторвали люди, а сердце не забыло...

Ой, мамо, мамо,
Сердце не бажає,
Кого раз полюбит –
С тем и помирає.

Он оборвался и раздраженно проговорил:

– Это не та хохлуша поет, что полурусский костюм надела, да и думает, что она хохлуша. Это не в три яруса перевязанная кацапка поет, которой хоть в очи наплюй... кисель какой-то... тесто: облепит своего мужа так, что и застрял и скис... Это поет дивчина, без которой и Сечи и воли не было бы у казака... та, которая не боится искать, а уж «найдет», так сумеет взять то, что ей бог, а не люди дали, спрашивать не станет... даст свое счастье, кому захочет.

– Ну, однако, жена Тараса Бульбы не похожа на ту, которая тебе снится, – заметил Корнев.

– Мне или Гоголю снится? Была бы Сечь, если б бабы не гоняли их туда? Вся история наша не с бою? А кацапы всё киселем: закислоли татар, закислоли французов... Та-а-рас! Посмотрел бы я на твоего Тараса, если б ему русская трехъярусная попалась.

– Слушайте, Долба, я хохлуша? – спросила Корнева.

Долба поднял голову и, облокотившись локтями о колени, ловя губой свои подстриженные усы, смотрел ей в глаза и загадочно щурился.

Корнева не выдержала. В глазах ее мелькнуло что-то.

– Ведьма! – быстро наклонился к ней Долба и залился веселым смехом.

– Благодарю, – обиделась Корнева.

– Нет, так сразу нельзя ответить... Вы знаете, у нас, у хохлов, как паробки дивчат узнают: кохаются.

– Что значит кохаются?

– Кохаются?... Воля полная... у нас девушка до свадьбы совершенно вольная, и критики на нее нет: хочет – с одним жартуется, с другим, – пока не подберутся друг к другу.

– Что ж, это разврат... – заметил Семенов.

– Нет, разврата нет: воля. Разврат, где воли нет, а здесь воля полная... И дело до разврата не доходит.

– Ну... – кивнул головой Семенов.

– Под устав не подходит, – в тон ему сказал Рыльский.

– Под устав нравственности не подходит, – ответил с ударением Семенов и уставился в глаза Рыльскому.

Рыльский понял, на что хотел намекнуть Семенов, и спросил, слегка прищуриваясь:

– Чувствуешь себя хорошо?

– Очень хорошо.

– Ну, и проповедуй своей невесте...

– Я надеюсь, что моя невеста сама это будет знать, – ответил многозначительно Семенов.

Наступило общее неловкое молчание.

– Описать тебе твою невесту? – предложил Долба Семенову.

– Опиши, – вызывающе протянул Семенов.

– Красивая, – начал Долба, отсчитывая по пальцам, – конечно, с хорошими манерами, – словом, то, что называется воспитанная.

– Надеюсь.

– Будете играть: ты на скрипке, она на рояле.

– Обязательно.

– Ну, что ж еще? По утрам станете играть, под вечер гулять ходить будете... Ты будешь за-
тягиваться с двойным наслаждением против теперешнего и будешь ей всё объяснять: «Вот это,
моя милая, хороший человек, а это дурной, а по сторонам, когда я говорю, не смотри, а то я оби-
жусь. А если я обижусь, я не скрипку, а тебя пилить стану. А если ты не образумишься, я тебя по-
пру своим презрением и понятием о чувстве собственного достоинства вообще и о том, что такое
порядочная, воспитанная женщина в особенности...»

– Ну, потрудитесь теперь свою невесту описать.

– Моя? моя будет или из деревни, или одного со мной ума и развития, которую бы учить не
пришлось, потому что все равно не научишь, а сам засосеешься в ее киселе. Ну, вольная будет, ум-
ная...

– Все умных возьмут, а дуры куда же денутся? – спросил Вервицкий.

Долба весело посмотрел на него.

– Выбирать-то мы с тобой будем...

– Ну что же? кому жнибудь все-таки достанется глупая, – сказал Вервицкий.

Долба оглянул всех и ответил, почесывая затылок:

– Не сообразил. Ты что не пишешь?

– Не пишется, – пожал плечами Вервицкий.

Все рассмеялись, и даже Карташев не удержался, фыркнул за парусом.

На горе из-за сада показалась дача Горенки. Лодки пристали к мягкому песчанистому берегу.

Пока соображали, как подтянуться к сухому месту, Долба, проговорив: «Эх вы!» – прыгнул и
по колени в воде потащил за канат лодку.

– Постой, и я, – предложил было Берендя. Но, пока он собирался, носы лодок уже лежали на
сухом берегу.

Один за другим попрыгали все, за исключением Карташева.

– Обиделся, – тихо махнул рукой Рыльский.

Еще подождали, и, наконец, Долба спросил Карташева:

– Ты что ж?

– Я не пойду, – ответил Карташев.

– Пойдем, Тёма, – попросила было сестра.

– Не пойду, – отрезал Карташев и отвернулся.

Переглянулись все и стали медленно подниматься в гору.

– Что с ним сегодня? – спросила Корнева.

Рыльский молча пожал плечами.

– Ну, что ж? не хочет, и бог с ним, – сказал Семенов.

Карташев лежал в лодке так плотно, точно прирос, злорадно провожая глазами исчезающую
между деревьями компанию.

Горенко сидела на ступеньках террасы и, увидев многочисленное общество, пошла к ним
навстречу.

– Наташа! – радостно бросилась она.

Она быстро поцеловала Наташу, посмотрела на дорожку, откуда пришли все, и спросила:

– А брат твой?

– Капризничает... в лодке лежит, – ответила Корнева.

– Просто не в духе, – сказала Наташа, – с утра он еще... там дома у него вышла одна история неприятная.

По лицу Горенки пробежала тень.

– Что ж, он боится, что при виде меня ему еще неприятнее станет?

Анна Петровна обиженно улыбнулась, пожала плечами и повернулась к остальным:

– Милости просим на террасу.

Моисеенко как поздоровался, так и стоял, продолжая смотреть на нее.

– Вы как попали? – спросила его Горенко.

– Только под одним условием и поехал, чтобы к вам на дачу, – выдала его Корнева.

Горенко покраснела и, по привычке кусая губы, пошла за другими рядом с Моисеенко.

– Как брат?

– Ничего... сегодня лучше.

Манера говорить Анны Петровны была оригинальная и своеобразная: она отвечала не сразу, как будто ее отделяла от говорившего какая-то изолирующая среда, звук чрез которую проходил не сразу, а нужно было время. Иногда казалось, что она не слышала, но проходило время, и она отвечала так, как будто отвечала себе, но могли слушать и другие. Эта манера на Моисеенко действовала в смысле усиления того особенного и впечатления, и уважения, и обаяния, какое он чувствовал к ней.

Брат Горенко, Сергей Петрович, стройный, худой, с темным лицом, тусклыми черными не большими глазами, с черной, окаймлявшей лицо бородкой, смотрел подавленно, вопросительно протягивал свою худую руку и старался приветливо улыбаться.

– Любуетесь? – спросил его Долба и показал на море.

Часть берега скрывалась за садом, но дальше был открытый вид, и ничто не мешало взгляду сразу охватить и потонуть в безбрежной, точно позолоченной, морской глади. Только в левом углу террасы сквозь деревья просвечивал обрывистый берег с торчавшими из воды острыми камнями, поросшими длинной морской травой. Каждый раз, как волна плескала о камни, трава эта как веером расплывалась по ней. В то время, когда везде царила мертвая тишина, были неподвижны и воздух, и море, и сад, в том уголке все продолжало бурлить, все несло какой-то шум и постоянно привлекало к себе тревожные взгляды больного. Но опять он обращался к далекому горизонту, где все в ярком огне лучей точно застыло в неподвижном покое, и опять стихал и удовлетворенно, без мысли, смотрел в пространство.

– Мы не стесняем? – спросил Анну Петровну тихо студент.

– Нет, нет... Сейчас чай будем пить.

Наташа была не в духе.

Корнев грыз ногти и старался дать себе отчет, что он чувствует к Наташе: ему нравились ее глаза, ее волосы, фигура, но не было цельного впечатления: захватывающего интереса. И он еще пытливее заглядывал в ее черные глаза и еще озабоченнее грыз ногти.

«А может быть, просто я ей не интересен? Это само собой разумеется, – спешил он себе ответить, – но и с остальными она такая же».

Только при брате она оживлялась, и тогда Корнев чувствовал ее сильнее. Зато в отсутствие его она вся была пред ним налицо, и это доставляло ему и тайное удовольствие, и огорчение. Сидит, бывало, за уроком и вспомнит вдруг ее: на мгновение потонет в воспоминаниях, спохватится и гонит их от себя, и после этого еще противнее ему «таянье», как он называл ухаживанье Семенова. В такие минуты нежных воспоминаний ему казалось, что и он не лучше Семенова – такой же, уныние наводящий своим ухаживающим видом, донжуан.

– Вы как будто не в духе? – спросил Моисеенко Анну Петровну.

Она окинула взглядом гостей, покусала губы и ответила сама себе:

– Семь человек, бабушка восьмая... – И, повернувшись к Моисеенке, сказав: – Да, мне немножко не по себе, – ушла с террасы.

Начали накрывать на стол, пришла бабушка, старая, сгорбленная, маленькая и почти глухая. Это была единственная родственница Горенки.

В ожидании чая компания сидела, вяло перебрасываясь фразами.

– Слушайте, странная эта Горенко какая-то, вы не находите? – наклонилась Корнева к уху Долбы.

Долба кивнул головой.

– Зачем мы приехали?

Долба ответил молчаливым пожатием плеч.

– Наташа, что ж твой брат? Так и будет там сидеть? Я пошлю за ним Машу... – вошла Горенко.

– Не придет, – вздохнула Наташа.

– Я пошлю все-таки.

Молодая горничная нашла Карташева все там же в лодке. Он с изысканной вежливостью, но бесповоротно заявил ей, что чувствует себя не совсем хорошо и потому прийти не может.

– Барышня будет очень жалеть, если вы не придете.

– Мне самому очень жаль...

Карташев не лгал: вечер так тихо догорал, так золотилось море, с таким сожалением выглядывало в последний раз, исчезая, солнце, что сердце Карташева невольно тоскливо сжималось от мысли, что он обречен в такой вечер на такую неприятную роль.

И горничной его было жаль. Она все стояла и наконец проговорила, ласково смотря на него:

– Может, пойдете?

– Нет, благодарю вас, право же, не могу...

Горничная ушла, но почему-то ее брало все раздумье, так ли уж он болен, что и до террасы не дойдет.

На повороте она еще раз оглянулась, постояла и, приподняв одной рукой платье, тихо стала подниматься в гору.

Карташева приятно тронуло внимание горничной. Он с удовольствием переживал ощущение взгляда ее ласковых глаз.

Прибежала Наташа, узнав, что он болен.

– Тёма, ты болен? Что с тобой?

Надо было хорошо врать.

– Просто меня укачало и теперь тошнит.

– Тебя никогда не укачивало!

– Я и сам не знаю... я думаю, оттого, что я лежал...

Карташев с наслаждением видел, что Наташа начинает верить, и думал с удовольствием в то же время, что его хоть вверх ногами поставь, и то не укачает.

– Может, домой поедем?

– Напротив, я и болен оттого, что закачал: я рад так полежать...

Наташа поверила и ушла, успокоенная.

Солнце село, быстро надвигались сумерки, поднималась свежесть с моря и с сада, распустилось масличное дерево и разлило свой чудный и сильный аромат. На горизонте медленно выплыла луна: большая, нежная, точно какой-то прозрачный шар. Первые лучи ее скользнули в полумраке, и, как в зеркале, отразились и потемневшее море, и загоравшиеся в небе звезды, и смолкнувший берег. В деревьях мелькнул огонек, и заблестели окна дачи. Блеск от них проникал до берега и слабо отражался в воде.

Все жалели Карташева и удивлялись, как это укачало его. Подали чай. Понемногу все освоились с обстановкой и уж не чувствовали себя так неудобно. Долба смешил всех своими мокрыми ногами и наконец ушел на кухню сушить их. Вервицкий, напившись чаю, что-то записал в книжку и пошел, как ни удерживали его, ловить рыбу.

– Это мое правило: что назначил – выполнить; не надо было назначать...

И он так пожал плечами, так убежденно посмотрел на всех, что ясно было, что он, во всяком случае, пойдет ловить рыбу.

Корнева хотела было хитростью удержать его.

– Вы играть хотели на гитаре?

Он только с сожалением развел перед ней руками: та, которой принадлежит его гитара, не здесь, и гитара не изменит ее памяти. Это была, и это знали все – Зина Карташева.

– Ну, и идите, нам Берендя сыграет.

– По крайней мере, сыграет! – подзадорил Рыльский ему вслед.

– На здоровье, – равнодушно ответил из сада голос Вервицкого.

Полились звуки мягкой, нежной игры Беренди.

На сердце у Карташева становится спокойнее, тише: аромат берега, огни в саду, глухой шум моря, блеск луны, музыка – вытесняли оттуда всю будничную прозу действительности, внося взамен жгучее очарование волшебного вечера.

Если б не было стыдно, он даже пошел бы наверх; но он не пошел и слышал, как после скрипки зашумели стулья и по ступенькам раздались шаги... Он пожалел, что так скоро кончилось все и поедут назад. Но назад не поехали, вышли на берег и пошли налево. Две фигуры повернули к нему, еще две пошли было и отстали.

– Здравствуйте, Артемий Николаевич, – сказала ему Горенко грустным, ласковым голосом.

– Здравствуйте, – ответил с удовольствием Карташев из своей засады.

– И поздороваться не хотите?

– Тёма, Нина ни к кому другому не пришла бы первая.

– Что ты говоришь, Наташа?

Наташа сконфузилась, и все, что нашлась сделать, – это крепко поцеловала подругу.

Горенко рассмеялась и проговорила:

– Ну, хорошо, я пришла... хотя я очень, очень обиделась, что вы не захотели даже...

Но Карташев уже карабкался из своей засады и за шумом и треском своих прыжков не слышал конца.

– Тёма, может быть, тебе лучше немножко... пойдём с нами, – попросила Наташа.

– Если вам будет нехорошо, мы вас под руки поведем.

– Я попробую, – произнес смущенно Карташев, придавая голосу искренний тон.

– Ведут! – закричал Долба, когда подходил Карташев, и все весело бросились к нему.

Карташев шел и улыбался.

– Слушайте, Карташев, скажите правду: на кого вы сердитесь? – спросила Корнева.

– Я ни на кого не сержусь...

– На меня?

– А уж на вас, во всяком случае, нет.

– Врешь, сердишься, – настаивал Долба, – на кого-нибудь сердишься. Говори: мы сейчас того бить будем.

– Я и сам могу.

– Ну так бей, – сказал Семенов, подставляя спину.

– Чего мне бить тебя?

– Мир, значит? ну, давай руку... послушай, мы идем гулять.

– Я с Карташевым пойду, – заявила Корнева. – Не мешайте нам... у меня с ним дело...

Корнева увлекала Карташева вперед.

– Слушайте, Карташев, ничего по мне не заметно?

Карташев на законном основании поднял на нее глаза, увидя опять ту, которая так мучила его, и произнес, подавляя волнение:

– Ничего.

– Ничего? – спросила она, и на него посыпались знакомые искры. – Ничего?! Сказать вам?!

Карташев опять поднял глаза, опять увидел ее совсем, совсем близко, почувствовал одуряющий аромат масличного дерева, и в сердце его начало тревожно закрадываться предположение, сладкое, страшное, мучительное.

– Сказать?! – тревожно, замирая, повторяла Корнева, не спуская с него глаз.

– Говорите... – прошептал он.

– Я невеста Рыльского...

Так отчетливо отпечатались дорожка и кусты вдоль нее, а ниже деревья, и луч луны, и су-

хой аромат сада, и ее белая рука... Ему вдруг показалось, что это мертвая рука, и стало жутко.

– Что ж вы молчите?

– Я поздравляю вас... Я очень рад и за Рыльского.

– Слушайте, как, по-вашему, Рыльский хороший человек?

– Очень хороший... Я очень люблю и уважаю Рыльского.

– Слушайте... он мне позволил сказать вам...

– Я ему очень благодарен...

– Только – это се-е-крет.

Карташев вздохнул всей грудью.

– Я никогда его никому не скажу...

Корнева улыбнулась.

– По крайней мере, до свадьбы... Слушайте... Я вас очень люблю... Больше всех товарищей ваших... Скажите мне: я не опрометчиво поступила?

– Немножко рано, но и то... нет, ничего: Рыльский очень серьезный человек.

Сзади подошел Рыльский и сконфуженно спросил:

– Я вам не помешаю?... о чем?

– Я говорю, что рад за Марью Павловну и тебя... со всяким другим это было бы рано, но ты, если уж говорить откровенно, и серьезнее и умнее нас всех.

Карташев горячо сжал руку взволнованного Рыльского и быстро пошел назад.

– Карташев, – ласково, мягко позвал Рыльский, – никому, пожалуйста.

– Будь спокоен.

Они еще раз пожали друг другу руки, и Карташев возвратился к отставшим. Но вдруг он бросился в сторону и стал в кусты.

Мимо прошел Семенов с своей дамой, Наташа и Рыльский с Берендей, Горенко со студентом и Долбой.

Когда все ушли, он облегченно вздохнул и тихо вернулся назад. У него не было уже ни гнева, ни раздражения: ему просто хотелось быть одному.

Высоко взошла луна на небе, когда наконец стали собираться домой.

Из тени вынырнула встревоженная фигура долговязого Беренди и снова исчезла в кустах.

– Что за черт – сбился я? О!

Перед ним стоял Карташев.

– С...слушай, где я? – спросил Берендя. – Я потерял их.

– Идем к лодке...

Они вышли на дорожку.

Корнев и Наташа отстали, сбились и напрасно искали остальных по залитому луной саду. Какая-то особая тревога охватывала их в этом неподвижном, светлом, точно мертвом или очарованном саду.

– Тьфу! черт! – обрадовался Корнев, наткнувшись на Карташева и Берендю. – Где ж остальные?

– Мы сами их ищем.

– Кричать надо. – И Корнев, приложив руки ко рту, закричал.

Все притихли и ждали. Прошло несколько секунд, пока пришел назад далекий ответ.

– Вон куда их занесло, – заметил Корнев.

– Е-хоть по-ра-а!

– Иде-ем!

– Это Долба орет.

Один за другим сбегали к берегу со своими проворными тенями маленькие фигурки и останавливались в немом очаровании. Серебром заливались море и берег. Светлая полоса резала воду, сливалась на горизонте, дрожала и мигала в ярком блеске луны. Млел воздух, пропитанный наркотическим запахом жасмина и масличного дерева. Охваченное негой и страстью, море напрасно сдерживало свое тяжелое дыхание. Волна за волною ночного прибоя подкатывалась к отлогому мокрому берегу и с бессильным вздохом падала в объятия жгучей волшебной ночи.

Корнев первый пришел в себя.

– Ну, едем... Я чувствую, что или я поглупел, или все остальные поумнели.

– Все поглупели... че... черт возьми! – весело воскликнул Берендя.

И, обратившись к подходившему Вервицкому, он еще веселее закричал:

– Те...теперь пиши нас: мы все поглупели.

XI ДОРОГА

Через неделю после дня рождения Корнева Карташевы отправились в деревню. С ними ехал и Корнев.

Поезд отходил в шесть часов вечера.

Аккуратная Аглаида Васильевна забралась на вокзал за час до отхода. Корнев, Наташа и Карташев пошли гулять на площадь, а Аглаида Васильевна с остальной семьей сидела на платформе в тени искусственной ограды из цветов.

В пустую залу первого класса вошел господин лет тридцати пяти, самоуверенный, с неприятной, заносчивой манерой и, заглянув в противоположное зеркало, устало, раздраженно опустил-ся в кресло. Отразились вызывающие, с морщинками уже, черные глаза, маленькая из серого шелка шапочка, черная, слегка полысевшая на самом подбородке, на две стороны расчесанная борода, подержанная фигура, в легком, хорошего покроя платье, в светлых с застешками ботинках. Несмотря на изящный костюм, претензию и фатоватость даже, солнце и ветер степей положили на лицо господина свою властную печать. Особенно пострадал нос: покраснел и лупился. Это подчеркивало мелкие следы того уже надвигавшегося возраста, который у некоторых можно сравнить с неприятным пробуждением после веселого вечера, где всего было довольно: и вина, и женщин, и проигранных денег.

Увидав вошедшую Аглаиду Васильевну, господин с установленной любезностью тех светских отношений, когда нельзя избежать встречи и отсутствие общих интересов делает эту встречу скучной и неинтересной, подошел к Аглаиде Васильевне.

Аглаида Васильевна сдержанно, почти сухо поздоровалась с ним и огорченно подумала, что придется ехать вместо третьего класса во втором.

Возвратившиеся Корнев, Наташа и Карташев нашли Аглаиду Васильевну и Зину в обществе этого господина.

– Это кто? – спросил Корнев, отходя с Карташевым.

– Неручев, – ответил Карташев, – наш сосед: страшный богач, но запутался так, что, вероятно, все с молотка пойдет.

– На здоровье, – проговорил равнодушно Корнев.

Узнав, что решено ехать во втором классе, Корнев сморщился и сказал Карташеву:

– А твоя мать пропитана все-таки всей этой ерундой в значительной степени.

Карташев не любил критиковать мать и, промолчав, пошел хлопотать насчет багажа.

Раздался третий звонок, и поезд тронулся. Он медленно извивался в предместьях и дачах города, и, только завидев открытую степь, он, точно увлекшись развернувшейся далью, весело помчался вперед, разбрасывая по воздуху клочья пара. Оторванные белые клочья медленно таяли в свежем небе. Садившееся солнце, скрывшееся было за садами, опять выглянуло и заиграло на стенках вагона.

Через окно от того, в которое смотрели Корнев и Карташев, выглядывала Наташа, жадно подставившая свое лицо встречному ветру.

Соскучившись смотреть, Корнев отвернулся от степи и покосился, нет ли места возле Наташи.

Наташа, точно угадав, вышла из отделения, где сидели Аглаида Васильевна и Зина, и прошла к свободному окну.

Корнев нерешительно потянулся за ней и сел возле на скамью.

– Вы тоже любите степь? – спросил он.

– Люблю, – весело ответила Наташа.

– А вы во многом похожи на брата.

– Я очень рада, – ответила Наташа, стоя боком к окну и смотря вперед.

Ветер играл ее небрежно расчесанными волосами, выбивал их и наконец так рассыпал, что Наташа распустила свои волосы совсем, чтоб собрать поплотнее.

В этой ажурной рамке волос, в косых лучах солнца еще рельефнее светились ее черные большие глаза и манили к себе Корнева своей, как ему казалось, бездонной глубиной.

Она с трудом справлялась с волосами и смотрела на Корнева так, как смотрят, когда без зеркала заматывают там, где-то сзади, косу: непринужденно и внимательно к своей работе. В рассеянности она даже наклонилась немного к Корневу и, казалось, озабоченно всматривалась в него. Корнев чувствовал ее близость, ее безмятежное спокойствие, и его охватывала беззаботная удовлетворенность молодого туриста в приятном обществе расположенных к нему людей.

Корнев в первый раз выезжал из города; в первый раз он был в обстановке, в которой не чувствовалась та проза гимназии, то неудовлетворенное чувство не то тревоги, не то ответственности за что-то, которое так хорошо знакомо всякому гимназисту. Не было риска встретить начальство врасплох, не было в голове завтрашних уроков и полученной единицы. В первый раз все это выпустило на волю свою жертву и осталось в исчезнувшем большом городе. Даже и удовольствие свободного чтения в деревне уступило теперь место потребности полного, беспредельного отдыха.

Кончив с волосами, Наташа опять повернулась к окну, став так, чтобы не мешать Корневу.

На Корнева из-за Наташи в ярких переливах заходящего солнца смотрела беспредельная дгорающая степь. Легкий ароматный воздух полей становился еще легче и сильнее охватывал нежным душистым запахом свежего сена. В неподвижном воздухе, в стихающем дне только шум поезда нарушал общий покой, задумчиво сливаясь в однообразный, далеко кругом разносившийся гул. Солнце точно втягивало в себя свои длинные, скользившие по степи лучи и собирало их вокруг себя в ярком без боли сиянии. Только ядро раскаленно сверкало, и рельефнее отсвечивал какой-то там, за горизонтом, океан света и безмятежной дали. Потянулись в ту даль и перламутровые с золотым отливом тучки, и степь, и сам поезд, казалось, мчался туда, чтобы вместе с размаху потонуть и исчезнуть в неведомой дали.

Наташа стояла, облокотившись, смотрела и отдавалась той приятной щемящей задумчивости, какая охватывает под вечер у открытого окна в быстро несущемся поезде, когда глаз так легко скользит по полям, когда так жаль чего-то и так тянет туда, где прихотливо вьется в золотистом море желтеющих хлебов дорожка, где высоко над ней черной точкой в огне заходящего солнца замер и бьется в истоме отшельник степей – дикий кобчик.

Карташев засмотрелся, и мысли улетали в открытое окно и неслись то к поспевавшему хлебу, то к скирдам, то к свежей пашне с седыми быками, лениво ползущими по борозде. И вдруг вспомнилась ему прошлогодняя история с Одаркой в деревне, и сердце его тоскливо-приятно екнуло. Как-то в полдень в саду, на берегу пруда, в самой чаще густо сплетенного вишняка, в ажурной тени его тонких ветвей, в неподвижном, млеющем ароматом темных вишен воздухе, лежал он с книгой в руках и читал. И все так ярко отпечатлелось в памяти: он вдруг поднял голову и увидел шедшую вброд по пруду стройную красавицу, гибкую, как змейка, казавшуюся ему всегда каким-то видением неба, – молодую Одарку. Так и замерли в нем навеки: сверкавший пруд, Одарка, ее небольшое лицо, миндальные глаза, куча каштановых волос, небрежной волной обмотанных вокруг головы, безмятежный взгляд по сторонам, круги по воде и белое тело Одарки, так ярко сверкавшее над прозрачной водой. А он, прильнувший, затаивший дыхание, святотатственно смотрит... И вдруг треск... Одарка видит его, держит в руках свое платье, не знает, на что решиться, и с стыдливой мольбой смотрит на него своими мягкими затуманившимися глазами. Покорный, он идет прочь, но его тянет назад, к ней; он раздумывает, борет порыв, а сильная волна страсти снова охватывает его. Но Одарка уже мелькает между деревьями, и он остается, неудовлетворенный, один с своими жгучими ощущениями. Растерянный, ищущий, он идет назад, туда, где за минуту так ярко искрился пруд, где шла Одарка, где нежно и сильно кто-то пел чудную песнь, где таким жгучим огнем разливался по телу пьянящий аромат темных вишен... Но уж там пусто, только пруд равнодушно мигает да комар поет над ухом свою назойливую, скучную песнь.

Что-то связало с тех пор его с Одаркой, и при встрече с ней загорался и далеко в ее затуманенные глаза проникал его ищущий взгляд. И теперь, при воспоминании, охватило его ощущение взгляда красавицы Одарки, и сердце сильнее забилося предчувствием скорого свидания. Он тяжело вздохнул и высунулся из окна.

Потянуло какою-то свежою сыростью: словно дождем запахло. Последние лучи, короткие и красные, сиротливо скользили, прощаясь со степью. Степь задумывалась и заволакивалась, точно волнами дыма, обманчивым просветом сумерек. Сильней пахнуло ароматом полей, и в небе уже сверкнула и, точно испуганная своим ранним появлением, опять скрылась первая звезда. Вторая, третья – и задрожали в темной синеве яркие трепещущие звезды.

Карташев подсел к Корневу.

– Туда, дальше... когда ночи темнее будут, мы станем ездить на ночевки в степь... прямо в поле... костер, на нем котел с галушками, палочки такие заостренные... Покамест варится, ляжешь у костра и лежишь... закроешь глаза – и вдруг пахнет в лицо свежим ветерком; откроешь – темно... пламя от костра высоко-высоко уйдет вверх и качается там, а ночь так и хватает его со всех сторон: точно живая, точно тени какие ищут чего-то... Вдруг крикнет чайка, и встрепетается все: зашуршит, затрещат кузнечики, и потянет свежим сеном...

– И теперь пахнет сеном, – сказала Наташа, жадно вдохнув в себя ночной аромат свежей степи.

Карташев за Наташей выглянул в окно. В темном небе широкой рекой разлился блестящий Млечный Путь, и от ярких звезд его еще темнее кажется в степи. Точно вспугнутый, быстрее убегает поезд вперед, рассыпая свой огненный след в мягкой ночи. Как будто смотрит что-то оттуда из темной степи. Точно тени былых хозяев глядят в яркие окна вагонов на неведомых, в странном сочетании громадного общества несущихся мимо путников.

На горизонте показалось зарево, и заспорили Зина с братом – где горит. Долго спорили; третью деревню, уступая, назвал Карташев, когда вдруг весело вскрикнул:

– Луна!

Красно-дымчатое зарево мало-помалу собиралось в знакомые очертания. Уже блестящий, неправильный шар поднялся и осветил вокруг себя мягкую прозрачную синеву неба. Выше поднялся он, и первые лучи встревоженно убежали в темную степь – туда, где вдруг выглянула бледная травка, сверкнул бугорок и показались из мрака неподвижные темные скирды.

Неручев сидел в своем купе первого класса и задумчиво смотрел в окно. Вспоминалась вчерашняя ночь в мягком будуаре с открытыми окнами на бульвар, с ароматом этой ночи в блеске моря и в шуме цветущих акаций. Вспоминалась вся неделя сутолоки в городе и необходимость скоро опять ехать в город за деньгами.

Природа, как самый тонкий враг, заманивала туманными надеждами, втягивала в громадные посевы и безбожно обманывала.

Думал он лет десять тому назад, оставляя службу в богатом полку, похозяинничать и возвратиться в столицу богатым, независимым помещиком. Думал повести какую-то деловую жизнь в деревне. Думал избавиться на время от приятного, но разорительного общества дорогих товарищей. И ничего не вышло: нашел товарищей, сам же создал разоряющую его и их обстановку... Неприятное что-то надвигалось и было близко.

Неручев раздраженно тряхнул головой и внимательнее засмотрелся в окно.

Утомила степь и спит неподвижно в сиянии лунных лучей, спят и лучи в сонной траве. Неподвижный, вдали так отчетливо обрисовался чьей-то заботливой рукой сдвинутый в кучу лесок. Прогудел поезд, сверкнула речка и отразила в себе далекую луну.

– Высь! – радостно встрепетнулся Карташев.

«Высь» магической силой охватила молодых, задремавших было путешественников.

Высоко в небо забралась маленькая луна и льет свой волшебный свет на высокую колокольню, неподвижные белые хаты, на постоялый двор, в котором запрягают экипажи приехавших с поездом господ.

Неручев предложил свой экипаж, и Зина с Аглаидой Васильевной едут с ним.

Наташа в теплом пальто, охваченная дремотой и свежестью ночи, жмется и ждет знакомой

коляски с Николаем на козлах.

Из-под темных длинных навесов уже несется сонный голос Николая:

– Вперед!

Топчутся лошади, и с гулом выезжают на площадь два экипажа.

Фыркают кони, бегут в ровной степи, и кажется Наташе, что кружится степь и бегут лошади как-то назад, а высокая луна надела белый саван и тоже бежит у нее за плечами и вот-вот хочет обхватить ее... Вскрикнула Наташа и открыла глаза. Встрепенулся и Корнев и смотрит испуганно на нее, стараясь спросонков разобраться, где он и что с ними.

Только на рассвете, точно в панораме, вдруг показалась сверху вся Высь.

Было время, бушевала здесь вольная запорожская жизнь. Но давно уж это было. Точно после осевшей от дождя пыли, спит на заре ясная, спокойная, умытая своей казацкой стариной далекая Высь с своими белыми хатами, вишневыми сачками, с колокольнями на далеком горизонте. Из густого сада уже сквозит красная крыша господского дома, выглядывает мезонин с крыльцом в ту сторону, где за прудом лентой сверкает в густых камышах Высь. Пока еще неподвижно смотрит в воду камыш, пока еще спит село и точно задумались его белые хаты, пока господский дом пустыми окнами глядит в зеркальную поверхность розового от зари пруда, – осторожно выплывают из камыша на гладкую речку то дикая утка с выводками, то нырки, а то и пара серых гусей. Ох! Раньше их забрался и стоит истуканом с ружьем Конон. Стоит терпеливо с засученными штанами по колена в воде и только поводит своими ястребиными черными глазами. Холодно. Дрожь так и хватает, но станет тепло, когда прогремит по реке выстрел и закружится подстреленный гусь на прозрачной воде. Нет, не поспеет новый заряд вдогонку за другим, улетевшим. Уж тонет он в розовой дали и несется все дальше в далекую степь – туда, где ждет его тихий прудок, где дикие дрохвы пасутся да одинокие скирды стоят, где зорким сторожем станет отовсюду стеречь его вольная степь.

Уже встал старый-старый отец Даниил, вышел на крыльцо и смотрит на речку. Дивчата с ведрами потянулись. Одарка назад идет и низко кланяется. Конон с убитым гусем плетется по пригорку. Пыль поднялась за рекой: погнались пастухи коров. Весело играет рожок, и уж потянулись волы с возами в поле.

Тихо в господском доме. Чуть-чуть качаются шторы открытых окон. Чрез решетчатый забор уже видны в аллее подъезжающие экипажи. Свернувшись клубочком, сладко спит у ворот старый сторож Грицко и не слышит, как над ним жуют удила усталые кони и ломаются в запертые ворота.

– Куда вас черти несут! – рассердился вдруг Николай, подбирая выпавшие как-то вожжи. – Тпру, скаженные! Отворяй!

ХII

На другой день после приезда в деревню Корнев проснулся, когда еще Карташев, раскинувшись, сладко спал с раскрытым ртом.

Он оглянулся: угловая, невысокая, но большая комната была оклеена цветными обоями с рисунком серых кораблей и красных китайских матросов. Мягкая старая мебель – большой диван, круглый стол, несколько стульев. Корнев напряженно искал глазами чего-нибудь, что помогло бы ему скорее получить впечатление деревни. Все было старое, самое обыкновенное, но в то же время чувствовалось во всем и что-то особенное. Как-то спокойнее здесь стояла мебель возле этих кораблей – этот диван стоял так, может быть, уже десятки лет; эта картина, изображавшая каких-то разряженных охотников в париках, тоже говорила о чем-то бесконечно далеком; висел масляный портрет какого-то мужчины со строгим профилем, длинным носом, черными глазами и косичкой, в однобортном мундире с красным воротником и негустыми черными волосами, которым художник, видимо, хотел придать пышность. Под портретом – разные сабли: и длинные и короткие, а в середине – громадная медная. Портрет какого-нибудь прадеда, который здесь жил когда-то, ходил по этому дому, был в этой комнате. Дом был старый, со множеством низких комнат.

Помещение молодых людей находилось в левой стороне, на самом краю, и отделялось от остального дома коротким крытым коридором. Проходя вчера, Корнев видел множество дверей.

Карташев показал рукой на одну из них и пояснил:

– Бывшая капелла моего прадеда.

– Он разве католик был? – спросил Корнев.

– Нет, православный, но так как-то – неопределенно... Вероятно, увлекался католицизмом. Знаю, что был франкмасон.

Теперь Корнев посмотрел внимательно на портрет. «Не этот, – подумал он, – у этого в лице никакой мысли: вероятно, рубил себе направо и налево в полной уверенности, что это и есть самая суть жизни». Корнев пренебрежительно отвернулся и стал смотреть в окна. Они выходили в глухую часть сада. В голубом, безоблачном небе неподвижно вырисовывались деревья, точно уснувшие в ясном утре. У самого окна прижался куст сирени, заглядывая и словно прося впустить его. Корневу хотелось отворить окно, но хотелось и лежать, – и он был в раздумье, когда дверь тихо скрипнула и в ней появилась высохшая фигура Степана, старика, который еще при старом барине состоял в господской дворне – по его словам, был первым у него «лакеем».

Как бы то ни было, в глазах деревни Степан пользовался бесспорным авторитетом, который он еще больше поддерживал всяким враньем про себя. В сущности, это было безобидное существо, и зимой, когда господа жили в городе, он отлично мирился с простой деревенской жизнью: был хорошим семьянином, любил общество своих сверстников, усердно молился богу и помогал сыну по хозяйству. Но с приездом на лето господ на него находила, как говорили крестьяне, «фанаберия», нападал «гец», – он делался заносчив, суетлив и бестолков. Особенно он любил показать себя перед появлявшимися в усадьбе мужиками. В такие моменты, стоя на черном крыльце, он кричал о чем-нибудь в кухню так громко, что и на деревне слышно было. Никто, впрочем, не смущался этими криками. Кучер Николай так же равнодушно сплевывал, продолжал обдумывать важный вопрос – не направиться ли ему теперь через пробитую дорожку «по пид яблонями» в шинок на деревню; повар Тихон – прекрасный повар и горький пьяница, – тихий и невозмутимый, правда, робко съеживался при крике Степана, но сейчас же успокаивался и, поглядывая осторожно в окно, тоже мечтал о том времени, когда, исполнив свои обязанности, он уйдет в шинок, где променяет всю принесенную им провизию на дорогу его сердцу водку.

Степан продолжал стоять у дверей и радостно смотрел на Корнева. Корнев не сразу сообразил – кто это, так как вчера Степан проспал приезд господ.

– Прикажете умываться? – почтительно спросил Степан.

Корневу, в сущности, не хотелось еще вставать, но, чувствуя неловкость перед Степаном, он сказал: «Хорошо», – и поднялся с кровати.

Степан усердно бросился помогать ему, насильно напяливал носки, надевал ему сапоги и даже подхватил Корнева, чтобы помочь ему встать. Корнев стесненно терпел все, но, когда Степан усомнился даже, способен ли он сам встать «на ножки», Корнев возмутился и решительно проговорил:

– Как вас зовут?

– Что-с? – Степан от старости стал глохнуть.

– Как вас зовут?

– А-а... Степан, сударь.

– Так вот, Степан, у меня такие же руки, такие же ноги, как и у вас, да к тому же и помоложе ваших... Я могу и сапоги надеть, и встать, и привык сам все это делать. Вы мне только умыться дайте.

– Слушаю-с, сударь... пожалуйста! – И Степан осторожно прислонил свою руку к двери, в которую проходил Корнев, чтобы в случае возможного ушиба удар смягчился об его старую, морщинистую руку. «Чучело какое-то», – подумал Корнев, сразу недружелюбно расположившийся к старому Степану.

Обряд умыванья у отворенного окна совершался с такой предупредительностью со стороны Степана, что Корнев, кое-как умывшись, хотя с дороги и запылится, поспешил убраться поскорее в свою комнату. Но от Степана не так легко было отделаться. Счастливый, что дорвался наконец до исполнения своих обязанностей, он не выпускал свою жертву ни на мгновение. Увидев, что Карташев уже открыл глаза и молча наблюдает всю сцену, Корнев проговорил вполголоса:

– Что это за чучело? Я не понимаю, что за охота держать таких идолов.

Степан, с выражением своих старых глаз веселого щенка, ожидающего чего-то, повел глазами в ту сторону, куда теперь смотрел Корнев, и, увидев, что Карташев глядит, суетливо-радостно кинулся к своему барину.

– Убирайся! – рассмеялся Карташев, пряча руки, – так поцелуй!

Степан, всхлипывая от восторга, повторял: «Барин мой милый», – и трижды поцеловался с Карташевым.

Корнев раздраженно следил глазами за Степаном.

– Все живеньки ли – здоровы? Еремей Андреевич как?

– Едет.

– И Татьяна Ивановна здоровы?

– И она здорова.

– Слава тебе господи! сподобил еще господь послужить своим господам... Эх! И Орлик же, – с новым приливом восторга произнес Степан, – просто удила грызет.

Карташев весело рассмеялся.

– Орлик – моя лошадь, – пояснил он.

– Беда, сударь: играет, вот так и играет... Вся деревня высыпет... Николай его проезживает.

– Он льстец, к тому ж лукавый царедворец, – заметил Корнев, раздумчиво принимаясь за ногти.

– Просто шут гороховый.

– Так точно, – ответил с наслаждением Степан, не расслышав слов.

Карташев, а за ним и Корнев фыркнули, а счастливый Степан с восторгом и умилением смотрел то на того, то на другого.

– Это мой друг, – сказал ему Карташев.

– Так, так!.. дружки, значит, будете, – кивнул Степан и вздохнул.

– Чай сюда прикажете? или на балкон?

– На балкон.

– Слушаю-с.

Друзья через коридор прошли в дом. Карташев повел Корнева окружным путем – через целый ряд комнат. Все стояло на своих местах, висели картины, портреты, и все еще больше усиливало впечатление чего-то старого, давно налаженного. Во всех этих комнатах, и голубых, и синих, и красных, особенно в тех, где сохранилась масляная окраска стен, на всей этой мебели – и старинной и более новой, – важно застывшей на своих местах, некогда сидели другие люди, разговаривали, волновались, курили из своих длинных чубуков. След их здесь, тень их – глазами неподвижных портретов – провожает уже новых хозяев. Эти портреты как бы говорят: «Мы терпеливо ждали других, – дождемся и вас, и ваши дела и жизнь, как и наши, станут достоянием других».

– Собственно, у вас очень богатая обстановка, – заметил Корнев.

Карташеву было это приятно, и он, отворив дверь на балкон, сказал:

– А вот и сад.

Перед террасой был разбит разнообразный цветник. Дальше шел сад, и между ближайшими стволами деревьев заманчиво мелькала большая аллея с желтым песком.

«Здесь ходила Наташа, Аглаида Васильевна, Зина», – думал Корнев и жадно искал неуловимых следов, связывавших и этот сад и этот балкон с обитателями, с милым образом Наташи, которая его тянула к себе так мягко и сильно, без всяких порывов, тянула, как тянет к чему-то близкому, что в отвлеченном окристаллизованном виде, потеряв все недостатки, сосредоточивает в себе всю прелесть родного чувства. Он бессознательно наслаждался безмятежным утром, потонувшим в глубоком небе, неподвижностью сада, избытком воздуха, его ароматом и свежестью. В густой тени террасы было еще свежее. На столе сверкали скатерть, стаканы и пока пустой поднос от самовара. Раскорякой, держа далеко от себя самовар, старыми ногами по боковой аллейке уже шел Степан, и, поставив самовар, опять ушел – за печеньем. В дверях показалась только что вставшая, только что умытая, с немного заспанными глазами Наташа и весело шурилась на ясное утро, на стоявших Корнева и брата, бессознательно умываясь еще раз свежим воздухом.

Корнев оглянулся, и в этой простой обстановке яркого утра деревни Наташа показалась ему еще свежее, еще чище во всей своей несознаваемой чистоте, чем когда бы то ни было.

– Здравствуйте, – произнес он, и в голосе его зазвучало чувство удовольствия и радости, то чувство, которое он обыкновенно старался скрывать, а теперь хотел делиться им с Наташей и со всеми окружающими. Он смотрел, лаская Наташу глазами. Наташа, почувствовав это, лениво ответила, маскируя смущение: «Здравствуйте», – и села на первый стул.

– Хорошо у вас, – сказал Корнев. – Я представлял себе деревню, но у вас совсем особенная, оригинальная обстановка: на каждом шагу каждая мелочь будит воспоминания, и кажется, что я сам здесь уже был, когда-то видел все это...

Наташа ласково кивнула головой, смотря, прищурившись, то на него, то в сад сквозь деревья.

– Теперь понимаешь, отчего мы так любим деревню? – спросил Карташев.

– Что ж тут понимать? Мой друг, здесь вопрос денег – и, если они есть, можно любить все.

– Ну, пустяки: я бы и в хате с удовольствием жил и наслаждался деревней.

– И я, – решительно согласилась Наташа.

Корнев молча посмотрел на Наташу, на Карташева и о чем-то задумался. Самовар продолжал кипеть, пустой чайник стоял, но никто не думал о заварке. Возвратившийся с печеньем Степан поставил его на стол и бросился целовать руки Наташе.

– Здравствуйте, здравствуйте! – быстро и весело говорила она, пряча свои руки.

Степан огорчился, что не пришлось поцеловать ручку барышни. Чувствуя себя лишним, он, постояв несколько мгновений, медленно, с опущенной головой, пошел за угол.

– Тихона работа, – сказал Карташев, задумчиво смотря на лепешки. – Папины любимые.

– Вещи переживают людей, – заметил Корнев и, помолчав, прибавил: – Но он настоящий кондитер, ваш повар.

– Ах, какой он симпатичный! – воскликнула Наташа. – Пойдем к нему... пока тут чай заварят... Жаль только, что пьет. Впрочем, говорят, он бросил.

Все трое спустились в аллею. Корнев вдыхал в себя мягкий аромат цветов, сада, деревни, чего-то нового, сильного и свежего, и ему казалось, что никогда он так легко и свободно не шел, как сегодня, в этом безмятежном нарядном уголке природы, по этой аллее с кустами жасмина вдоль белой стены дома, возле этой бочки для стока воды. Все находило место в открытом для впечатлений сердце Корнева. Между деревьев показались постройки: длинный белый флигель, другой под углом, каретник, сарай, большой чистый двор. С крыльца бокового флигеля выжидательно, с чувством собственного достоинства, спускалась фигура мужчины лет тридцати, загорелая, отчего еще рельефнее сверкали его синие глаза и белые белки. Из-под стертой шапки его выбивались русые волосы, от тяжелых высоких сапог сильно пахло ворванью, отчего точно делалось жарче среди этого ясного утра. Карташев, заметив его, быстро пошел навстречу. Тогда и он прибавил шагу. Это был управляющий именем, Конон Львович Могильный. Привязанная верховая лошадь с опущенной головой и усталым видом говорила, что ее хозяин уже много сегодня ездил.

– Уже успели в поле быть? – спросила Наташа.

Конон Львович только небрежно махнул рукой.

– Вы, вероятно, и не ложились после нашего приезда?

– Я вставал уже...

– Мы к Тихону идем.

– А-а... А я в поле.

Они еще постояли, посмотрели, как он сел, стреноженным галопом пустил лошадь, и пошли в конюшню.

Тихон, с длинной бородой и большой лысиной, спокойно возился у своего стола.

– Здравствуйте, Тихон! – приветствовала его Наташа.

Тихон сдержанно повернулся и, рукой придерживая свою лысину, почтительно поклонился.

– Все ли живеньки, здоровы? – спросил он с бледной улыбкой больного человека.

– Спасибо, – ты как поживаешь?

– Живем, – односложно, с легким вздохом, ответил он.

И еще резче этот вздох обнаружил перемену в Тихоне. Когда-то это красивое лицо невольно останавливало на себе внимание выражением особого благородства и осмысленности. Только пьяным оно менялось: опускалось, и глаза смотрели воспаленно и дико. Из-за пьянства его и в городе не держали. Когда в такие минуты его тащили к исполнению его обязанностей, он упирался и грозно кричал: «Пусти! Убью!» Но Конон шептал ему что-то веселое на ухо, и мрачное сопротивление сменялось веселым порывом. Он стремительно бросался вперед, обгоняя даже своих временных тюремщиков, и кричал: «Вперед, наша!» Но в воротах усадьбы коварный Конон бросал два презрительных слова: «дурный сказався», – и Тихон сразу стихал и уж покорно шел в кухню. Долго пьянство не имело никакого влияния на здоровый организм Тихона, но теперь желтое лицо его осунулось, начало проваливаться, нос потерял свою форму. Только глаза Тихона смотрели по-прежнему. Было в них что-то угрюмое, и напряженное, и что-то детски чистое, грустное и беспомощное, что тоскливо хватало за сердце. Незадолго до приезда господ Тихон бросил пить, но это еще резче обнажило разрушение. На деревне только головами качали.

– Не жилец, – с пророческим видом шептала высокая костлявая Домаха.

Кучер Николай в ожидании выхода господ стоял у конюшни в красной новой рубаше, подпоясанной тонким пояском, в широких плисовых шароварах. Он курил трубку, старался как можно равнодушнее сплевывать и делался удовлетвореннее каждый раз, когда взгляд его падал на щегольские сапоги бутылкой.

– Николай, выведи Орлика! – крикнул Карташев, появляясь из кухни.

Николай молча кивнул головой. Он даже дверь притворил за собой, как бы желая дать понять, что господам не след шататься по конюшням. Но нетерпеливый Карташев, а за ним и Наташа и Корнев вошли следом за Николаем в темную, грязную конюшню.

«Ты тут с прошлого года так и не чистил?» – хотел было спросить Карташев, но удержался, треснул по дороге Белого и сердито крикнул:

– Ну, ты!

Белый энергично переступил на другую сторону и, снова повернувши морду, тряхнул ею так, как бы говорил: «Это мы видели... а дальше что?»

– У-у! – потрепал его Карташев.

Белый внимательно насторожился и настойчиво, уверенно продолжал смотреть Карташеву прямо в глаза. Карташев не вытерпел и полез к нему в стойло. Белый, вздрагивая, слабо заржал и еще энергичнее, вплоть уже, обнюхивал Карташева. Карташев подставил ему ладонь: Белый быстро заерзал губами по ладони и сердито фыркнул.

– Даром что скотина, тоже понимает, – философски заметил Николай.

– Принеси хлеба.

Николай повернулся, прошел ровно столько, чтобы показать свою фигуру во дворе, и закричал:

– Несите сюда, кто там, шматок черного хлеба с солью.

Эта русская фигура, напускная важность и простота хохлацкой речи не вязались между собою и производили смешное впечатление неудавшегося, преждевременно разоблаченного маскарада. Корнев с пренебрежительным любопытством следил за Николаем. Тот это чувствовал и конфузился. Хлеб принесла Одарка. Принимая его, Карташев встретился с ее ласковыми, спокойными глазами. Что-то сжало его сердце, сверкнуло радостно и отдалось в глазах вспыхнувшей вдруг Одарки. Она быстро опустила голову и поспешно вышла из конюшни.

– Ах, какая красавица! – вырвалось у Корнева.

– Правда, красавица? – спросила Наташа и, весело выглянув во двор, вернула Одарку.

Наташа стояла с лукавой усмешкой, пока сконфуженная девушка, с опущенными глазами, точно зная, зачем ее зовут, медленно приближалась к ней.

– Что же вы, Одарка не здороваетесь? – спросила Наташа.

Красавица вскинула своими темными глазами, и румянец залил ее щеки. Она сконфуженно рассмеялась, сверкнула своими белыми мелкими зубами и, проговорив: «Здравствуйте, барышня», – нагнулась к руке.

– Так поцелуемся. – И Наташа крепко, энергично обняла Одарку.

Случайно так вышло, что в момент поцелуя темные глаза Одарки вдруг смело и глубоко на мгновение потонули в глазах Карташева, – и все: и конюшня, и Белый, и Корнев с Наташей скрылись куда-то, была одна Одарка, ее головка, взгляд, подаривший его порывом восторга. Он чувствовал, что опять любит Одарку, и мелькнувшая вдруг мысль, что если б крестьянка Одарка сделалась его женой, обожгла его сильно и сладко. Так и будет: ей он посвятит себя, ей, прекрасной дочери своего народа!.. Белый напрасно беспокойно поворачивался во все стороны, приспособляясь как-нибудь выхватить заманчивый кусок, который замер в протянутой руке Карташева. Кусок и совсем исчез, потому что Карташев с ним вместе вылез из стойла и стремительно бросился к Одарке.

– А со мной?

– Та вже здравствуйте, – рассмеялась Одарка и закрылась рукой.

– Нет, поцелуемся.

Карташев порывисто обнял рукой талию Одарки и поцеловал ее прямо в ее мягкий, открывшийся слегка ротик. Из-под полуопущенных век сверкнул на него замерший, испуганный взгляд Одарки, и, вырвавшись, она уже хотела было скрыться, как Корнев энергично заявил и свои права:

– Что ж, и со мной надо; я – друг его. – Корнев показал на Карташева.

Одарка посмотрела на Наташу и, мягко рассмеявшись, с жестом стыдливости проговорила:

– Ой лышеньки ж мои!

Наташа только развела руками, и Одарка поцеловалась с Корневым.

Посреди двора стоял Конон и внимательно наблюдал всю сцену.

– Добре нацелувалась? – пренебрежительно бросил он Одарке, когда та проходила мимо него.

– Одчепись, – ответила она и, смущенно отвернувши свое раскрасневшееся лицо, прошла в людскую. Конон молча, с плохо скрытым чувством злобы смотрел ей сперва в лицо, затем вслед и наконец тихо, раздраженно покачал головой, когда Одарка скрылась. Он долго еще смотрел и на захлопнувшуюся за ней дверь и отвел глаза только тогда, когда из конюшни вышли паньчи с барышней, а за ними Николай, ведя в поводу Орлика. Тогда он угрюмо подошел ближе и, заложив руки в широкий пояс холщовых штанов, стал вызывающе пытливо наблюдать за действующими лицами.

Орлик – вороная, среднего роста лошадка, с сухой красивой головкой, с синеватым отливом больших глаз, на тонких стройных ножках – стоял неподвижной картинкой, изогнув немного шею и насторожив свои веселые ушки.

– Пусти его! – крикнул Карташев.

Николай выпустил одной рукой повод и трусливо отскочил, схватившись обеими руками за другой конец повода. Орлик начал выделять всевозможные прыжки.

– Ты на нем едешь? – недоверчиво спросил Корнев.

– Езжу, – соврал с гордостью Карташев, хотя только всего раз и пробовал проехаться в прошлом году, да и то шагом по двору.

Соврав, Карташев задумался и проговорил:

– Собственно, настоящая езда только в этом году будет, а в прошлом только так.

– Соврал, значит?

– Нет, я уже сажился на него... Николай, сажился я?

– Сколько раз!

– Ну положим, один раз, – добродушно поправил Карташев, – да и то шагом, – прибавил он, помолчав, и облегченно рассмеялся.

– Рыло! – усмехнулся Корнев.

Заметив вдруг, что Орлик хромает, Карташев огорченно спросил:

– Он хромает?

– Заступил... тесно... лошадь молодая...

– Мокрец, – пренебрежительно оборвал Конон, – от сырости.

– Действительно, что сырость...

– Здравствуй, Конон! – поздоровался Карташев, заметив его.

– Здоровеньки булы, – неопределенно ответил тот, небрежно кивнув головой.

Корнев на последнее замечание Николая пробурчал себе: «Шут», – и внимательно впился в Конона. Конон произвел на него благоприятное впечатление.

– Это наш охотник, – пояснил Карташев.

– Теперь вже плугатарь, – презрительно махнул рукой Конон, – буде охотничуваты... Сегодня назначили в поле...

– А кто же охотник?

Конон равнодушно пожал плечами.

– Та нема ни якого.

– Отчего?

– Доводи вже, – неопределенно насмешливо произнес он, с каким-то небрежным раздражением смотря мимо Карташева.

Карташеву были одинаково непонятны – и раздражение Конона, и его ответы. Бессознательно как-то он сказал:

– Я с тобой и не поцеловался.

Конон, покачиваясь, молча подошел, снял большую соломенную шляпу, вытер своим толстым рукавом губы и приготовился к поцелую. Его черные волосы плотно прилегали ко лбу, черные ястребиные глаза смотрели твердо; тонкий красивый нос, сжатый характерный рот и маленькая черная пушистая бородка делали его лицо очень красивым, но вызывающим и дерзким. Карташев три раза поцеловался, и на мгновение по лицу Конона пробежала тень удовлетворенного примирения, но она сейчас же исчезла, когда в дверях кухни показалась Одарка и, облокотившись о косяк, стала смотреть на группу у конюшни. Конон, встретившись с ней, сердито отвернулся, а Карташев, напротив – во все глаза стал глядеть на Одарку. Та только плотнее прижималась к двери и робко изредка вскидывала глаза на Карташева. Карташеву хотелось, чтоб она так же смело и открыто смотрела на него, как он на нее, – так хотелось, что он готов был сейчас же объявить, тут же, что любит Одарку. Но он не объявил: Наташа напомнила о чае, и все трое ушли.

Во дворе остался Николай, о чем-то разговаривая с Кононом, в окно выглядывал безжизненный Тихон, и, облокотившись о косяк, продолжала стоять Одарка.

Николай повел Орлика в конюшню, а Конон, не смотря на Одарку, пошел по знакомой дорожке через сад на деревню. Скрылся и Тихон, только Одарка все продолжала стоять и смотреть раздумчиво вслед ушедшему Конону. Чужало или нет ее сердце, что в душу паныча она забросила новую искру любви?.. Ее дорога была уже определена – с Кононом она уже «жартовалась», и осенью назначена была их свадьба. Дело стояло только за деньгами, за урожаем. И урожай обещал быть обильным. А там, после свадьбы, хата «с краю села», вишневый садочек, пара волов и... прощай вольная жизнь!..

Одарка повела своими робкими глазами, подавила вздох и пошла назад в людскую кухню исполнять свои обязанности судомойки.

Карташев некоторое время обдумывал, что сказала бы мать, если б он действительно подвел к ней Одарку как свою невесту. Это было так ни с чем не соотносимо, что он даже и представить себе не мог – как бы это он сделал? Да и нельзя сделать: это ясно. Тем не менее он сейчас же после чая уединился, в надежде встретить на дорожке Одарку...

Наташа увела Корнева в сад – показать ему свое любимое место.

С большой аллеи они повернули на дорожку роз, которые цвели и наполняли воздух своим ароматом, затем свернули на едва приметную тропинку в кустах крыжовника и смородины. Под этими кустами земля была влажная, и Наташа, останавливаясь осмотреть ягоды на кустах, оставляла на ней маленький след своей ножки. Добравшись до конца сада, они начали осторожно пробираться в густой поросли орешника.

– Далеко же ваше место, – заметил Корнев.

– Сейчас... вот...

Наташа остановилась и смотрела вперед. На ее лице застыла не то улыбка, не то гримаса, она слегка открыла рот: это выражение не шло к ней, но вызывало в Корневе какое-то особое чувство сожаления.

Из заброшенного уголка сада в близком расстоянии открывался вид на старую церковь села. Дальше за ней выглядывал уголок далекой степи. Легкий ветерок точно манил в нее – тихую, спокойную, беспредельную. В густой зелени ограды рельефнее выделялась серая деревянная колокольня, ее подгнившие ступени, темный крест. Колокольня шла уступами, расширяющимися книзу, и их поддерживал целый ряд старых, мохом обросших деревянных колонн. В уступах были вырезаны ряды маленьких окошечек – пустых, без стекол, рам. От церкви веяло стариной, пустотой времени, окошечки смотрели своими темными покосившимися отверстиями неподвижно-задумчиво. В общем, в тишине летнего дня здесь было уютно, царил безмятежный покой, и весь вид точно рассказывал какую-то забытую простую, приятную и грустную историю.

– У вас здесь есть лучше этого виды, – сказал Корнев, – здесь колокольня мешает.

– Этот вид мне больше всех нравится.

– Отчего?

– Я не знаю... Иногда мне кажется, что я пойду в монастырь... Может быть, от этого...

– Вас тянет?

– Я люблю монастырь: так мне кажется... Мама говорит: если она умрет и мы не выйдем замуж, чтобы шли в монастырь.

– Зачем же в монастырь?

– Да, конечно, это только так... Кто теперь идет в монастырь.

– И слава богу... Мало ли живого дела.

– Ну-у... На всякое дело нужны люди... Богу тоже нужны...

– Нет, оставьте, – испуганно перебил Корнев. – На земле мы нужны земле.

– Разве не то же самое?

– Как то же самое? Есть живая работа: общество погрязло в разврате прошлого, в эгоизме, масса зла кругом... предрассудки... неправда... Что здесь поможет монастырь, формы которого веками налажены, установлены и с миром ничего общего не имеют? Может быть, и было время монастырей, но каждому времени свое: стоит ли появляться на свет, чтобы повторять дела других. Нет, это и думать бросьте, Наталья Николаевна, это так обидно...

– Да я так только, – уклончиво усмехнулась Наташа, – конечно, не пойду в монастырь.

– И говорите это с грустью...

– Потому что люблю...

– Оставьте.

– Ну, да не пойду, сказала вам... А все-таки люблю.

Наташа упрямо, по-детски рассмеялась и заглянула в глаза Корневу. Корнев сосредоточенно принялся за ногти.

– Ну, не пойду, не пойду!..

– И отлично.

– Ну и бросьте ногти.

– Вы, может быть, думаете, что я рассердился? – спросил Корнев.

– Вы когда принимаетесь за ногти, то или думаете, или сердитесь.

– Нет... я думал... Вы мне так ясно вдруг представились, вон у тех ступенек, на коленях в монашеском костюме... с белым подвязанным платком... Я, в сущности, впечатлительный ужасно... Ну, вот и задумался: какая может быть ваша судьба в жизни...

– Ну?

– Не знаю, не могу ничего сказать...

Корнев помолчал и огорченно прибавил:

– Вероятно, выйдете замуж... Аглаида Васильевна подыщет вам жениха... важного...

– Никогда, – рассмеялась Наташа, – мама никогда нас не будет стеснять в выборе, – не она, а я буду искать. Все это, впрочем, глупости... Наши, верно, уж встали; пойдете к ним. А после чаю, если хотите, будем читать вслух.

– Пожалуй.

– Вальтера Скотта?

– Ну, что ж, Вальтера Скотта... А что?

- «Айвенго».
- Вы разве не читали?
- Нет еще. Я мало читала.
- Я тоже не читал...
- Оба весело рассмеялись.

Когда Наташа и Корнев пришли, Аглаида Васильевна уже сидела за чайным столом.

Прищурившись на подхаливших, она тихо, добродушно сказала Зине:

– У моей Наташи отвратительный вкус.

Зина оторвалась от книги, вскользь посмотрела на праздничное лицо Корнева, и ей вдруг стало жаль его. Она ответила:

- Здесь вкус не играет никакой роли.
- Пожалуйста, – предупредительно встретил Корнева Степан, подавая ему стул.
- Очень вам благодарен, – расшаркался перед ним Корнев. И, когда все рассмеялись, он прибавил полушутя, полураздраженно: – Он на меня производит, знаете, такое же впечатление, как и ваши картины... Мне все кажется, что он выскочил из какой-то рамки и бежит, пока его не усадят назад. Я решил отучивать его от любезностей двойной любезностью.

Наташа не могла видеть без смеха, как Корнев приводил в исполнение свой план. Это смешило всех. Корнев раздраженными глазами стерег Степана и чуть что – сам спешил ему на помощь. «Степан, блюдечко дай...» – и Корнев стремительно бросался к блюдечку, расшаркивался перед озадаченным Степаном и подавал кому следовало блюдечко. Наташа уже прямо плакала от смеха. По временам она поднимала голову, и Корнев спешил выкинуть какую-нибудь новую штуку. Он расшалился до того, что, когда Степан все-таки успел ему что-то подать, вскочил и протянул ему руку. Степан сперва опешил, затем бросился целовать руку.

- Не надо, – с комическим достоинством ответил Корнев, ограничившись пожатием.
 - Он вам протянет когда-нибудь руку при гостях, – заметила Аглаида Васильевна.
 - Что ж? Поверьте, с удовольствием пожму.
 - Ну, я хотела бы посмотреть.
 - Да могу вас уверить... да накажи меня бог... да лопни мои глаза.
- Сама Аглаида Васильевна не могла удержаться от смеха.
- Мне нечего и спрашивать, как вам понравилась деревня, – обратилась она к Корневу.
 - Совершенно справедливо, – ответил он, – я никогда еще себя таким теленком не чувствовал.

Он сделал несколько туров по террасе и запел:

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила.

Он пел верно и в высшей степени выразительно.

- У вас прекрасный голос, – похвалила Зина.
 - Откуда это? – спросила Наташа.
 - Есть такая опера: «Русалка»... слова Пушкина.
 - Пропойте все.
 - С удовольствием, если нравится.
- Оказалось, Корнев знал много романсов и арий.

Вместо чтения все время до обеда прошло в пении, причем то Зина, то Наташа аккомпанировали Корневу. Он и сам играл с удовольствием, хотя медленно разбирал ноты. В антрактах он не оставлял своих комичных выходок, и Степан представлял для него в этом отношении неиссякаемый источник.

- У вас большой юмористический талант, – заметила Аглаида Васильевна.
- Мне говорили, что я мог бы сделать карьеру на этом поприще.
- Отчего же вы не делаете? – спросила Наташа.

– Отчего вы в монастырь не идете? – повернулся к ней Корнев и, увидя вспыхнувшее лицо Наташи, быстро проговорил уже серьезно: – В монастырь... в оперу... всех нас, наверное, куда-нибудь тянет, но все идут одной дорогой: наше время ремесленное, да и дело наше маленькое, и мы маленькие – нечего и соваться с суконным рылом в калашный ряд.

– При чем тут это, – возмутилась Зина, – если у вас есть талант.

– Талант положительно есть, – поддержала ее Аглаида Васильевна, – но, конечно, сперва надо сделать свое прямое дело...

– Э-э! – перебила Зина, – так и пойдет шаг за шагом...

– Я согласна с Зиной, – сказала Наташа.

– И я согласна, – присоединилась Маня.

Тринадцатилетняя Маня произнесла это серьезно, как взрослая. Зине резнуло ухо, и она заметила:

– Ты еще, Маня, слишком мала, чтобы высказывать свое мнение о таких вещах.

– Отчего мне не высказывать? – Маня сделала спокойно-пренебрежительное движение плечами. Она смотрела, наклонив голову, своими круглыми какой-то красивой птицы глазами, и на ее тоненьком и бледном лице играло что-то вызывающее и дразнящее.

– Оттого, что тебе тринадцать лет.

– Мне будет и больше, – ответила Маня и, властно тряхнув головой, рассмеялась.

Ее смех выходил каким-то звуком «кар», легким, гортанным, мягким и веселым.

– Вы заметили, – обратился Корнев к Аглаиде Васильевне, – как смеется Марья Николаевна? и приятно, и вместе с тем неприятно: этот несимпатичный гортанный звук напоминает какую-то птицу... Какую птицу?

– Ворону, – ответила Аглаида Васильевна.

– Совершенно верно...

– Ха-ха-ха! Маня, благодари!

– «Кар!»

– Но так же, как вот иногда урод напоминает красавицу... Я вот так похож на свою мать.

– Ну, нечего скромничать.

– Да я вовсе не скромничаю. Но если бы я не признавал, кто я и что я, то заслуживал бы презрения... – с комичным достоинством произнес Корнев и затем сильно и выразительно запел:

Гей, выводите та и выводите

Та на ту высокоу могылу,

А с тьи могылы

Видна вся Украина...

– Нет, положительно я никогда себя так не чувствовал, как у вас.

– Это высшая любезность хозяйкам, – улыбнулась Аглаида Васильевна.

– Это не любезность, это правда, – резко перебил Корнев.

– Тем приятнее... Но где пропадает Тёма?

– Я его видела в саду, а потом не знаю, куда он ушел, – ответила Маня.

– Он ушел к батюшке, – сказал, входя и конфузливо садясь, Сережа.

– Ах, кстати, покажите мне капеллу вашего прапрадедушки.

– Только пра, – сказала Зина.

Все пошли в капеллу.

В низкой длинной комнате возвышался у противоположной стены помост, стоял тяжелый четырехугольный стол, вместо образов – распятия, – и русские и католические, и в центре других большое, темное, с очень большим выпуклым изображением черепа. В разноцветные окна пробивался свет, бледно играя на всех предметах. На подставке лежала бархатная малиновая шапочка.

– Ничего особенного, – резюмировал свои впечатления Корнев, останавливаясь перед изображением мадонны. Это было изображение прекрасной женщины с золотистыми волосами и глазами почти круглыми, необыкновенно выразительными: что-то было доброе, ласковое, своеобраз-

ное в этих глазах, во всем лице и позе.

– Вот Марья Николаевна! – воскликнул Корнев.

– Правда, похожа? – спросила Зина.

– Поразительно.

– Это портрет прабабушки... Она умерла молодой... Прадедушка где-то в Италии заказал этот портрет.

– Замечательная работа!

– Говорят, замечательная.

– А вот и мы все, – обратила внимание Корнева Наташа на другую картину, где был изображен Христос, благословляющий детей. В числе детей были все дети Аглаиды Васильевны. Наташа, маленькая, стояла лицом к зрителю, вбок к Христу, и смотрела в упор своими большими черными глазами.

Корнев чрезвычайно долго всматривался.

– У вас всегда были большие черные глаза, – произнес он.

– Вы очень наблюдательны, – прошлась на его счет Зина.

Над картиной было кругом написано: «Если не будете как дети – не войдете в царство небесное».

– В каком смысле? – спросил Корнев Аглаиду Васильевну.

– В самом прямом.

– Отличительная черта детей, – проговорил Корнев, принимаясь за ногти и косясь на Аглаиду Васильевну, – их прямолинейная логика.

– Чистая, – вставила Аглаида Васильевна.

– Конечно.

К обеду пришел Карташев.

– Ну, что отец Даниил?

– Ничего.

– Вот от него всегда такие сведения, – заметила Зина.

– Ну, пойдی сама, – огрызнулся Карташев.

– Конечно, пойду.

– Он сам придет после обеда, – сказал Карташев.

– Постарел? – спросила Аглаида Васильевна.

– Нет, все такой же.

– А я все-таки на вашем месте сделалась бы актером, – заговорила Маня, садясь против Корнева.

– Ну, вот ты так и сделай, – усмехнулась Зина, – кстати, у тебя голос, кажется, будет, – поступай в оперу.

– Если будет, то и поступлю.

– Только если первоклассный, – прибавила Аглаида Васильевна.

– Первоклассным у всех быть не может, – вмешался Корнев.

– В таком случае незачем и поступать.

– А я все-таки поступлю.

– Даже если мама против?

– А если мне хочется?

– Очень грустно в таком случае.

Корнев скорчил Мане гримасу. Маня заглянула ему в лицо, как бы ища ответа.

– Я бы подождала, пока все умрут.

– Ну, тогда делайте, что хотите, только на могилу ко мне не ходить...

– А я приду, – сказала Маня, лукаво и в то же время просительно глядя на мать, так что Аглаида Васильевна ласково усмехнулась.

– Дурочка ты...

– Гм! Гм! – заерзал Корнев.

Маня весело смотрела на него.

– Вот никогда не думала, чтобы вы были такой веселый, – сказала Зина.

– Мне теперь кажется, что я всегда такой.

– Вы всегда вот какой...

Зина исподлобья посмотрела, грызя ногти.

– Нет, это уж Наташа пусть представит, – сказала Аглаида Васильевна, – она замечательно вас копирует.

– Вот как... много чести!.. не знал... Пожалуйста...

– Я не умею.

– Ну... пожалуйста... умоляю... на коленях прошу.

Корнев закончил отчаянной рожей.

– Кар! – передразнил он Маню.

– У вас хороший «подражательный талант», – кивнула ему Наташа.

– Вы похожи, говорите, на вашу маму? – спросила Маня и, подняв головку, лукаво ждала ответа.

– И это в тринадцать лет! – воскликнул Корнев. – О, благодарю тебя, создатель, что к ее времени я уж буду стариком.

– К ее времени вы начнете только жить, – улыбнулась Аглаида Васильевна.

– А теперь, позвольте узнать, что мы делаем?

– А теперь вы только скользите по поверхности жизни.

– Как водяные пауки, – вставила Зина.

– Понимаю, – ответил Корнев и, повернувшись к Мане, сказал: – Во всяком случае, вы замечательно оригинальная... И что-то мне напоминает... я никак не могу выразить... Вы видели картины Рубенса, Рембрандта... Я одинаково не видал ни одной картины ни того, ни другого, но это все равно... А вот это «кар» я уж окончательно не знаю, чему приписать.

– Вороне же, – напомнила Зина.

– Да ведь оказалось, что ворона так же похожа на Марью Николаевну, как я на мать... Так, если не ошибаюсь? Я скорее бы сравнил вот... есть такой инструмент... я его тоже никогда не видал... Я, кажется, начинаю совсем уж чушь нести...

Степан поднес Корневу блюдо с пирожным.

– Благодарю покорно... Дай бог вам и вашим деткам много лет здравствовать.

Корнев вскочил и раскланялся перед Степаном.

– И вам, сударь, дай бог... милостивую хозяйку, так чтоб, как наши барышни, красавица была, да деток кучу.

– Мой друг, это... это... благодарю... Позвольте мне с вами облобызаться?!

Корнев вытер салфеткою рот и торжественно расцеловался со Степаном.

Степан принял это за чистую монету и, довольный, удовлетворенный, понес блюдо дальше. Лицо Степана было так серьезно и торжественно, что было неловко и смеяться. Все наклонили головы, чтоб спрятать свои улыбки.

– А ведь наступят когда-нибудь такие отношения, – заговорил Карташев.

– В раю такой Степан, может быть, выше нас с тобой, мой друг, займет место, – убежденно произнесла Аглаида Васильевна.

– На этом основании нельзя ли ему предложить маленький уголок за этим столом? – сказал Корнев.

– Здесь нельзя, – твердо ответила Аглаида Васильевна.

– Маленькая как будто непрямолинейность... Я вспомнил надпись в капелле.

– Вы, конечно, знаете, откуда эта надпись? Ну, там же: «Рабы, повинуйтеся господам своим».

– Рабов уже нет, теперешний раб имеет в кармане деньги и завтра сам будет иметь рабов.

– И будет...

– Чему же в таком случае повиноваться? – огрызнулся Карташев. – Капиталу?

– И рад... Выберите лучше другую тему...

– Отчего же? и эта интересна, – настаивал сын.

Из-за стола встали.

– Интересная, но не для меня.

Карташев продолжал упорствовать.

– Тёма, а если я не хочу? – уже сухо спросила Аглаида Васильевна.

Карташев насмешливо поклонился.

– Позвольте, я его выведу, – предложил Корнев, заминая надвигающуюся размолвку. – Зинаида Николаевна, сыграйте нам марш.

И под звуки марша Корнев увел упиравшегося Карташева.

– Ну, иди... – ласково не то понуждал, не то уговаривал он приятеля.

Пройдя несколько комнат, Корнев воскликнул: «О господи! я лопну, так наелся», – и с размаху упал в кресло.

Вошел Сережа и, стоя у двери, смотрел на брата и Корнева.

– Что вы, молодой человек, конфузитесь все? – спросил Корнев, подходя и встряхивая Сережу за его худенькие руки.

– Я не конфужусь.

– Вы вот берите пример с этого нахала... Право.

Корнев показал на Карташева. Карташев, снова повеселевший, проговорил: «Бери пример!» – подпрыгнул и упал на диван.

– Вот так? – спросил Корнев, падая на другой диван.

Он поднялся, посмотрел на Карташева и, весело рассмеявшись, опять откинулся на спину и заболтал ногами.

– Очень мило! – произнесла Маня, заглядывая и скрываясь.

– Mille pardons...⁶

– Я буду спать... – сказал Карташев.

– Неужели будешь? – живо спросил Корнев.

Карташев не ответил.

– А я чем хуже?

Корнев повернулся на бок и закрыл глаза. Через несколько минут оба уже спали.

– Спят, – осторожно заглянула Маня. За ней заглянули Наташа и Сережа...

– Спят, – прошептала Наташа, входя на цыпочках на террасу.

– Надо ставни закрыть, – сказала Аглаида Васильевна. – Сережа, позови Степана... Очень симпатичный Корнев и деликатный, не смотря на кажущуюся резкость.

– Он деликатный, – согласилась Зина, – это в городе, в компании Рыльского, Долбы...

– Он всегда был деликатный, – горячо вступилась Наташа. – Он замечательно отзывчивый, остроумный...

Зина улыбнулась и закрылась книгой.

– Пожалуйста, не думай... я вовсе в него не влюблена.

– Я вовсе ничего не думала...

– Дети, – остановила Аглаида Васильевна, – пожалуйста, без этих ужасных мещанских слов: «влюблена». Кто в ваши годы бывает влюблен?

– Конечно, – согласилась Наташа, – симпатичный человек, и я очень рада, что он гостит... Степан, осторожно закрой у папиной комнаты ставни – они в голубой... Не стучи.

Степан для меньшего шума пошел на цыпочках. Маня, перегнувшись, весело его наблюдала.

– Некрасивый Корнев, – проговорила она, – вот Рыльский красивый.

Корнев проснулся первый и не сразу сообразил, где он. В щели пробивались уже низкие лучи солнца и густой золотистой пылью играли полосами по дивану и стенам; виднелся кусочек голубого неба и весело манил к себе. Корнев с удовольствием потянулся, оглядывая в полумраке уже знакомую обстановку голубой диванной.

– Ты... черт... спишь?

⁶ Тысяча извинений... (фр.)

Карташев открыл глаза.

– Не сплю, дьявол.

– Мне кажется, что я здесь уж сто лет безвыездно живу. Тебе не кажется? Квасу бы.

– Крикни.

Корнев помолчал и вдруг заорал:

– Дьяволы, квасу!

– Слушаю-с, – ответил за дверь Степан.

– О! – рассмеялся Корнев и даже поднялся. Потом опять лег.

Когда Степан принес квас, Корнев сел на диван, взял стакан, выпил залпом и крикнул. Он облокотился руками о колени и так остался.

– Еще прикажете?

– Нет, спасибо.

Но так как Степан все еще стоял в ожидании, то Корнев громко, немного раздраженно повторил:

– Спасибо... не хочу.

Степан ушел, а Корнев продолжал сидеть в той же позе, наблюдая с интересом самого себя: действительно ли он ни о чем не думает?

– Окончательное бревно... ни одной мысли... И черт с ними! – Он величественно поднялся, наскоро оправил костюм и, с засунутыми в карманы руками, с откинутой головой, напевая что-то себе под нос, пошел по комнатам. В миниатюре это был теперь вылитый портрет своего отца. Он нашел Зинаиду Николаевну в одной из комнат в углу, в удобном кожаном кресле.

– Читать изволите? – осведомился как-то небрежно Корнев.

– Да, – ответила Зина.

– Что-с?

– Жорж Занд: «Орас».

– Так-с... Не читал.

– Выспались?

– Как бык... Pardon за выражение... Сегодня в голову все особенные какие-то лезут...

– Вы никогда не стеснялись, кажется, в выражениях.

– Вы думаете? Тем лучше... Нет, я окончательно в каком-то ошалелом состоянии. Мне кажется, что все это мое, что я здесь вечно жил и в моем распоряжении и жизнь и смерть или, по крайней мере, тысяча душ. Это много или мало?

– Не знаю.

– У вашей маменьки сколько было?

– Не знаю.

Корнев подумал.

– Вы не находите, что я как будто поглупел?

Зина рассмеялась.

– Не знаю.

– Вы, кажется, тоже находитесь в каком-то особенном состоянии незнания. Нет, я теперь положительно убеждаюсь, что я поглупел. Тем лучше: глупцам принадлежат радости жизни... Это я сказал или великий философ? С точки зрения высшей философии, еще вопрос открытый: кто менее гениален – глубочайший философ с вопросами, которых не решит, или величайший глупец, который не думает о них... Это шекспировская глубина, или я олух царя небесного.

– Это со сна, – рассмеялась Зина.

– Сосна? Не олух, а сосна... Гм!

– Вы в каком-то особенном ударе...

– Да, я кончу тем, если буду продолжать так, что выйду из гимназии и поступлю в полк.

– Прекрасная карьера!

– Я так и думал. Не смею больше утруждать вашего превосходительства... Pardon, я думал, что я уже в полку вашего супруга... Знаете, анфилада комнат... Аглаида Васильевна что изволит делать?

– На балконе с батюшкой.

– Говоря простым жаргоном – «с попом»... Наталья Николаевна?

– В саду.

– Честь имею...

Корнев с заложенными руками пошел дальше.

– Я положительно чувствую себя как дома, – оглянулся он в дверях.

– И отлично, – ответила Зина.

– Очень рад...

– У нас есть, – вернулся Корнев, – один родственник, старичок. Он сошел с ума, то есть не с ума, а забыл всех. Придет к нему дочь: «Здравствуйте, папаша». – «Позвольте узнать: с кем имею честь говорить?» – «Я ваша дочь». – «Очень рад... а ваша мамаша кто?»

Зина положила книгу на колени, откинулась в кресло и тихо, бузвучно смеялась.

– Я пойду знакомиться с батюшкой: «Очень рад, а ваша мамаша кто?»

Зина пошла за ним. Выйдя на балкон, Корнев несколько мгновений стоял и смотрел на батюшку и Аглаиду Васильевну.

– Товарищ моего сына.

– Очень рад, – проговорил Корнев и покосился на Зину.

Та едва удержалась от смеха и поспешила скрыться в комнаты.

Отец Даниил, маленький, с косичкой, с большим вздернутым носом и грубым крестьянским лицом, осторожно придерживая кресло, почтительно поздоровался с Корневым.

– Выспались? – спросила Аглаида Васильевна.

– Благодарю вас, – ответил величественно Корнев и, засунув руки, стал спускаться по ступенькам в сад.

Он шел, мурлыкая какую-то песню, и бессознательно отдавался прелести чудного вечера. Сквозь деревья вырывались брызги последних лучей и, казалось, осыпали сад облаками золотой пыли. Где-то хлопал бич, неся чей-то голос, мычал возвращавшийся скот, а еще дальше, где-то в степи, замирала тихая, нежная, полная грусти и мелодии малороссийская песня. Корнев подошел к пруду и долго смотрел вдаль на греблю, на поникшие ветлы, на золотую поверхность пруда и отраженное с белыми облаками небо, вдыхал в себя с новой силой поднимавшийся аромат сада, тот особенный аромат смолистого, старого, густо поросшего сада, который смешивался теперь с сухим ароматом далекой степи. Корнев опустил голову на грудь и задумался; какие-то неясные, сладкие думы неслись легко, ласкали душу и рисовали жизнь в какой-то сказочной, волшебной перспективе. Идеалы жизни вставали в чудных, красивых образах и манили к себе. Корнев поднял голову и, точно проснувшись, оглянулся. Он не отдавал себе отчета: он положительно забылся в каком-то очаровании... Он ли это? Мог ли он думать, что с ним может произойти что-либо подобное? Может быть, он способен теперь читать и стихи Фета? Что это: недостаточная способность смертного или высший порыв человеческого организма?

«Какая ерунда», – подумал Корнев, провел рукой по лицу.

Между деревьями на скамеечке сидела Наташа, и Корнев только теперь заметил ее. При виде Наташи новая волна радости охватила его.

– Я не заметил вас, – сказал он.

– А я видела и знаю, о чем вы думали.

– Я не думал... я стоял...

– И наслаждались природой.

Наташа сидела, облокотившись о дерево, и в рамке зеркального пруда, в огне заходящего солнца казалась каким-то воздушным видением.

– Да, откровенно говоря, я совсем охвачен, очарован, подавлен... и просто нет меня. Хочу чувствовать и не могу. Думаю, и как будто не я это думаю... так кто-то, где-то... Нет, положительно такого чувства я еще не переживал. Знаете, в воспоминании и поездка наша кажется мне каким-то сплошным очарованием: мне кажется, я бог знает когда уже уехал из города. Нет, надо Тёму судя. Он там спит и пропускает прелесть...

– Засыпающего дня?

– Да... засыпающего под какую-то тихую, особенную, непрерывную музыку какого-то полного без конца оркестра. Вы замечаете? Еще немножко, и я начну стихами говорить.

– Ведите Тёму.

Карташев, проснувшись, лежал и думал об Одарке. Она ему приснилась, и взгляд ее глаз он еще ощущал в душе. Из гостиной доносилась музыка Мани, игравшей «La donna e mobile».⁷ Он вспомнил, как, бывало, в детстве, сидя на окне, под вечер, любил слушать шарманку, игравшую эту арию; кусок сыра был так вкусен, и так нежно-тоскливо замирала последняя нота в гаснувшем дне... Он встал, вышел в другую комнату и, наткнувшись на открытую книгу о Данте, увидел стихи, присел и начал читать. Ему понравились две строчки, и он, сидя же, их выучил. Еще одни были длинные стихи, они тоже пришлись ему по вкусу, и он принялся и за них.

– Ты не спишь? Я думал, ты спишь, – сказал, входя, Корнев. – Идем на пруд. Ты, как поэт, совсем ошалеешь.

– Какой я поэт? – обиделся Карташев.

– Ну, брось... Я совсем в каком-то особенном состоянии. Ничего подобного я не видал... Действительно, природа имеет свою неизъяснимую прелесть.

– Природа... а любовь?

– Рыло!

Когда они пришли на пруд, солнце уже село, и весь запад горел прозрачным, красным огнем. В этом огне, в красном просвете, деревья точно замерли. С пруда слетела позолота, но пурпур запада еще фантастичнее отражался в зеркальной поверхности. Легкая дымка подымавшегося тумана смешалась с отражением, сливалась с окружающими предметами и придавала им ту таинственную прелесть, когда действительность уже сливается с прихотливыми и нежными узорами фантазии. Карташев потянул в себя всей грудью воздух и какими-то пьяными глазами смотрел вокруг. Одарка чувствовалась в каждом штрихе.

Он начал декламировать только что выученные итальянские стихи.

– Так и есть: сразу на разных языках начал, – сказал Корнев. – Ну переведи.

– «Я так устроен, что пишу, когда меня вдохновляет любовь; смотря по тому, что она диктует внутри меня самого, я то и повторяю».

– Откуда это?

– Из Данте.

– Ты разве знаешь итальянский язык?

– Я не знаю его, но я знаю, что это мой девиз в жизни.

– Но у Данте, – сказала с грустью Наташа, – была только одна Беатриче.

– У него будет их двести! – махнул рукой Корнев.

– Двести?! – спросил Карташев. – Ах, черт возьми! Мефистофель, ты должен быть здесь. Ты в этом огне. Ты зажигаешь кровь очарованьем. И жги! Давай мне все, что может дать жизнь, и, черт с тобой, плачу тебе вечностью!

– Безумный Тёма, – произнесла, подымаясь в каком-то ужасе, Наташа, точно Мефистофель уже стоял перед ее братом.

– О да! да! – весело закричал Карташев. – Одно мгновение без удержу, чтоб все охватить, всю жизнь, все постигнуть, и к черту ее, как не годную больше дрянь!

Корнев не мог не отнестись критически:

– Так для чего тебе это мгновенье? для личных целей?

В кустах, по дороге в деревню, вдруг мелькнула Одарка. Сердце Карташева замерло в исто-ме.

– Но любить все-таки нужно? – загадочный, счастливый, сверкнул он глазами, – если любовь в сердце – мир побежден!!

– Любовь, любовь! – недовольно заметила, появляясь, Аглаида Васильевна, – вы, господа, совсем опьянели.

– Какие глупости тут Тёма говорил, если б ты знала, – сказала Наташа, – совсем с ума сошел!

⁷ «Сердце красавицы склонно к измене» (*ит.*) – ария герцога из оперы Верди «Риголетто».

Взгляд Карташева ушел в небо и остановился на горевшем облаке.

– Мама, смотри в небо: вон лев держит в зубах какую-то девушку... вон тает, расходится... корона... гроб... Это моя судьба! Женщины! В них царство и смерть, ужасная смерть... смерть искупления. Согласен! Смерть, какую только может выдумать человеческая фантазия...

– Тёма, глупости! – прикрикнула Аглаида Васильевна.

– Да, да! Я должен погибнуть, иначе из меня ничего не выйдет.

– Он совсем с ума сходит, – любясь братом, заметила Наташа.

– Дай пульс, – серьезно сказал Корнев и, сделав озабоченный вид, стал щупать пульс.

– Поздно! – вырвался Карташев и, скрываясь за деревьями в прозрачной темноте красного зари, закричал: – Сатана уж со мной, и я подписываю договор.

– Тёма! – раздался грозный оклик Аглаиды Васильевны.

– Ха-ха-ха! – ответил Тёма смехом Мефистофеля.

– Ха-ха-ха! – уже дальше и глуше пронеслось.

– Ха-ха-ха! – возбужденно и глухо замерло в саду.

Карташев остановился и оглянулся. Что-то особенное было в воздухе: деревья теснее сводили свои вершины; едва горело где-то там, в темной бездне, и казалось отверстием в преисподнюю. Сумерки сменялись быстро разливавшейся темнотой. Что-то уходило или подходило, что-то беззвучно, таинственно пряталось в темноте неподвижных кустов, в непроницаемой тени деревьев. Звонко трещали кузнечики, ярко мигали светляки, что-то трогало лицо... Подкрадываясь ароматная ночь сразу охватила своими жгучими объятиями, влила тревогу и истому, и возбужденный Карташев прошептал:

– Ну что ж, если я люблю?

Он побежал дальше. Тревога разливалась по его телу. Он чувствовал робость от встречи и твердил, замирая:

– Надо, надо, потом будет хорошо, – и бежал дальше.

В темноте обрисовалась фигура Одарки. Собрав остатки мужества, он догнал и обнял ее. Одарка испуганно рванулась. Он смутился, вторично поймал ее и взволнованно произнес:

– Одарка, хочешь быть моей женой?

– Пустыть, панычику! – вырываясь, резко ответила Одарка.

– Хочешь? – уже испуганно спросил Карташев.

– Панычику, пустыть! – настойчиво повторяла Одарка.

Карташеву начинало казаться, что это не он стоит и обнимает Одарку, и не Одарку, а что-то грубое, чужое, с скверно пахнувшим к тому же платьем.

Он тоскливо-стесненно заговорил:

– Одарка, я люблю тебя... Одарка, ты... ты, Одарка... ты хохлуша, и я хохол... я буду тебя любить... Хочешь?!

– Ой, панычику, пустыть... Конон зобачит...

– Конон? зачем Конон? он твой жених?

– Так вже ж...

– Я не знал, – растерялся Карташев, – а ты?.. ты любишь его? – Одарка опустила глаза.

– А вже ж люблю, – ответила она тихо, в недоумении поднимая плечо.

Карташев почувствовал себя в роли Дон-Кихота. Он быстро проговорил:

– Ну, любишь, так что ж тут. Ты скажи Конону, что я не знал.

– Та я ему ничего казати не буду. Пустыть, панычику.

Карташев обиделся.

– Нет, скажи, – я не знал. Что ж, если любишь. А я тебя все-таки буду всю жизнь любить.

– Пустыть, панычику.

Карташеву было жаль выпускать Одарку.

– Можно тебя еще раз поцеловать?

– Ой, боюсь, панычику.

Карташев выпустил Одарку.

– Ну иди...

Одарка ушла и даже не оглянулась, а он остался.

– Как это все глупо вышло, – громко вздохнул он.

Он подождал, пока затихли шаги Одарки, и медленно пошел по дорожке...

– Ну, начинайте.

Корнев перестал петь и покорно заговорил:

– Горю, горю пень.

– Зачем горишь?

– Тебя хочу.

– Не «тебя», а «поймать хочу».

– Поймать хочу.

– Кого?

– Тебя самого.

– Вы никогда так не поймаете!

– Да, – раздумчиво согласился Корнев, возвращаясь один.

– Ну, становитесь опять.

Корнев снова запел.

– Да вы хотите играть?

– Обязательно.

– Тёма, будем в горелки? – закричала Наташа, увидев фигуру брата на террасе.

– Не хочется, – ответил Карташев, садясь в тени террасы.

– У Тёмы всегда контрасты, – раздался недовольный голос Зины.

К Карташеву подошла Аглаида Васильевна.

– Тёма, как можно такие глупости говорить, – с мягким упреком сказала она.

– Я шутил же, – устало, без возбуждения ответил Карташев.

– И шутить такими вещами не надо. У меня просто сердце сжалось. Такой глупый мальчик. Я так и вижу тебя в жизни... так сам беду на себя и накличешь.

Мать ласково гладила голову сына. Карташев, пригнув шею, молча смотрел в сад. Аглаида Васильевна постояла еще и ушла в гостиную. Мягкие звуки рояля понеслись в открытые окна в сад и слились там в одно с живой возбужденной ночью, с волнами света из окон. Карташев подсел к окну и, увидев на нем стихотворения Алексея Толстого, машинально раскрыл на переводе из Гейне:

Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно,
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства – все было прекрасно.

Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье,
Хоть нет театрального хламу,
Доселе болит еще сердце мое,
Как будто играю я драму!

Карташев оставил книгу и упорно, задумчиво смотрел в сад.

«Отчего я вообразил, что Одарка меня любит?! Схватил... грубо... набросился. Как все это глупо и пошло!»

Он встал. Его потянуло к письменному столу.

Он ушел к себе в комнату. На зеленом с пятнами столе мирно горела лампа под абажуром, что-то точно махало из темного окна, было чисто, тихо и светло. Он сел в кресло перед столом и, полный нахлынувших ощущений, с карандашом в руках и белой бумагой перед собой, задумался, с чего начать. Он нерешительно грыз карандаш. Осторожно, точно делая преступление, написал он первую строчку. Немного погодя он уже ожесточенно то писал, то смотрел вперед, отыскивая

рифмы. Потом, зачеркнув все, он задумался и сразу написал:

Сердце рвется на простор,
Сердце ищет дела,
А живешь, как жалкий вор,
Глупо и несмело.

Он прочел и оборвал сам себя:

– Глупо! И стихи плохие, и, собственно, какой простор и какое дело? За Одаркой ухаживать?

Он сам себе в эту минуту напомнил свою мать и еще строже заглянул в свою душу: фальшь! – повторил он и, зачеркнув, написал:

Фальшивый, жалкий человек...

Опять зачеркнул и вновь написал:

Промчится жалкий век бессилья, –

но, заслышав шаги Корнева, он поспешно скомкал все написанное и выбросил в окно.

– Ты что тут?

– Да так... хотел было...

– О-о-й!

Карташев тоже рассмеялся.

– Ужинать-с пожалуйста, – заглянул Степан.

– Эх, здорово засну, – сладко зевнул Корнев, идя за Карташевым в столовую.

Дни шли за днями в приятном ничегонеделанье, в еде, прогулках по саду, пении и изредка, когда все надоедало, чтении вслух. Иногда ездили в поле, устраивались кавалькады. Корнев сперва энергично отказывался, но потом сдался и даже увлекся верховой ездой. Он выбрал себе совершенно простую лошадь Буланку и был счастлив, когда Буланка, после энергичных и комических понуканий, пускалась в галоп. Тогда он, подпрыгивая и направо и налево, и взад и вперед, работая локтями, победоносно смотрел вокруг и предоставлял смеяться над собой желающим, сколько им было угодно. Если ветер срывал его шляпу, он подвязывал ее носовым платком, отчего горбившаяся его фигура делалась похожей на фигуру бабы. И это его нимало не смущало.

– Смешно? – спрашивал он небрежно и обращался к своей лошади не то с приказанием, не то с сомнением: «Но-о!» – а когда убеждался, что Буланка и на этот раз была так же глупа, он ожесточенно ударял ее плетью и уже властно кричал: «Но, животное!»

Они ездили на сенокос и пашню. Иногда Карташев принимался экзаменовать Корнева и спрашивал его, какой тот или другой хлеб. Корнев путался и постоянно становился в тупик. Когда ему надоедало, стоя перед полем, напрасно ломать голову, он кончал:

– Ну, и убирайся к черту! Так и напиши в своем сочинении, что я, восемнадцатилетний болван, не только не знаю где, и что, и какой это хлеб, но если б ты стал божиться, что жареные булки растут прямо на дереве, то и то поверю.

– Не жареные, а печеные, – поправляли его.

– Ну, хоть вареные!.. Что в самом деле пристали?

Однажды, проснувшись после обеда, Корнев, грызя ногти, сказал Карташеву:

– Послушай... Сколько времени мы уж в деревне, а, собственно, я почти еще никакого представления о деревенской жизни не имею. У нас как-то удивительно изолированно устроена жизнь от всей остальной деревенской обстановки.

– Общая помещичья. Ты напрасно не хочешь к батюшке ходить, – он ближе к деревне, – ответил Карташев.

– Так что ж? Я, собственно, по принципу, а то отчего же? Пойдем хоть сегодня.

Но в этот день посещение отца Даниила не состоялось: приехал Неручев и провел весь вечер. Сперва его чистый, даже щеголеватый вид, немного заносчивая манера оттолкнули было Корнева, но жажда впечатлений заставила его насторожиться.

– Пожалуйста, господа, – успела предупредить Аглаида Васильевна, – не травите моего Неручева: помните, что он гость.

Неручев держал себя с достоинством, но вежливо и охотно вступал в разговор. Корнев старался подбирать нейтральные темы – расспрашивал об урожаях, о хозяйстве, о крестьянах. Неручев говорил с видимым знанием дела, жаловался на отсутствие инициативы, указал на многочисленные опыты в своей деревне. Коснувшись крестьян, он отметил, как главное зло – отсутствие образования.

– Это совсем культурный человек, – изумился Корнев, когда уехал Неручев.

– Его отец был замечательный человек, – заметила Аглаида Васильевна, вскользь бросив взгляд на Зину.

– С виду это хлыщ, – сказал Корнев. И, раздумчиво принимаясь за ногти, он закончил, пожав плечами: – Как можно иногда ошибиться.

Неручев, уезжая, действительно звал осмотреть его усадьбу, в которой много было старинных редкостей.

В условленный день Аглаида Васильевна, Зина, Корнев и Карташев поехали к нему в коляске четверкой.

Это была очень большая нарядная усадьба в чугунной высокой ограде. Двухэтажный дворец раскинулся посреди двора, и, огибая зеленый круг, дорога заканчивалась у такого подъезда с зеркальными окнами, каким мог бы щегольнуть любой барский дом-особняк в Петербурге. Навстречу высыпал целый штат прислуги: тут были и лакеи в штиблетах, синих фраках с большими металлическими пуговицами с графскими гербами, и лакеи просто в черных фраках, горничные в чепчиках и просто босые девки. Неручев в своей богатой обстановке произвел еще более сильное впечатление дельного барина, умеющего соединить любовь к роскоши с деловитостью, не уступающей даже крестьянской: он говорил, что сам умеет и плуг починить, и плотника поймать на всякой плутне, а что касается хозяйства, то он в курсе всех мелочей и ведет все сам. Корнев даже с удовольствием пожал ему на прощанье руку, совершенно подкупленный главным образом тем, что Неручев постоянно отзывался о крестьянах с симпатией. Вскользь даже как-то выяснилось, что Неручев им уступает все за полцены.

– У вас тоже так? – спросил Корнев, когда они возвращались домой.

– Я не знаю, – ответил Карташев.

– Но отчего же он разоряется?

– Неурожаи... Но в этом году он совершенно поправил свои дела, – ответила Аглаида Васильевна.

– Он ничего... красивый, – сказал Корнев и покосился на Зину. Аглаида Васильевна сделала суровое лицо и молча, строго смотрела в поле. Корнев сконфуженно замолчал. Зина едва приметно улыбнулась и загадочно смотрела куда-то вдаль.

Корнев грыз ногти, посматривая мельком на Зину, старался уяснить, нравится ли ей Неручев, и представлял ее в роли madame Неручевой. Он с любопытством искал в ее лице, глазах чего-нибудь такого, что помогло бы ему разобраться. Зина знала, о чем думает Корнев, ее разбирал смех, и она, в свою очередь, также его наблюдала, но не подавала и виду.

XIII

Отцу Даниилу восемьдесят четыре года. Дни за днями идут, проносятся годы в вихрях зимних метелей, аромате бузины, полевых цветов, темных вишен тенистого сада, а в маленьких, с запахом васильков и других пахучих трав, комнатах отца Даниила все то же. Все такой же и отец Даниила: выдуло его ветром, выжгло солнцем, загар так и не сходит с лица, как и запах васильков не оставляет его. Старая рука потемнела и высохла.

Привыкли к нему крестьяне: без него и праздник не в праздник, и жнитво не в жнитво. Возь-

мет в руки колос, разотрет, сдует с зерна шелуху, оставит ладонь и смотрит – и дивчата и паробки притихли, следят с открытыми глазами и ртом, как смотрит старый поп, а с ним и все его восемьдесят четыре года, выдавшие всякие хлеба на своем веку, еще при отцах их и дедах, а то и прадедах. Вся вечность для них в этом высохшем попе, и чрез него одного их связь со всем, что отделяет их степи, их Высь, их деревню от всего остального, что есть и на земле и на небе. И не только того, что есть, но что и было. Никто так, как отец Даниил, не сумеет вспомнить и рассказать, что и как было.

Помнил он время, когда воз с солью и волами стоил два рубля, помнил, когда солдаты еще пудрили мукой свои косы, помнил времена гайдамачины и сам угощал знаменитых когда-то в околотке разбойников: Калиша, Явтуха и Перестрила. Даром что безбородые еще были, а вся округа дрожала от одного их имени, и не чета им теперешняя мелкота, хоть бы и тот самый Конон. Помнил все отец Даниил и умел рассказать о старине, о том, что было, что в землю ушло, – как говорил он, – из чего, как из корней, цветет и зеленеет веселая жизнь.

Не одни крестьяне любили слушать старого летописца: собирались издалека послушать его. Бывало, метель злится, и крутит, и стучит в маленькие окна его дома, а в домике тепло и уютно. Накормит отец Даниил своих гостей чем бог послал – варениками со сметаной, молочной лапшой, а то и борщом с уткой, с кусками прозрачного вареного сала, и поведет их спать в отведенную для них комнату.

Тут уж чиниться не перед кем, да чинись не чинись – всем одна честь: всем сена довольно, все на полу в ряд, а батюшка у порога. Перед ним каганец, а в каганце сало, в сале фитиль. Сидит батюшка, оправляет горящий фитиль, – сальные свечки еще роскошью тогда были, – тискает сало и говорит о том, что было. Облокотившись на локти, гости нюхают то ароматное сено, то копать каганца и слушают. Какой-нибудь молодой городской франт забудет и про красный галстук свой, и про барышень, которые в церкви так охорашивались да бросали на него ласковые взгляды. Качается неровное пламя, падает на старое лицо батьки, на его косичку, падает на слушателей, заглядывает в темные уголки, точно ищет испуганных следов того, о чем рассказывает неказистый старый поп. И в сенях слушатели: паробки и дивчата, хоть и лузгают семечки. Изредка батюшка прикрикнет в их сторону: «Цыц, вы!» – и продолжает свой рассказ.

Начнет, бывало, еще с Запорожской Сечи, когда ключом была жизнь и волнами доходила и до Выси. О том ему еще дед передавал. Сам же он пришел на Высь как раз тогда, когда прадед Аглаиды Васильевны, из Черногории, в начале нынешнего столетия получил это поместье в дар и выстроил всю эту усадьбу, которая и сейчас стоит.

– Ото детками Аглаиды Васильевны и кончится проклятие. Только первого из их роду и не видел я, того полковника, что беду накликал на весь свой род. А было так дело. В турецкую кампанию тысяча семьсот семьдесят второго года штурмовали в Болгарии один греческий монастырь. Уж господь его знает, как, из-за чего, только монастырь не сдавался, да и полковник тоже крутоват был... Отлички, может, хотел, а то просто огненный воин был: разгорелся, и дело до штурмана дошло. Ну, что же? монастырь не крепость, и монахи не воины – в развалину весь монастырь обратил. А все-таки еще не взял, бо ночь пришла. Ну, до свету отложили дело. Готовится войско. Не спят. Ночь темная, хоть глаз выколи. Пялят часовые глаза. Ну, что же? смотри не смотри – развалины, развалины и стоят; только что сумно: оно, конечно, сказать – святыня... Только вот в полночь вдруг звон – тихий, жалостливый, как по покойнику... И звон с часовни идет, а часовни уже нет – развалили... Пение погребальное... Ближе да ближе... Не про смертное сердце то пение бывает. Не доведи его никому господь услышать. Еще ближе – огонь показался, факелы, а тут и процессия – в саванах... идут да поют. Услышал и полковник, выскочил, хотел было скомандовать, да нет... посильней хозяин сыскался... так и остался, будто пришибли его. Прошла процессия на стены. И слышат воины чей-то голос – проклятие читает войску всему и полковнику, а ему и с потомством до шестого поколения. Кончил голос, и все пропало. Нет ни монахов, ни процессии... опять темно. Развалины одни. Повскакали воины, поглядели друг на дружку: не то было, не то виденье какое... Утром на приступ – никого... точно провалились куда монахи. Обыскали весь монастырь, в пещеру спустились... глядят: лежат в саване в ряд монахи – и все покойники. Вот он: и славы нет, и душу загубили. Так с похода никто и не вернулся, а того полковника турки захватили и на

кол посадили. То первый был...

Второй-от той, что дом тый соорил, крутой же, скупой был. Так шел слух, что только-только не повесили его в милиции. Деньги, бывало, в лесу держал. Каждый год уж в страстную пятницу едет новую кучу зарывать... Раз этак копал он, а тут откуда взялся ворон, да прямо над ним и закаркай. Поднял он голову, ворон на ветке сидит, смотрит в него человеческими глазами, машет ему крыльями. Так он и обмер, домой приехал уже без языка – и свалился, а через три дня и богу душу отдал. Только уж перед самой смертью опамятовался, языка нет... Потыкал, потыкал пальцем меж тремя пальцами в другую руку: дескать, меж трех деревьев деньги в лесу, да где же их сыщешь? Везде во всем лесу все три дерева.

– А как узнали, что ворон над ним каркал, когда он без языка приехал?

Старый батюшка не любил перерывов...

– Я говорю, что~ знаю... как да как... не следствие с меня снимаешь...

У этого, что вот помер, сын в гвардии был, женатый, тоже полковник. Приезжал на похороны. Молодец, высокий, ус черный, длинный, глаз черный, одна природа у всех. Так через год, не больше, слышим, трах! застрелился... неизвестно с чего. От него четверо осталось детей: сын да дочь, да сын еще, да вот мать Аглаиды Васильевны. Эти вот сын да дочь с матерью в этом доме жили. Мать-то, господь ее знает, не то больная... слабость ли в ней к детям была... Видная из себя, глаза голубые... вот как вижу. Придворная дама. Войдешь: не знаешь, куда и косичку свою сунуть от робости – так с виду царица, а обходительная... И детки-то, а-ах! и сын и дочка красоты удивительной: она в мать, он в отца. Жили они в детстве особняком друг от друга: обоих где-то там у французов образовали. Съехались тут уж, в деревне эти-то двое... не наглядятся друг на друга... за руку ходят, говорят, говорят, по-французски всё... по саду ходят... В степь верхами... она по-дамски боком, а он на этаким корытце сидит... просто так вот, как ладонь, и маленькое... хорошо ездили, твердо в седле сидели, даром что вот как и удержаться не за что. И лошадка у него была – аргамак породой, ушки стриженные, картинка лошадь, а нравом – дьявол... никто, кроме него, и не подумай сесть. А он вскочит, и не знаешь, на кого и смотреть: у коня – глаза загорятся, и пойдет под ним выделявать штуки, а он качается в седле, словно прирос... вот будто игрушка им обоим... сердце радуют друг другу, а уж чего? на моих глазах берейтора этот аргамак сбил, так просто, с одного маху... берейтора! А этому и горя мало. А на сестре лица нет: смотрит, не оторвется...

Ну, и досмотрелись! Что уж там было, не знаю. Одним словом, гадость этакая вышла, и кончилось тем, что она в пруде утопилась, а он на нижней аллее в саду, у самого колодца, на дереве удавился. И мать тут же в этот день за ними скончалась. Кто, сердце, говорил, разорвалось у нее с горя, а кто прямо, что у нее яд в флакончике был приготовлен. Темное дело... все-таки ее похоронили по обряду, а тех двух так в одном гробе у дороги и зарыли... потом уж часовню поставили... Рассказывают в народе... уж, конечно, выдумают несогласное с религией... ну, да уж и говорить не приходится об этом, да и знать доподлинно, как и что, никто не может: думаем мы человеческим умом и так и этак, а помер, все по-иному, конечно, выходит...

И мать Аглаиды Васильевны – эта другая дочка – тоже так пропала; с мужем развелась... дочка тут, эта самая Аглаида Васильевна родилась. Мать-то ее еще из первых в губернии была... Государя в этом самом доме принимала. Когда умерла, так за комодом, уж не скоро, бриллиант вот с орех сыскали. А брат ее, дядя Аглаиды Васильевны, помер уж вот в Балайхуре, верст пятьдесят отсюда жил; это прежде всё их же земли были... грани там городами означались. Страшное богатство было! Этот вот Антон, что в Балайхуре, несметно же был богат и хозяин хороший. Бывало, все толковал, что корень зла всякого – ученье... человек, дескать, выучится и сам не знает, чего и хочет... Вроде того, что ум за разум зашел у него... так он детям своим никакого образования и не дал, только что грамоте... Господи, с этаким богатством... только-только свою фамилию подписать могли. При этом говорит: богатому и без ученья можно прожить. А ведь наука не простой головой удумана – можно сказать, все нации, все народы друг перед дружкой вытягиваются. Ему одному облегчение пришло... Ну что ж? Твоя воля на все... А детей у него всех восемнадцать человек было да незаконных всяких еще... Всех поровну поделили. От этих опять пошли... Сейчас в одной деревне их человек пятьдесят. Богатство, что было, растрясли, осталась земля только,

и ту в залог пустили. Тут воля подошла, и вовсе осели... И народ! Ни господа, ни мужики: разврат пошел, содом и гоморра... мерзость запустения... Простой мужик перед ним, как земля от неба, отличается. А все уж как наладились, так и пошли: обман, сутяжничество, зависть да разврат... Тьфу, прости господи... Так иной раз думаешь: как-то теперь Антон Иванович с того света на дело своих рук глядит... А може, и не думает: наделал дел, а уж тут как знаешь, так и расхлебывай... И расхлебать-то, главное, нельзя.

– Ну, а у Аглаиды Васильевны, слава тебе господи, кажется, покамест?..

– Срок-то еще не вышел... Сама ведь она, положим, ой-ой, баба... умная. А ведь и то сказать: прежнего нет уж. Только вот Благодатная. А Божий Дарик, Арсеньевка все ведь у чужих людей. А земли какие были! Помню, бывало...

И пойдет батюшка рассказывать, что он помнит. Слушают гости, слушают и сами не заметят, как заснут и храпят так, что и себя перестанет батюшка слышать.

Посмотрит он потухшими глазами, вздохнет и сам пойдет на боковую. Вспомнит, что недолго уж и ему скрипеть на белом свете, что скоро останется он вот так же один в своей пустой могиле, и заворчит:

– Эх-хе-хе... так-то вот и живем и все думаем, что по нашей воле все так и этак сходится – все умно... А как станут люди разбирать после тебя, что к чему, – тут-то и помянут тебя, умного, вот не лучше, как Антона Ивановича... Прости господи!

Корнев и Карташев стали часто заходить к отцу Даниилу и, сидя за маленьким чайным столом с веселым самоварчиком в густо поросшем саду, любили слушать интересные рассказы старика. Рассказчик вскользь касался прошлого семьи Карташевых и останавливался только на светлых воспоминаниях, но о соседях говорил все, что знал.

Рассказывал об отце Неручева, которого крепостным был повар Тихон, рассказывал, отчего у Тихона лысина образовалась.

– Там у них в усадьбе есть такая приступочка: со двора, как раз под окнами столовой. Вот как обед начнут подавать, бывало, Тихон уж и стоит на своем эшафоте: борщ там или суп испорчен – прямо на голову. А то и на конюшню сведут...

Корнев грыз ногти, внимательно слушал и осторожно подбирался с вопросами к батюшке, желая выяснить то, что его интересовало.

– Что ж, – говорил он небрежно-равнодушным голосом, – конечно, если виноват, так нельзя и без наказания... Но это все-таки был уважаемый человек?

– Уважаемый, пока жил. Можно сказать, первое лицо был на всю губернию: уж что он скажет – так уж закон. Там это насчет порядку, как с народом, насчет строгостей... Или в проповеди... ну, как-нибудь не тем словом обмолвишься – и слушать больше не станет: уйдет из церкви. И жди от архиерея... Фальшивый был человек. И вот какое дело: и мужики у него такие же вышли – на словах одно, а в деле все фальшь. Хуже теперь его мужиков нет – пьяницы, воры, ну, просто постыдный народ...

Однажды Корнев пришел один.

– Ну, а теперешний Неручев? – спросил он.

– Да и теперешний хоть... Тоже фальшивый человек... Только та и разница, что тот жмот, скупой был, а этот пыль в нос пускает, покамест все не распылит.

– Он хвалится.

– Да ведь за похвальбу денег не платят. Кто себе враг? не по словам, как говорится, а по делам.

– Он говорил, что за полцены все отдает крестьянам?

Отец Даниил пренебрежительно махнул рукой:

– Пустое!.. школу бы хоть устроил. Тут вот только Деланкур, что о крестьянах позаботился: школу им устроил, больницу, для младенцев покой устроил, когда в летнее время бабы в поле... А остальные так потерялись... по нынешнему времени прижаться надо: кто тратил рубль – двадцать пять копеек тратить надо, а они – все как шло у них, так и идет. Ну, уж тут какой конец?

– И много разорилось?

– А кто остался? Конца-краю нет разоренью...

– Кому же земля переходит?

– Да так – с торгов купцам... больше того немцы скупают. Ну, этим уж что в руки попало, то пропало...

Раз Карташев спросил отца Даниила:

– А нами мужики довольны?

Но отец Даниил уклонился от прямого ответа:

– Да ведь как сказать, – на всех и солнышко не угодит.

У Карташева зарождалось какое-то смутное беспокойство насчет того, что не все так хорошо, как это кажется с виду в отношениях крестьян к ним. Но попытки уяснить себе не приводили ни к чему; все было так, как было, и как могло бы быть иначе – ни ему, ни Корневу не представлялось. Что «идеала» нет – ясно, конечно, с первого взгляда: не было не только больницы, но и школы, хотя в деревне считалось двести пятьдесят дворов. Аглаида Васильевна уклонялась от прямых ответов на такие вопросы, но как-то, рассердившись и улучив минуту, когда была одна с сыном, заметила раздраженно:

– Тёма, ты точно в гости приехал: наивничаешь перед Корневым о школе и словно не знаешь моих дел. Для школы нужно в год не меньше пятисот рублей. Я могу их дать, отказав кому-нибудь из вас в образовании, – так выбери, пожалуйста, кому же именно? Или мне прикажешь отказаться от того, что я себе позволяю?

Карташев знал, что мать всегда и во всем себе отказывала: он знал, что она почти ничего себе не делала из туалета, разнообразия и подновляя богатый запас молодости. Ее шуба с очень дорогим мехом черно-бурых лисиц давно уже требовала перемены бархата, и дети часто к ней приставали насчет этого, но Аглаида Васильевна и слышать не хотела. Она перестала даже держать лошадей в городе и таким образом отказывала себе в последнем удовольствии. Карташеву было неприятно, что он неосторожно затронул болезненное место. Он поспешно проговорил, искренне и горячо:

– Тебе, конечно, где же... Но отчего же земство?... О чем оно думает?

– И земство не всесильно... расход земства кому-нибудь тоже надо нести на себе... Все это не так просто. Вот подыметесь повыше, бог даст, – тогда и увидите все то, что теперь без перспективы и связи мозолит ваши глаза.

Попробовали Корнев и Карташев за Конона Львовича братья по интересовавшим их вопросам, но тоже немногого добились. По мнению Конона Львовича, мужики – это такой народ, которому хоть все отдай и все мало будет, – народ неблагодарный, завистливый, враждебный. Все это понятно, надо им делать все, что можно, но неблагодарность – это факт. И он приводил примеры. Конон Львович говорил тоном человека незаинтересованного, которому ни потерять, ни выиграть нечего. Отец Даниил, по его мнению, человек «себе на уме», хитрый и умеет выводить свою линию, и это тоже, конечно, понятно: его судьба зависит от крестьян, оттого он им и мирволит, но, в сущности, только ловко эксплуатирует их невежество. Тон Могильного был авторитетный и независимый. Так же независимо он держал себя и с Аглаидой Васильевной. Честность его, деловитость были на виду. Все это действовало, вызывало сомнения, а факты ставили окончательно в тупик. Узнав, как отец Даниил говорил об отце Неручева, Аглаида Васильевна доказывала, что отец Даниил просто-напросто наклеветал на Неручева.

– Это был человек идеи, замечательных способностей, и, вне всякого сомнения, если бы посвятил себя государственной деятельности, он выдвинулся бы не только между современниками, но и в истории занял бы одно из самых первых мест. А что он был человек своего времени, то и вы оба не последнее слово принесли с собой на землю.

– Но ведь он был и против освобождения крестьян даже? – возразил Корнев.

– Великим людям свойственны и заблуждения великие.

– Собственные заблуждения – я согласен. Но если эти заблуждения хлам веков, из которого сильный ум не может выбраться даже тогда, когда малые переползли через них, то это не великий ум. Какой же это государственный человек? Фальшивый человек, который из своих личных расчетов поддерживал несправедливое положение вещей, подтверждая его не наукой человеческой

жизни, не лучшими стремлениями человеческой природы, не религией наконец, а просто пальцем, приставленным ко лбу, гнусным насилием. Такой человек может иметь только значение Аракчеева, – пока живет. Это не государственный человек.

– Нет, нет, господа, вы противоречите сами себе: вы говорите о пальце, приставленном ко лбу, а сами ничего, кроме этого пальца, пока не имеете. Государство вам представляется очень простой машиной.

– Напротив, очень сложной – никто и не думает браться за нее, но судить об искусстве управления может всякий.

– Но не гимназист. Не было с сотворения мира еще государства, где бы решителями и судьями являлись юноши. И, прежде чем такой юноша станет судьей, он должен научиться уважать то, что собирается принять в свои руки: этим он обеспечивает, в свою очередь, уважение и к себе своих преемников.

– Обеспечивает рутину, – ответил Корнев. – Впрочем, конечно, все это сложно...

Корнев принялся за свои ногти.

– Но, возвращаясь к частному случаю, к Неручеву, мне кажется, что правильнее всего остановиться на том, что это был эгоист, фальшивый и непрозорливый человек.

– Вот, почти ничего не зная о человеке, вы подписали ему приговор. Так и с вами поступят в жизни: «Аще какою мерою мерите, такой и вам отмерится...» Я, по крайней мере, говорю вам, что имя старика Неручева одно из самых уважаемых имен нашей губернии, и если оно не стало общерусским, то причиной этого только его увлечения в молодости, – он был декабрист и в свое время был, может быть, стремительнее и прямолинейнее вас.

– Остается пожалеть, – вздохнул Корнев, – что таким и не остался.

– Вот вы и останьтесь.

– Несомненно... выбора быть не может из двух положений: Аракчеева и...

– Ну и отлично... Но по поводу ваших будущих исканий источников, из которых вы станете черпать свои сведения, я вам дам совет: дело в том, что источников в чистом виде, то есть дистиллированной воды, не бывает в природе. Во всякой есть своя подмесь, и ее, по крайней мере, знать надо. В источнике отца Даниила два недостатка и даже три: это человек, которого горизонт – эта деревня, неразвитой, он в силу вещей немного сплетник, потому что у него нет никаких интересов и он живет чужими, а так как только свои дела знаешь точно, в чужих же всегда будет неясность, то все сводится к случайной, сплошь и рядом, сплетне, безнаказанно гуляющей по свету...

– А зачем же устраивать такие потемки, чтобы было все неясно: раз его дело честно и в интересах других, то, казалось бы, чем больше гласности, тем лучше. Иначе одно из двух: или человек действительно даром терпит, или же делает гадости, еще изображая из себя некоторым образом непонятого героя...

– Все это фразы... Какая тут гласность в частной жизни? Газету ему, что ли, издавать для вас? Все оттого, что слишком прямолинейно судите... Наконец, у отца Даниила есть еще недостаток, с которым надо считаться. Это общий недостаток нашего духовенства: они не крестьяне, они не дворяне и одинаково, как люди, чужды тому и другому сословию. И третий недостаток, о котором особенно тяжело говорить: отец Даниил алчен... Вы можете проверить это у любого крестьянина.

Факты алчности – при взимании за требы – были налицо: крестьяне охотно делились ими с Корневым и Карташевым. Сам отец Даниил отдалился вдруг от них, стал сдержаннее, уклонялся от рассказов и только угрюмо смотрел, когда они появлялись в его маленьком домике. В конце концов мало-помалу в глазах Корнева и Карташева отец Даниил превратился в обыкновенного старого жадного попа, со смертью которого округа избавится от хорошо присосавшейся пиявки. Они больше не интересовались ни им, ни его рассказами.

XIV

Все попытки Корнева ознакомиться с положением крестьян сводились как-то сами собой к нулю. Усадьба хотя и была вблизи деревни, но вся жизнь ее так разнилась от остальной деревен-

ской, что общего ничего не было. Случайные встречи с крестьянами и разговоры с ними были бесцветны и несодержательны. Вскользь высказываемое иногда крестьянами неудовольствие, по обыкновению намеками, не понималось молодыми людьми и всегда оставляло впечатление какой-то мелочи. Это было понятно: разговоры крестьян с Корневым и Карташевым, которые не имели даже элементарных сведений о том, что такое крестьянская жизнь, выходили разговором на двух разных языках. Переводчиком здесь являлся Конон Львович, и как будто подтверждалось, что крестьяне действительно народ тяжелый и, в сущности, сами не знают, чего хотят.

– Верно, сударь, верно, – вмешался как-то в разговор Степан, поймав кое-что из слов Корнева с Карташевым. – Народ необразованный, сам себя не понимает. Вот этак все бы мутить да дурью голову забивать. А как вот и последнее отберут, вот тогда и научатся благодарить да добром поминать...

Из молодых крестьян двое особенно останавливали на себе внимание: Конон и Петр. Конон слыл за беспокойного и даже бунтовщика. Он всегда был недоволен и всегда находил поводы ворчать. Это был *bête noire*⁸ Конона Львовича, хотя управляющий, в общем, и старался относиться к своему тезке добродушно. Но он часто говорил, что даже и его долготерпению придет конец.

– Просто сладу нет: один, а всех мутит.

Петр был полной противоположностью Конону. Один его вид уже действовал успокоительно: это был большой, хорошо сложенный блондин с светлыми глазами, которыми он весело и мягко шурился на свет божий. Все было, по его мнению, хорошо, а что и случалось нехорошего, то всегда было скоропреходяще и там, где-то за этим дурным, уже должно быть, наверное, и хорошее. Конон видел только отрицательные стороны, их и искал. Петр видел одни положительные и точно не замечал отрицательных мелочей жизни. Петр был общий любимец, и Конон Львович выставлял его как образец и человека и рабочего. Если нужно было успокоить рабочих, примирить их – никто лучше Петра не умел это сделать. И всегда бескорыстно – от одного только разговора с Кононом Львовичем. Объяснит ему, растолкует – смотришь, большинство уже с Петром, а беспокойное меньшинство с Кононом. Несмотря на такую противоположность, Конон и Петр были друзьями, и в тех случаях, где Петр был свободен от влияния Конона Львовича, действовали сообща. В беседах Корнева и Карташева с двумя паробками – Кононом и Петром – Конон в конце концов с вечными претензиями и жалобами надоел, да исполнение его просьб было непосильно для Корнева и Карташева. Пока еще шла речь о табаке, о бутылке водки, до тех пор, или иначе, они могли помогать ему, но чем дальше в лес – тем больше дров, и Корнев с Карташевым терялись, видя, что, собственно, требованиям Конона конца не будет. Конон, в свою очередь убедившись в бессилии молодых людей, стал относиться к ним с каким-то раздражением. Обращался с ними без церемонии, особенно с Карташевым. Самолюбие Карташева страдало, и однажды, когда Конон вдруг резко перешел с ним на «ты», Карташев не выдержал и, возмущенный, ответил:

– Ну, ты, Конон, совсем уж свинья, и я с тобой больше не буду разговаривать, потому что ты забываешься.

Конон молча тряхнул головой и погнал дальше своих волов, так, как будто ничего и не случилось, а Карташев, сконфуженный, остался и старался не смотреть на Корнева. Последний тоже из чувства деликатности старался не смотреть на приятеля и даже проговорил:

– Нет таки порядочный нахал.

XV

Однажды утром Степан тайно сообщил друзьям, что в степи у Конона Львовича неспокойно. Корнев и Карташев сейчас же, без чаю, верхами уехали в степь, пока Аглаида Васильевна еще спала. Из двенадцати плугов ходило только три, в том числе и Петр, – остальные, выпряженные, беспомощно валялись по бороздам. На стану толпа рабочих всяких сроков угрюмо стояла возле возов и равнодушно смотрела на приближавшихся панычей. Тут же около них был и Конон Львович. Он был на ногах, держал в поводу свою верховую лошадь и с каким-то сконфу-

⁸ Пугало; здесь – повод для раздражения (*фр.*).

женным видом пошел навстречу приехавшим. Карташев почувствовал себя хозяином и озабоченно спросил:

– В чем дело?

– Конон все... – ответил управляющий, разводя руками. – И пища нехороша, и хлеб никуда не годится, и плата мала, – одним словом, забил себе в голову... На вас указывает, что вы ему что-то говорили.

– Мы? – Карташев смущенно оглянулся на Корнева.

– Кажется, ничего не говорили, – ответил Корнев.

– Да ведь это, знаете, народ: ему одного слова довольно, чтоб он себе черт знает что вообразил... Вы лучше всего уезжайте, чтоб еще больше их не дразнить, а я уж сам тут справлюсь...

– Но опасности нет?

– Какая же опасность? Ну, не захотят – пускай идут на все четыре стороны: других возьмем.

– Может быть, действительно провизия нехороша? – угрюмо спросил, поглядывая исподлобья, Корнев.

Конон Львович повернулся и крикнул:

– Андрей, принеси хлеб, сало, пшено.

Немного погодя из табора вышел Андрей, а за ним невядалеке и Конон. Оба шли без шапок. Андрей пришел и подал панычам черныи хлеб. Конон Львович отломил, сам попробовал и передал молодым людям.

– Какого же еще хлеба?!

Корнев и Карташев попробовали и сделали неопределенные физиономии: кажется, хорош?

– Хиба ж такой хлеб можно исты? – спросил Конон, впиваясь своими ястребиными глазами в Корнева.

– Хлеб действительно, кажется, как будто...

Корневу очень хотелось поддержать Конона.

– Як тисто, – подсказал Конон, – мокрый.

Конон Львович равнодушно молчал.

– Андрей, ты для меня из дому не захватил хлеба?

– Та взяв.

– Принеси.

Андрей принес.

– Вот этот самый хлеб сегодня к столу Аглаиды Васильевны подадут, – сказал Конон Львович.

– До хлеба ж то что подадут? – спросил Конон, – як не работать, то и тым хлебом жив буде чиловик.

– Ну, ступай, – приказал ему резко Конон Львович.

– О так, – кивнул головой Конон и повернул к табору.

– Работать не будемо, – раздраженно крикнул он уже издали.

– Гусь, – проговорил Конон Львович, мотнув головой. – Уезжайте! Когда увидят, что уехали, поймут, что надеяться не на что. Весь секрет тут в том, что поднялась цена на базаре за работу.

– Так отчего же и не прибавить?

– А понизились бы цены? Они бы не согласились на сбавку.

– Ну, от базара до базара.

– Ну, без людей как раз и останемся.

Корнев и Карташев уехали.

Часа через два явился в усадьбу и Конон Львович. Трое, в том числе и Конон, взяли расчет, остальные стали на работу.

– В сущности, этот крестьянский вопрос какой-то бесконечный, – рассуждал Корнев. – Решить его по существу? идти на компромисс? на каком пределе остановиться?... Для меня, по крайней мере, нет сомнения, что Конон, по существу, прав. С другой стороны, тоже нет сомнения, что полумерами его не удовлетворишь. С точки зрения порядка, может быть, и надо удалить Конона, но несомненно, что во французском парламенте какой-нибудь крайний левый заседает на своем

крайнем стуле и только и знает, что протестует – и ничего: ему принадлежит будущее, правому там какому-нибудь – прошлое, центру – настоящее, всем есть место.

Разговор шел за завтраком, за которым сидел и Конон Львович. Он с любопытством слушал и посматривал на Аглаиду Васильевну.

– Ну, вот и отлично, – отвечала сдержанно Аглаида Васильевна, – это и есть самое главное, и вы теперь видите, как легко вызвать в народе ложные надежды, удовлетворить которые не в вашей власти. Крестьяне – дети... прямолинейны, и в разговоре с ними нужен тот же прием, что с детьми. Иначе вы им дадите в руки оружие, которым они себе же нанесут вред.

– Оружие, в силу вещей, и без того у них в руках: за деньги ли, в аренду ли, так или иначе, земля и труд, то, чем и мы и они кормимся, – у них.

– Это по-вашему...

– По-моему, – торопливо смягчился Корнев, видя, что Аглаида Васильевна начинает уже сердиться, – здесь такое столкновение разных интересов, что пока можно только постигнуть бездну, но решить вопрос...

– На сегодня он решен, – сказала Аглаида Васильевна таким тоном, что Корнев, чтоб не раздражать ее больше, замолчал.

Ночью сгорела только что сметанная скирда.

– Однако! – произнес Корнев и принялся за ногти.

Конона и след простыл. Аглаида Васильевна была сильно взволнована.

– Я тебя серьезно, Тёма, прошу, – сказала она, позвав сына на свою половину, – оставить всякие общения с мужиками: вы можете себе здесь хоть весь мир ногами ставить, но ты видишь уже последствия ваших неосторожных разговоров. Полторы тысячи рублей в этом году дохода уже нет. Эта скирда предназначалась для приданого Зины.

– Какое же приданое, когда у нее и жениха-то еще нет?

– Ты до глупости доводишь со своими вечными рассуждениями, – я больна от них. Пойми же наконец, что они несносны! Ты просто глупеешь от этого вечного напряжения обо всем рассуждать, рассуждать во что бы то ни стало. Пойми же наконец, что нет несноснее, нет отвратительнее, нет пошлее, наконец, человека, всю жизнь изошряющегося над бесплодными решениями вопросов. Корнев хоть за чужой счет это делает, а ты ведь прямо за счет своей матери, сестер... Эгоист! Уходи! я не хочу тебя видеть.

Голос Аглаиды Васильевны дрожал. Она огорченно смотрела вслед своему растерянному ушедшему сыну. Ей и жаль было его и досадно.

– Теория, теория... основанная прежде всего на том, чтоб для спасения чужих – своих, самых близких, губить... Отвратительный эгоизм.

И, несмотря на то, что Аглаида Васильевна была теперь совершенно одна и некому ей было возражать, она еще страстнее повторяла, как бы настаивая пред самой собой:

– Отвратительная теория! эгоистическая, грубая, несущая с собой подрыв всего... Нет, нет! Бог с ним, с таким развитием!

Чтоб успокоиться, она взяла лежавшее на столе Евангелие, села в кресло и начала перелистывать книгу. Она открыла главу девятнадцатую от Матфея о богатом юноше: «Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за мной“. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение».

Аглаида Васильевна вздохнула, откинула несколько страниц и прочла из главы пятнадцатой Матфея: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком; сердце же их далеко отстоит от меня... Всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, искоренится; оставьте их; они слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Она еще откинула несколько страниц назад и прочла из главы десятой: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитанья... И враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня... И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее».

Под впечатлением последних событий и постоянных разговоров с сыном и Корневым Аглаида Васильевна, тысячу раз читавшая все эти листы, на этот раз читала их с особенным, все усиливавшимся впечатлением искренне верующей женщины.

«Судьбы божии неисповедимы... конечно, в будущих веках человеческой жизни», – думала Аглаида Васильевна.

И вдруг у нее мелькнула мысль, что, может быть, настоящее уже есть начало этих веков. Точно поднятая какой-то посторонней силой, она встала и долго, потрясенная, смотрела на святой образ скорбно поникшего пред грехами мира.

– Господи, ты милостив! – воскликнула она с глубокой верой. – Если ты, всемогущий, во власти которого одним помыслом уничтожить мир и миры миров, послав своего единородного сына, не возложил на него исполнение твоих заветов, а только предначертал, то и от нас, ничтожных, отстрихни чашу сию: непосильна она... Нет, непосильна, – убежденно повторяла она уже самой себе.

Вошла Таня и, остановившись у дверей, тихо плакала.

– Что тебе? – спросила Аглаида Васильевна.

– Дядя заболел.

Тихон был брат матери Тани. Он же и воспитал ее, когда она осталась бездомной сироткой. Таня любила его и теряла в нем последнего близкого человека.

– Заболел? – спросила озабоченно Аглаида Васильевна.

– Сейчас понесли из кухни. Ой, боже ж мой!

– Третий припадок... да, – бессильно проговорила Аглаида Васильевна.

Таня громко застонала и стала качаться, утираясь передником. С нее сразу слетел городской лоск.

– Полно, полно, – успокаивала Аглаида Васильевна и горячо поцеловала Таню в лоб. – Ну, что ж делать! Я тебе такая же родная... была и всегда буду.

Таня, вытирая слезы, поцеловала руку Аглаиды Васильевны.

– Иди к нему... Одарка пусть за тебя побудет в комнатах.

Таня ушла. Вошла Наташа и не то сконфуженно, не то устало присела.

– И Одарка плачет! – махнула она рукой.

– С той что?

– Конон пропал...

– Ну! – сделала резкий жест Аглаида Васильевна.

– Я знала, что Тихон умрет, – скривила Наташа лицо в свою обычную гримасу боли.

– О господи, как я не люблю, когда ты каркаешь.

Наташа с самого детства составила себе репутацию Кассандры. На этот раз Аглаиде Васильевне был неприятнее обыкновенного этот дар Наташи.

– Чем я виновата, – усмехнулась Наташа. – Снилось мне, что я умерла...

– Долго жить будешь.

– Да я-то буду... Я всех переживу.

– Ты в самом деле, Наташа, воображаешь себя провидящей!

– Да ведь это помимо меня: я не успела еще и подумать, а уже сказала...

– Это можно развить в себе до опасных размеров. Не хочу слушать твоего сна.

– Как хочешь, – лениво усмехнулась Наташа.

– Ну, что же? – спросила Аглаида Васильевна, помолчав.

– Умерла и иду по тому свету... Какая-то гостиная... обыкновенная серая мебель, люди какие-то... Я все иду, отворила дверь... Три двери: одна посредине в углубление, и прямо в нее красный огонь падает, а две поменьше по бокам... И такой яркий красный свет от фонаря прямо туда, в углубление... Я иду и знаю, что, в какую дверь попаду, от того и вся судьба зависит, и иду прямо в среднюю. Отворила, никого... тихо... Я подумала: вот здесь уже настоящий конец жизни. Вдруг вижу: подходит кто-то ко мне и спрашивает: «Куда ты идешь?» И опять я знаю, что от этого вопроса все зависит: в рай я попаду или в ад. А этот, который спрашивал, наклонился и смотрит на меня. И я не знаю – черт он или ангел. И мне хочется любить его, и боюсь... и плачу. А он так

ласково на меня смотрит: «О чем ты плачешь?» Я говорю: «Не знаю». Он наклонился ко мне и спрашивает: «Хочешь суда?..» Это мы вчера Жанну д'Арк читали, и все это перепуталось... Я говорю: «Хочу». Он отдернул занавеску, и я вижу – пропасть народу сидит на скамейках... Я встала на колени, скрестила руки и стою. Вдруг встает Тихон и говорит: «Я знаю ее – это юродивая».

Аглаида Васильевна мельком взглянула на дочь и опять отвела глаза.

– Я стою и думаю: какая же я юродивая? А Тихон смотрит мне строго в глаза... И я смотрю и думаю: если я скажу, что я не юродивая, – Тихон пропал; скажу я, что юродивая, – я пропала... И не знаю, что мне делать... Стою, стою... кто-то говорит: «Нет, это не Жанна д'Арк...» – и вдруг я куда-то провалилась. Провалилась и лежу тихо. И кто-то прямо мне на ухо: «Тихон умер». Я открыла глаза – утро.

Наташа вздохнула и уставилась глазами в окно.

– Это мы вчера говорили, читали, все это перемешалось...

– Все это оттого, – сказала Аглаида Васильевна, – что вы долго по ночам засиживаетесь. Я тебе запрещаю позже одиннадцати часов сидеть. Вместо того чтобы за лето поправить здоровье – ты посмотри, на что ты стала похожа... Да мне и не нравятся все ваши разговоры: вы слишком дети еще, чтобы вмешиваться в дела, в которых вы ничего не понимаете. Корнев разыгрывает из себя большого и не замечает, что только смешон своими претензиями.

– Он без всяких претензий.

– Не он, а ты без всякой критической способности... Надо приучаться разбирать людей, потому что нет отвратительнее и глупее человека, который ходит с добровольно закрытыми глазами.

Наташа напряженно слушала. По ее лицу разлилось выражение недоумения и огорчения.

– Дети, которые в пороховом складе бегают с огнем в руках и радуются... Полутора тысяч в этом году нет... Откуда я их возьму? Осенью в банк... в город... Зина не сегодня-завтра невеста... Откуда же я возьму... А им точно праздник...

Голос Аглаиды Васильевны оборвался. Наташа бросилась к ней и стала горячо целовать ей руки и лицо.

– Я знаю, знаю... что все вы любящие, но пока доберешься до вашего сердца...

Аглаида Васильевна проглотила новые слезы.

– Сегодня Тёма стоит передо мной: точно я ему самая чужая... Глупый мальчик... Позови его...

XVI

Как-то через несколько дней, под вечер, от умирающего Тихона прислали за Аглаидой Васильевой. Она пошла с сыном. Карташев шел задумчивый, с какой-то пустотой в голове и сердце. В белой хатке с желтой печкой, желтым полом лежал под образами Тихон. Отец Даниил торопливо и угрюмо свертывал у окна дары.

– Позволил себе беспокоить для успокоения умирающего, – сказал он, угрюмо подходя к Аглаиде Васильевне.

– Благословите, отец, – ответила она и, когда священник сделал крест, приложилась к его старой руке.

Отец Даниил более мягко проговорил, понижая голос:

– Желает повиниться перед вами... Прощайте ненавидящим вас...

У ног Тихона стояла испуганная Таня с заплаканными глазами, подпершись рукой.

– Лишние свидетели, удалитесь, – распорядился отец Даниил.

Карташев нерешительно стоял, когда Аглаида Васильевна, подойдя к Тихону, поманила сына. Тихон сделал движение, как бы желая освободиться или распустить что-то, сжимавшее его шею. После этого движения он долго и неподвижно смотрел в глаза Аглаиде Васильевне.

– Ты хотел мне что-то сказать? – спросила она, наклоняясь к умирающему.

– Хотел, – мучительно тихо прохрипел Тихон. Аглаида Васильевна поняла, что ему трудно говорить.

– О Тане не заботься: она всю жизнь у нас жила, и я не оставляю ее...

– Одна, – прошептал Тихон.

– Знаю... знаю, что негодяй обманул ее...

Тихон тоскливо кивнул головой.

– Знаю, что сын есть. Буду и о нем заботиться...

Аглаида Васильевна выпрямилась и опять наклонилась.

– Будь спокоен: господь слышит наш разговор.

Она опять выпрямилась и как бы не то утверждала выражением лица, не то спрашивала: «Все?» Тихон мучительно поднимал на нее глаза.

– Грешен, – прошептал он.

– Все мы грешны, – наклонилась опять Аглаида Васильевна.

– За добродетель вашу... окаянный... – судорожно заметил Тихон, – сжег...

Глаза Тихона с ужасом раскрылись и застыли на Аглаиде Васильевне. Она не то отшатнулась, не то поднялась, чтобы лучше сообразить.

– Скирду сжег? – спросила она жестко.

Аглаида Васильевна, обводя сына ледяным взглядом, смотрела в окно.

– Что тебя побудило? – Она с отвращением скользнула взглядом по жалкому лицу Тихона.

Воцарилось напряженное молчание. Тихон мучительно переводил глаза с потолка на пол и на стены. Карташев съежился и испуганно смотрел на мать. «Прощайте ненавидящим вас», – пронеслось в голове Аглаиды Васильевны, и горячий огонь боли и протеста загорелся в ее глазах.

– Дьявол, – прошептал Тихон, – всю жизнь смущал...

Тихон тоскливо заметался и рвал ворот рубахи. Его желтая волосатая грудь, впалый потный живот обнажились. «Умирает!» – мелькнуло в голове Аглаиды Васильевны.

– Прощаю тебя... и пусть господь тебя простит.

Тихон сделал нетерпеливую, судорожную, мучительную гримасу.

– Говори за мной: не яко Иуда, но яко разбойник...

Тихон рванулся, глаза его выпятились и замерли на Аглаиде Васильевне.

– Умер, – оборвала Аглаида Васильевна.

Таня с неестественным воплем бросилась к трупам...

Мать и сын возвращались домой.

Карташев в первый раз изменил своему обыкновению не критиковать матери.

– Это была как будто совершенно чужая для меня женщина, – говорил он Корневу, лежа с ним в своей комнате. – Ужасно странное и тяжелое впечатление... Какая гадость, в сущности, весь этот материальный вопрос: мать и добрая, и честная, и любящая... И его страх; кажется, чего бояться человеку? Все кончено, а точно вот прокурор приехал... Одарка! – высунулся Карташев из окна, увидев Одарку.

– Конон ни в чем не виноват... Тихон признался... Умер уже...

Одарка остановилась на мгновение, подняла на Карташева глаза, опять опустила и тихо пошла. Но, пройдя немного, она остановилась, опять вскинула глазами на Карташева и, скрыв охватившую ее радость, преодолевая стыдливость, спросила:

– А чи то ж правда, панычку?

– Правда... я сам слышал.

Одарка ушла, а Карташев долго смотрел ей вслед. Корнев лежал и усиленнее обыкновенного грыз свои ногти. Карташев тоже раскис и уныло, бесцельно смотрел в пространство.

– Мы через неделю в город едем, – заглянула Маня.

Корнев и Карташев вскочили.

– Вот как! – изумился Корнев.

– Это вы виноваты, – тихо, с упреком бросила ему, убегая, Маня.

– Вот как! – повторил, нахохлившись, Корнев.

– Экую чушь Маня говорит, – сказал Карташев. – Я сейчас узнаю, в чем дело.

– Не ходи к маме, – остановила Зина. – Мама расстроена.

– Правда, что через неделю мы едем? Отчего?

– Оттого... Мама говорила, – и от интонации сестры Карташеву сделалось вдруг жутко, –

что вы с Корневым в конце концов что-нибудь такое сделаете, что совсем ее скомпрометируете.

– Какие глупости! – с непонятной для него самого тревогой сказал Карташев.

– Вот и глупости...

– Едем? – спросил, подходя, Корнев.

– Едем, – ответила Зина.

– Ну, и тем лучше, – махнул рукой Корнев. – Какая же причина?

– Мама хочет несколько морских ванн взять.

– Н-да...

– Это Маня ему сказала, что он причина отъезда, – сказал Карташев.

– Какие глупости!

Корнев пытливо впился в Зину.

– Она пошутила...

– Нет, да, конечно, это ерунда, – поддержал Карташев, – мать так любит тебя.

– Наверно, ерунда: я уж там была...

– Мне самому странно, что я мог навлечь гнев... я, кажется...

– Ах, какая эта Маня! и выдумает же... Пойдите, я сейчас ее приведу...

– Да нет, зачем...

Но Зина ушла и возвратилась назад с Маней. Корнев уже издали услышал ее «кар».

– Ну? – говорила, входя, Зина и обращаясь к Мане.

– Я ж вам сказала, что из-за вас.

Маня, вытянув шейку, заглянула весело в глаза Корнева.

– Ну что ж... очень жаль... – развел он руками, и в голосе его звучало искреннее огорчение...

– Маня, что же ты делаешь? – рассердилась Зина.

– Ну что ж я могу тут, когда и мне тоже жаль, – ответила Маня и убежала.

– Капризничает... на нее как найдет.

– Нет, да я ведь не верю...

Часа через два на дорожке в саду Корневу попала Маня с заплаканными глазами и быстро скрылась...

Через неделю – за три недели до назначенного раньше срока – в лунную, яркую ночь длинный ряд экипажей, повозок, тарантасов двигался в ровной степи, поспевая к поезду.

Корнев и Карташев добровольными изгнанниками ехали в тарантасе в ворохе свежего сена.

Звенит и побрякивает тарантас, летит пыль из-под высоких колес, садится на лицо, шею и спину, садится на сено, забивается в глубь его и пыльным сухим ароматом щекошет ноздри; тянет в степь, и рисуется она в последний раз неподвижной, безмолвной, припавшей к дороге: собралась вся и смотрит, задумчивая, вслед убегающим экипажам.

Теплом ласкает золотая луна и далекую степь и дорогу. Дремлет высокая тополь и смотрит в край пыльной дороги; скрипят ее старые корни и поют старые песни. Разгоняя тоску, запел и Корнев:

Гей выводите та и выводите

Тай на ту высоко могилу...

И Карташев затыкнул.

– Можно к вам? – тоскливо просится Наташа из переднего экипажа.

– Можно, – кричит Корнев.

Лошади остановились, и Корнев хлопнул Карташева по плечу.

– Эх, Тёмка, не тужи.

XVII

Карташевы приехали в город в самую жаркую пору – в конце июля, в самый полдень.

Жестокое солнце юга, казалось, сожгло весь воздух, распалило камень мостовых и домов, залило все своими ослепительными лучами, и в зное, духоте и грохоте только далекая яркая синева моря дразнила прохладой, покоем и манила к себе.

Все были не в духе, уныло ехали с вокзала, смотрели по сторонам и по спинам пыльных парусиновых армяков извозчиков читали всю скучную историю городского лета.

Карташев, прищурившись, кое-как сидя на передней скамейке, смотрел в море, и все то смутное, что связывало его и с городом и с гимназией, проносилось без образов, щемило, тревожило сердце чем-то неприятным, беспокойным, суля в то же время и новое, что-то не изведенное еще. Карташев пригнул голову и вздохнул всей грудью, – была деревня, теперь город: куда-то тянет, а на душе пусто и скучно.

Аглаида Васильевна давно уже не жила в собственном доме. Дом этот был отдален от центра города, где сосредоточивались все учебные заведения, да и страшно было ей, одной женщине, без взрослого мужчины, жить в такой глуши. Поэтому она его сдавала, а сама нанимала квартиру в центре города. Но в этом году, так как городская квартира ремонтировалась, а свой дом пустовал, она решила провести конец лета в своем собственном доме.

Со смерти отца почти никто не заглядывал в свой дом, и теперь, войдя, все были живо охвачены прошлым. Казалось, ничего не переменялось с тех пор, как они все детьми жили здесь. Вот детская, здесь стояли их кровати, маленькая комната – Тёмин карцер, и комната их занятий. Кабинет все такой же неприветливый, большой и мрачный. Рука времени коснулась всего, – разошлись двери, выцвели полы и краска стен, и шаги так глухо и тоскливо отдаются в доме. Вот темная передняя и лестница в кухню. Рисуется в воображении выглядывающая оттуда фигура толстой Настасьи и из-за нее рябое толстое лицо Иоськи. Настасья умерла, Иоська в ученье, постоянно убегает, его ловят и бьют. Терраса и сад запущенный, редкий и пыльный. Горка... какая маленькая она, и беседка на ней, в воспоминании такая нарядная, высокая, теперь покосилась, выцвела, и добраться до нее всего несколько шагов по откосу. А вот вдоль глухой стены длинного сарая виноград и даже кое-где грозди чausa, а вот и кладбищенская стена и тот глухой угол со старым колодцем, который так часто снился во сне и всегда казался тогда самым бесконечным и путаным местом. Теперь это все как на ладони, и одним взглядом охватывается вся прожитая жизнь. Там, за этой стеной, вечным сном спит папа: добрый, но сек, и память рвется на этом: пусто и скучно. Таня идет... Ничего в ней не переменялось... Нет, изменилось: Таня – мать. Это так странно, так не вяжется с спокойной, уравновешенной Таней... Что там у нее в душе? Если б он вдруг заглянул бы ей в душу, в тот таинственный мир ее, который так искусно скрывает она от глаз посторонних. Как жаль, что случилось с ней все это. Если б она моложе была, он кончил бы курс, женился на ней и уехал бы с ней туда, где их никто не знает...

«Не женился бы», – пронеслась неприятная мысль, упершаяся во всевозможные препятствия его житейской обстановки, и взамен этой мысли мелькнула другая, жутко охватившая его: устроиться на время жизни в этом доме в отдаленном кабинете отца. Он не захотел останавливаться на этой мысли и без цели пошел дальше.

Он забрался в кабинет и попробовал почитать: взял какую-то книгу, лег на диван и начал читать:

«Посвящая свой журнал гражданской жизни, науке и искусству, Берне прямо заявляет читателю, что не будет следовать примеру так называемых умеренных писателей, которые вечно боятся называть вещи по именам, осторожно стараясь проходить даже между гнилыми яйцами. Бесстрастия объективизма при обсуждении тех зол, на какие ему придется наталкиваться, он не обещает. Нельзя требовать от писателя, чтоб он без ненависти и любви, возносясь над тучами эгоизма, слышал грозу над собой».

Карташев опустил книгу и задумался над тем, что, в сущности, жизнь глупая и скучная штука. И еще глупее и скучнее становится, когда читаешь такие книги, в которых куда-то зовут, на какую-то другую жизнь, а кончишь читать, и точно с неба спустился: никакой такой другой жизни и в заводе нет – идет, как идет, и вся так день за днем...

Карташев нетерпеливо перевернулся к спинке дивана и стал смотреть в упор на клеенчатую обивку.

«Если б я вырос где-нибудь в совершенно особенной обстановке... ну хоть нашли бы меня где-нибудь на дороге... я бы тогда был свободен: что захотел бы – то и сделал». Он стал мечтать о том, что бы он сделал: поселился бы в деревне, оставил бы себе кусок земли, остальную бы отдал крестьянам. Он подумал, что у него, у бобыля, тогда бы и земли не было... «Ну, положим, меня какой-нибудь богач нашел и оставил мне...»

– Тёма, мама спрашивает, ты в какой комнате хочешь устроиться? – спросила, заглянув, Зина.

– В какой комнате? – протянул Карташев. – Здесь в кабинете.

– Кабинет для девочек.

– В таком случае, где ж? – вспыхнул Карташев, угадывая назначенную ему маленькую комнату с единственным выходом в столовую, куда выходила и спальня матери.

– В маленькой или в бывшей детской – тогда Сережа с тобой будет.

– Я с Сережей не хочу.

– Значит, в маленькой.

– Я в беседке буду.

– Тёма, ну что ты ребенка из себя разыгрываешь? – Карташев молча закрыл глаза.

– Тёма? – нетерпеливо спросила Зина.

– Ну, подохните вы все.

– Тёма?!

Это было так неожиданно, так грубо и оскорбительно, что Зина только поспешно затворила дверь и, униженная, оскорбленная, ушла к матери.

– Тёма с ума сошел, – растерянно проговорила она. – Я его спрашиваю, где он хочет, чтоб была его комната, а он... – Голос Зины вдруг дрогнул. – Служанкам так не говорят...

Она совсем оборвалась, отвернулась к окну, и слезы закапали по ее щекам.

Долго билась с ней Аглаида Васильевна, пока наконец Зина рассказала, в чем дело. Аглаида Васильевна была так же поражена, так же ничего не поняла, как и ее дочь. Ей ясно было одно: Тёма делался совсем непохожим на прежнего Тёму. У нее давно накопело, и давно она подбиралась к сыну:

– Я никогда себе не прощу, что пригласила Корнева в деревню... Тёма совершенно отбился от рук.

Глаза Аглаиды Васильевны гневно сверкнули.

– Посмотрим.

Она несколько раз прошла по столовой, вошла в гостиную и, там сделав несколько туров, отправилась к сыну.

Карташев лежал и тупо ждал. Он знал, что даром ему это не пойдет, и злость охватывала его.

Вошла Аглаида Васильевна, чужая и неприступная.

– Ты с ума сошел?

– Нет, – пренебрежительно и равнодушно ответил Карташев.

Аглаида Васильевна смерила сына глазами.

– Я имела несчастье воспитать какого-то уроды... Сию секунду вон из моего дома...

– И уйду, – фыркнул Карташев.

– Так вот как, – задыхаясь, произнесла Аглаида Васильевна.

Она стояла возмущенная, пораженная, и в то же время какой-то страх охватывал ее.

Карташева больше всего смутил этот страх: он и сам испугался вдруг себя и заговорил мягко и горячо:

– Мама, может быть, вы не сознаете сами, но ведь вы же действительно хватаете меня так за горло, что я дышать не могу... Ведь эта маленькая комната ни больше ни меньше, как контроль... Ведь я же мужчина...

– Что такое?! Это еще что? Какой ты мужчина? Да нет, ты действительно болен? Дай голову.

Аглаида Васильевна приложила руку к его лбу.

– Не болен я... тоскливо от всей этой комедии, – проговорил Карташев.

Аглаида Васильевна опять приняла свой неприступный вид.

– Послушай, Тёма, это все так ужасно... так непохоже на тебя, что... или я должна все забыть сейчас же, или это никогда не забудется.

«Никогда» резко треснуло в воздухе.

– Ты сейчас попросишь у Зины прощенья...

– Я у Зины не попрошу. За что?

– За что?

Аглаида Васильевна смотрела с распушенной гримасой и раздраженно качала головой.

«Какая противная!» – подумал Карташев и отвернулся.

– Ну, так вон!

– Уйду!! – заревел вдруг Карташев и, схватив со стола шапку, выскочил сперва в переднюю, а оттуда во двор и на улицу. Злоба, ненависть, унижение, гнев душили его. Ему хотелось кричать, ругаться, он убегал от самого себя и только рычал по временам, издавая какой-то лошадиный звук. Какими-то волнами ходила по нем злость, и, когда подступали к горлу, он чувствовал потребность бить, колотить, визжать и кусаться. В один из таких приступов он изо всей силы впился зубами в свою руку. Часа через два все прошло, и Карташев почувствовал желание покончить со всей этой глупой историей. Глупо было все: и он, и мать, и вся жизнь дурацкая и глупая, но при упрямстве все могло выйти еще глупее. В таких случаях требовалось быстрое раскаянье. Мысль о том, что он мог бы действительно уйти из дома и жить хоть уроками, что ли, едва шевельнулась в его мозгу: куда он пойдет и что он без обстановки семьи. «Уеду себе в Петербург по окончании гимназии – и бог с ними».

С стесненным сердцем, сконфуженный и подавленный, юркнул он в калитку, спросил вскользь, не смотря на встретившуюся Маню: «Где мама?» – и пошел, по ее указанию, в беседку.

Произошла одна из тех сцен, которые так ненавидел Карташев. Потупив глаза, угрюмо, но в то же время стараясь придать голосу какую-то искренность, с сознанием своего унижения и презрения одинаково и к себе и к матери, он пробурчал:

– Мама, я больше не буду.

– Нет, теперь уже поздно.

Несмотря на всю решительность этого «поздно», Карташев знал отлично, что это «поздно» ни больше ни меньше, как звук пустой. Знал, что после этого «поздно» начнется нотация и будет продолжаться целый час.

Он стоял, слушал и презрительно шурился от разного рода громких слов вроде: «Ты мне не сын», «Я не желаю такого сына», – всех тех слов, которые существа вещей изменить не могут и обладают обоюдоострым свойством.

Мать говорила, не щадя красноречия, и, конечно, меньше всего подозревала, что сын ее в это время сравнивал ее с стариком Неручевым. Когда после нотации, по обыкновению, он поцеловал ее руку, он опять подумал: «Так и Неручеву целовали руку».

Он вышел из беседки, раздраженно усмехнулся своему сравнению и медленно пошел в отведенную ему маленькую комнату.

Ни одного намека не было сделано со стороны матери, но сын был убежден в том, что понимал истинный смысл действий матери: она боялась, отпустив его в кабинет, за его годы и за его сближение с Таней.

Оба окна маленькой комнаты были открыты и выходили на террасу.

Карташев лежал на своей кровати, смотрел на эти окна, понимал их смысл, и никогда Таня не была так близка к нему, как в это мгновение. Сближение теперь казалось не так недостижимо; в оскорбленном самолюбии, в мести кому-то за что-то искалось оправдание, повод, кровь загоралась; надвигались сумерки, а с ними и мысль о Тане принимала все более и более рельефный образ. Казалось, она здесь возле него, и уж не унижение и не месть, а тело семнадцатилетнего юноши предъявляло свои права.

Какой-то стон вдруг вырвался из его груди, смутивший всех сидящих в столовой, и все опять стихло, а Карташев, затаив дыхание, лежал, уткнувшись в подушку, не смея ни шевелиться, ни дышать.

Карташев так и заснул в тот вечер, не раздеваясь, и проснулся только утром. Переодевшись и

напившись чаю, он решил отправиться к Корневу.

– Сережа, – крикнул он уж в калитке, – скажи маме, что я пошел к Корневу заниматься латинским.

– Мама уже встала, – ответил было Сережа.

– Не встала, – уверенно сказал Карташев и захлопнул за собой калитку.

У Корневых все было по-старому. В дверях беззвучно показалась Анна Степановна, сделала свою добродушную гримасу и, проговорив свое «о!», стояла и ждала, пока Карташев сбросит пальто и подойдет к ней.

– Вася, Маня, – крикнула она.

– А-а! – басом приветствовал Корнев, появляясь из кабинета отца и на ходу застегивая свой пиджак, – милости просим. – Он с удовольствием пожал руку Карташеву, указал ему на кресло и сам сел.

Выскочила Маня и, вспыхнув, радостно поздоровалась с Карташевым.

Маня загорела, похудела и казалась еще привлекательнее.

– Ну что, как? – спросил Корнев.

– Слушайте, Карташев, отчего вы так рано приехали в город? – перебила Маня.

Карташев вопросительно посмотрел на Корнева.

– Ерунда все это, – сказал Корнев, – знаешь ведь...

– Бунтовщики? – весело, понижая голос, спросила Маня.

Карташев рассмеялся.

– Ерунда, – повторил Корнев и принялся за ногти.

– Спасибо, что с полицией не доставили, – сдержанно вздохнула Анна Степановна, присаживаясь на стул. Она посмотрела на Карташева, на сына, покачала головой, вздохнула и сказала: – Голубчики мои, учение опять, латынь, да то, да другое, и господь его зна, що такое, поки не выкрутят, не выкрутят все. – Она сделала энергичный жест и махнула рукой.

– Ну-с, как твои? Наталья Николаевна?

– Васенька изволили, кажется, найти прочное помещение своему сердцу? – рассмеялась Маня.

– Манечка изволят, кажется, глупости с утра говорить! – ответил, покраснев, брат.

Он встал лениво, с удовольствием потянулся и, встряхнувшись, сказал:

– Ерунда все это... Через две недели переэкзаменовка – вы это чувствуете?

– Будем вместе готовиться, – предложил Карташев.

– С удовольствием.

– Скажи лучше – будем вместе ничего не делать, – рассмеялась Маня.

– Напрасно: я с сегодняшнего дня готов, так и дома сказал, что иду заниматься.

– Иначе бы не пустили бы? – спросила Маня.

Карташев небрежно проговорил:

– Ах, прошло то время золотое...

– Большой теперь?

– Слава тебе господи!

– Впрочем, слышала, курить разрешили? Вы с какого класса начали?

– С третьего.

– И Вася тоже?

– И Вася тоже.

Маня махнула рукой.

– Слушайте, Карташев, идем купаться.

– С удовольствием... Хотя, собственно, я не взял с собой денег...

– У нас билеты есть в купальню.

– Ты пойдешь? – обратилась она к брату.

Корнев подумал и спросил Карташева:

– Ведь воротишься?

– Слушайте, Карташев, вы обедаете у нас, а вечером мы к вам.

– Отлично.

– Накомандовала, – добродушно произнесла, появляясь, Анна Степановна вслед убежавшей дочери, – куда?

– Теперь купаться, – ответил Карташев, стоя с фуражкой в руках в ожидании Мани, – а потом к вам обедать.

– Голубчик мой. – И Анна Степановна, обняв ладонями голову Карташева, поцеловала его в лоб.

– Ну, уж мама не может. Идем, – крикнула Маня, сверкнув весело, возбужденно на Карташева глазами.

Они опять шли по звонким улицам в треске и духоте города, искали тени, шурились от ярких лучей и с удовольствием осматривали и встречавшихся прохожих, и дома, и друг друга.

– Я получила письмо от Рыльского...

Ничего нового она ему не сообщила, да и Рыльский был где-то далеко, а Маня, возбужденная, довольная его обществом, шла рядом с ним.

Они запрыгали по ступенькам широкой громадной лестницы бульвара и точно уже купались в открывшемся просторе воздуха и моря.

Спустившись, они пошли вдоль пыльного серого здания. Скрылось море на мгновение и опять сверкнуло уж вплоть, с гаванями, с лесом мачт, с палатками купален, с белыми рядами сохнувших простынь, с ароматом моря.

– Вы мне скажете правду?

– Скажу.

– В кого вы влюбились в это лето?

– Хотел влюбиться, но она уж невеста.

– Разве можно здесь хотеть или не хотеть?

– Можно, – беспечно ответил Карташев.

– Нет, нельзя, Карташев. Вы были когда-нибудь влюблены?

– Я с трех начал влюбляться.

Из-за простынь вдруг появилась фигура учителя математики с его походкой заведенной куклы, с его обычным строгим взглядом темных глаз.

Карташев быстро смущенно поклонился и, когда он прошел, спросил с веселой тревогой Маню:

– Как вы думаете слышал он?

Они оба рассмеялись, он еще оглянулся и сказал:

– Я думаю – он хотел бы быть на моем месте.

– В каком смысле?

– Гм... гм... – усмехнулся Карташев.

Они стояли на перекрестке подмостков, откуда расходились дорожки в женское и мужское отделение.

– Ну?

– Здравствуйте, – пренебрежительно, как бы зная, что так и будет, поздоровалась Зина, выходя из купальни. За нею шли Наташа, Маня и толстая кубышка Ася.

Зина поцеловалась с Корневой, а Наташа, добродушно прищурившись, спросила брата:

– Нашел?

– Что нашел? – спросила Корнева и покраснела.

Зина только кивнула головой, Наташа, смеясь, поцеловалась с Корневой.

– Маня как выросла... похорошела, – с каким-то оттенком зависти заметила Корнева. – Мы вечером сегодня к вам хотели...

– Отлично, – ответила Наташа и, обратившись к брату, лукаво спросила: – Ты тоже вечером?

Зина только молча кивнула головой, как бы говоря: об этом и спрашивать нечего.

– Вы одни? – спросил Карташев.

– Мама теплые ванны берет.

– Что значит «нашел»? – спросила Корнева, когда прошли сестры Карташева.

Карташев только посмотрел на нее и, ничего не отвечая, улыбаясь, пошел по подмосткам в свое отделение. Он шел и оглядывался, пока не столкнулся с Сережей.

– Наши вышли? – спросил Сережа и, увидев исчезающих за углом сестер, опрометью озабоченно подбирая на ходу простыню, побежал за ними.

– Здравствуйте, Сережа, – окликнула его Маня Корнева.

Сережа только теперь ее заметил, вдруг вспомнил что-то, как-то испуганно, смущенно поклонился и еще быстрее побежал.

– В гимназию поступает, – крикнул Карташев.

– Что значит «нашел»? – повторила Корнева, исчезая в купальне.

Карташев шел, заглядывая в номера, выбрав свободный, вошел и затворил разохшуюся, сколоченную из тонких досок дверь. На него пахло сыростью и запахом гниющего в море дерева. Сквозь редкий пол там, внизу, беспокойно билась зажатая в столбах купальни зелено-прозрачная волна. Ему вспомнился вдруг вчерашний вечер, и неприятное чувство охватило его. Он быстро разделся, обернулся до половины простыней и вышел на площадку. Он ходил по жарким доскам площадки со следами мокрых ног на ней и рассматривал пальцы своих ног, расплывшихся на досках. Он взобрался на самый край помоста двухсаженной высоты, с которого прыгали любители в море, и стал смотреть в женскую купальню, стараясь угадать между множеством белых рубашек Маню. Мимо него пробежал и с разбегу кто-то бросился в воду. Вода закипела, покрылась пеной, и в глубине ее сверкнуло белое тело, быстро выбиравшееся на поверхность.

– Здравствуйте, прыгайте! – крикнул ему прыгнувший, оказавшийся выпущенным в этом году в студенты Шишко. Шишко, толстый, с черной стриженной головой, держал себя всегда насто-роже и в то же время снисходительно.

Карташев прикрутил к стойке простыню, разбежался и тоже прыгнул.

– Вы перешли? – спросил Шишко, уплывая вперед от Карташева.

– Передержка по-латыни, – ответил, догоняя его, Карташев.

– Ну, это пустяки.

– Конечно.

– Говорят, восьмой класс к нам на шею посадят.

– Вряд ли это коснется нас, – спокойно ответил Карташев.

– Говорят, и вас коснется.

Шишко говорил с каким-то неприятным намеком в голосе.

– Вы откуда слышали? – встревоженно спросил Карташев и поплыл наотмашь, вследствие чего быстро догонял Шишко. Карташев плавал легко и сильно. Он плыл быстро, и часть туловища его так выдвигалась из воды, что казалось, стоило сделать еще одно небольшое усилие, и он пойдет по воде. Шишко плыл грузно, по-жабьи, и только черная стриженная голова его торчала из воды. Он пренебрежительно фыркал на эту воду, которая заливала его рот, так фыркал, как будто эта вода позволяла себе какие-то неприятные шутки с ним, окончившим курс гимназии и уже принятым без экзамена в университет. Карташев, поравнявшись, во все глаза с завистью и тревогой смотрел на него: он хотел бы в это мгновение быть на его месте; плыть так же грузно, фыркать и сознавать в то же время, что он студент. Ах, под какой-то особенной планетой он родился, и даже это сладкозвучное имя «студент», наперекор всему существовавшему порядку вещей, для него уже вот-вот готово еще куда-то отдалиться.

– Учитель математики мне сказал.

Учитель математики! Да, в его взгляде был этот ответ. Учитель математики с ним говорил, – они стояли где-нибудь на площадке купальни, – говорил, как с равным, а на него этот учитель едва взглянул, и если при этом он еще слышал его слова... И восьмой класс...

Шишко повернул назад, опрокинулся на спину и, лениво, беспечно, упираясь ногами в воду, поплыл к лестнице: счастливый, беспечный Шишко! Есть на свете и счастье и доля, не у него, Карташева, только! Господи, неужели же еще два года этой прозы и тоски гимназической? Этого обязательного сознания своего мальчишества?

Карташев далеко уплыл в открытое море, и какой-то точкой мелькала его фигура в блеске солнца и моря.

Он спохватился, что его ждет Корнева, и быстро поплыл назад. Его все давила какая-то неволя. «В чем мне неволя? – старался разобраться он. – Вот в этот момент я свободный человек. Эх, хорошо, если бы вдруг судорога схватила: пошел бы на дно ключом и сладко уснул». Карташев мысленно измерил глубину под собой, ярко представил картину последнего мгновения и быстрее, без мысли поплыл к берегу.

Когда он подплыл к лестнице, Шишко, уже одетый в легкий франтоватый костюм, уходил, снисходительным, даже ласковым голосом крикнув ему:

– Прощайте.

– Прощайте, – ответил ему Карташев таким тоном, что Шишко остановился, подождал, пока Карташев поднялся, и протянул ему руку.

– Прощайте, – приветливо повторили они оба, и Карташев, торопливо обтираясь в своем темном и сыром номере, думал: «Хороший человек Шишко».

– Что значит «нашел»? – настойчиво повторила Корнева, выходя из купальни и обращаясь к ожидавшему ее Карташеву.

С мокрыми еще волосами, в барежевом платье, сквозь которое слегка сквозили ее белоснежные плечи и руки, Корнева была ослепительно свежа. Так свежа, что Карташев не мог без какой-то особенной боли смотреть в ее влажные, блестящие такой же свежестью глаза.

Корнева чувствовала свою власть над Карташевым, испытывала удовольствие сознания, жажду определения пределов этой власти и настойчиво повторяла, идя с ним:

– Я хочу знать, что значит «нашел»... нечего, нечего отвиливать: говорите прямо и сейчас... Карташев...

– Откуда я знаю...

– Карташев... я хочу... слышите? не хотите?

– Я не знаю...

– Вы не хотите сделать мне приятное?

– Все, что хотите... хотите, головой вниз брошусь?

Карташев показал вниз, по откосу бульварной лестницы.

– Противный! Не хочу с вами говорить... Голубчик Карташев... скажите...

– Хотите, головой вниз брошусь?

– Уходите...

– Ну, откуда же я знаю?..

– Не знаете? Честное слово?

– Не знаю, – избегая взгляда, уклоняясь от честного слова, говорил Карташев.

А Корнева все властнее смотрела на него, не сводя своих разгоревшихся глаз, и обжигала его, повторяя:

– Противный, противный, противный.

Карташев точно хмелел под ее взглядом. Какая-то горячая волна, огонь какой-то вырывался изнутри, охватывал и жег. Было хорошо, глаза глубже проникали в ее глаза, хотелось еще лучшего до безумия, до боли, до крика.

Карташев вдруг стремительно сжал свою прокушенную руку и мучительно сморщился от боли.

– Что с вами?

Он натянуто, сконфуженно улыбнулся.

– У вас такое лицо было... я боюсь вас.

– Не бойтесь, – угрюмо вздохнул Карташев, – дураков никто не боится.

– Дураков?

– Вот таких дураков, как я.

– Я ничего не понимаю.

– Если бы вы хоть что-нибудь поняли, – только бы меня и видели...

Он сделал неопределенное движение рукой.

– Какой вы странный...

– Иногда мне хочется самого себя по зубам... по зубам.

– Да за что?

– Да вот так... за то, что я тряпка, дрянь, трус...

– Да что с вами?

– Меня отец всегда называл тряпкой... Я кончу тем, что пойду в монахи.

Корнева удивленно посмотрела на него.

– Слушайте, Карташев, это какой-то пункт помешательства всей вашей семьи...

Карташев вспыхнул и покраснел.

– Если бы я пошел в монахи, меня бы на третий день оттуда выгнали... Глупости все это, – кончу вот гимназию, удеру, только и видели меня... Я не люблю... Я никого не люблю... Все здесь нехорошо, нехорошо...

В голосе его задрожали слезы, и он огорченно замолчал. Корнева, удивленная, притихшая, шла и смотрела на него.

– Я никогда вас таким откровенным не видала... У вас у всех в семье есть какая-то гордость... даже вы вот нараспашку, а всегда молчите... а все-таки я всегда догадывалась, что у вас, наверное, не все так хорошо, как кажется.

Карташев нерешительно смотрел перед собой: ему было неприятно от своей откровенности и хотелось продолжать.

– Вы читали Гулливера, когда его лилипуты привязали за каждый волос? Вот и мне кажется, что я так привязан. Покамест лежишь спокойно – не больно, а только поворотишься как-нибудь...

Карташев сдвинул брови, – на верху бульварной лестницы он разглядел фигуру поджидавшего его брата Сережи.

– Ну, знаете, я думаю, Аглаида Васильевна не лилипут.

Карташев, поравнявшийся в это время с Сережей, не отвечая, подошел к брату.

Сережа приподнялся и на ухо тихо сказал:

– Мама тебя зовет.

– Где мама? – спросил тоже тихо старший брат.

– Там, в боковой аллее.

– Хорошо, – громко ответил Карташев и, подходя к Корневой, озабоченно проговорил:

– Сегодня мне надо с матерью по делам.

– Обедать у нас, значит, не будете?

– Нет, – с сожалением ответил Карташев и, подумав, прибавил: – Я уж под вечер, может быть... вместе пойдем к нам.

– Куда ж вы?

– Мать тут... у одних знакомых.

– Прощайте.

Карташеву послышалось обидное сожаление к нему, и, недовольный еще больше собой за свою болтовню, скрепя сердце, сконфуженный, он зашагал в обратную сторону от того места, где сидела мать. Только когда Корнева скрылась за углом и не могла больше его видеть, он повернул назад и пошел к группе в боковой аллее, состоявшей из матери и сестер. Он шел, чувствуя и какую-то вину перед матерью, чувствуя и какое-то раздражение; шел неудовлетворенный и в то же время усиленно работал над собой, гнал все мысли и старался принять спокойный, равнодушный вид.

XVIII

Берендя все лето провел в городе. Он стоически переносил утомительную духоту города и, высокий, лучезарный в своих длинных волосах, с подгибающимися коленками, с уставленным в пространство взглядом своих желтовато-коричневых глаз, в самую жару ежедневно отправлялся на урок в противоположную часть города. Он точно не замечал палящих лучей, раскаленной улицы и, занятый высшими соображениями, шагал, никогда не справляясь с теневой стороной: таким пустякам места не было в том мире, где витали его мысли. Если иногда прозаично в разгаре своего полета он наталкивался вдруг то на ручную тачку торговли, то на вертлявого еврейчика в своем

упрощенном костюме: штаны, жилетка с хвостиком сзади от рубахи, то говорил при этом свое обычное «о, черт возьми!», а если вдогонку ему несло «долговязый», «желтоглазый», то он прибавлял только шагу и, когда ругань стихала, опять уносился в свой мир.

Как истый философ, Берендя старался проникнуть в суть вещей и искал радикальных решений. Сегодня он ломал голову под впечатлением прочитанного по вопросам образования и воспитания. По его мнению, существующее образование было слишком расплывчато, бессодержательно, мало приспособлено к пониманию живых условий жизни и вообще больше заботилось о том, чтобы побольше набросать под ноги разных препятствий к достижению цели – быть разумным, самосознающим себя существом, – чем стремилось к этой цели. Обходя щекотливый вопрос о вреде и пользе таких предметов, как, например, древние языки, Берендя рассуждал так: жизнь показывает нам, что из тысячи обучающихся этой премудрости один, может быть, превращает предметы эти в действительное орудие, с помощью которого, роясь в архивах отлетевшей жизни, проверяет, выуживает там то, что еще можно выудить. Для остальных изучение этих предметов может иметь значение только в смысле развития памяти. Но классики не имели классиков, над которыми могли бы упражняться в развитии памяти: как ее ни развивай, всего не запомнишь, – для этого книги и существуют, и гораздо важнее другая способность человека: анализ, критическое отношение к жизни и себе, самосознание. Память у всякого человека есть, была и будет, – реалист и без латыни обладает памятью, а правильной работы мысли, если она нужна (а нужна, – думал Берендя), без развития уж никак не получишь.

Таким образом, не оскорбляя любителей древности, языки древние являются, во всяком случае, только специальным знанием и могут быть только ничтожным подспорьем в развитии второй-степенной способности человека.

К таким же специальным знаниям Берендя относил и алгебру, геометрию и тригонометрию. В общеобразовательный курс, по его мнению, должны были входить только самые общие понятия об этих предметах. Общеобразовательное заведение, думал Берендя, должно ограничиваться всего пятью классами, и пятнадцати лет юноша выбирает себе уже специальное занятие, на которое Берендя определял пять лет. Свыше двадцати лет уже необязательно прохождение ученых степеней, которые составляют принадлежность исключительно уже ученого мира.

Назавтра Берендя так же упрощенно дебатировал какой-нибудь вопрос общественных отношений. И здесь все было просто и ясно, и оставалось только удивляться, почему люди все вертятся вокруг да около и никак не желают увидеть то, что при доброй воле не требовало бы и доказательств. К этому вопросу любил часто возвращаться Берендя и жадно читал все книги на такую тему. Читал и добросовестно, с любовью конспектировал, стараясь записывать поражавшие его мысли словами самого автора. Его радовало то, что его а priori'ные выводы совпадали и с тем, что он читал. Он рассуждал так: с каждым отдельным человеком всегда можно договориться до истины, и понятия о добре и зле у большинства однозначные, а между тем жизнь так складывается, что торжествует далеко не всегда добро, – напротив, как раз злое и господствует. И в этом господстве воля и сознание отдельного лица всегда бессильно уступят общему положению дел. Сила, значит, не в этом отдельном лице, а в тех условиях общественной жизни, которые, как хомут, не дадут своротить ни вправо, ни влево. От этого хомута все и зависит. Где-нибудь в Турции жизнь глхнет, потому что общественная форма жизни там не хомут, а петля, мертвая петля, задыхаясь в которой люди бессильно бьются.

И глаза Беренди широко раскрывались, точно видел он перед собою всех этих бьющихся и задыхающихся в петле турок.

Берендя жил отшельником, и единственные лица, с которыми он довольно часто встречался в течение лета, были его приятели-пропойцы – Петр Семенович и Василий Иванович. Берендя любил делиться с ними своими мыслями. Василий Иванович только блаженно смотрел, кивал головой и, если водки не было, засыпал. Петр Семенович, смотря по тому, была или нет водка, благодушно или раздраженно возражал.

– Суть в том, – говорил он наставительно, – что человек, по существу, сволочь. Какой вы ему хомут ни придумывайте, не беспокойтесь, он тоже придумает, как свалить на шею ближнего всю тяготу.

– Но... но... – возражал Берендя, прижимая убежденно по два пальца от каждой руки к своей груди, – из этого не следует, что петля лучше хомута.

Петр Семенович только пренебрежительно махал рукой и отворачивался.

– Я... я... хочу сказать, что в... одном самоусовершенствовании т... толку нет... что... что ж, усовершенствуешься... и на столб садиться?

Петр Семенович не удостоивал даже ответа и грузно кивал только головой.

– Ах, Петр Семенович! – просыпался на мгновение Василий Иванович.

– Не... не знаю, – помахивая головой, с снисходительным самодовольством говорил Берендя.

Иногда под вечер, на знакомом бульваре, если бывали деньги (главным образом у Беренди), разговор приятелей кончался выпивкой. Петр Семенович приносил полштоф водки, хлеба, свежих огурцов. Огурцы так вкусно хрустели на зубах, хлеб казался ароматнее на свежем воздухе, и водка разливалась внутри так тепло и приятно.

Берендя испытывал особое удовлетворение от сознания, что теория у него не расходится с практикой. Он рассуждал: жизнь сводится к борьбе. Всякий, кто пришел на землю, пришел не для удовольствия, а для труда. Есть труд производительный – это альтруистический труд, и труд вредный – труд эгоиста, который думает только о своем личном благе да о благе своих кровных. К такого сорта людям Берендя относился с обидным пренебрежением. Избавляло этих людей от чувства обиды только то обстоятельство, что они и не догадывались о существовании презиравшего их философа Беренди, а Берендя и подавно не искал их общества.

Для успешной альтруистической борьбы, по мнению Беренди, совпадавшему с мнением Моисеенко, необходимы были два оружия: одно – развитие, то есть правильное понимание арены борьбы – с кем именно надо бороться и как, другое оружие – возможная независимость борца от общества. Первое оружие приобретается путем работы над своим развитием, второе – трудом в смысле заработка нужных для жизни средств.

Чтобы не тратить на это много времени, нужно приучать ограничивать свои потребности minimum'ом. Чем меньше их, тем независимее человек и тем справедливее его жизнь перед остальным обездоленным человечеством. Материальные лишения с избытком окупаются конечною целью, и чем она грандиознее, тем слаще тот черствый кусок, который он добровольно берет себе. Урок избавлял его от этой самой обидной и постыдной материальной зависимости. Труд чтения был для него не трудом, а неисчерпаемым наслаждением.

Уравновешенный, счастливый своей летней жизнью в этом отношении – в других отношениях Берендя был недоволен собой. Он приучился с своими приятелями пить водку. Он не раз давал себе обещание бросить – и не выдерживал. В сущности, выпивал он рюмку, две, но он был наследственный алкоголик, да и самый процесс питья в обществе опустившихся людей тяготил его.

Было еще одно обстоятельство, которое вдруг каким-то темным пятном выросло на лучезарном небосклоне Беренди. Напротив дома Беренди проживала некая молодая девушка по имени Фроська. Фроська служила в богатом мещанском доме в роли исполнительницы всевозможных черных работ. Жирная, грязная, с нечесаной косой и сальным следом от нее на спине всегда грязной кофты, с правильным, но бесцветным лицом Фроська показала Беренде чудом красоты: в некотором роде бриллиантом в плохой оправе. Его, философа, человека существа, оправка эта не смущала, а, напротив, сильнее тянула. Фроська любила под вечер постоять у забора, грызя семечки. Берендя любил играть под вечер на скрипке у окна, смотрел на Фроську и, наигравшись, отправлялся на бульвар. Проходя, опять он смотрел на Фроську, иногда оглядывался и после этого долго еще самодовольно улыбался, помахивая головой. Однажды он решил сказать ей: «Здравствуйте». В другой раз он спросил ее:

– Вы что ж не гуляете?

И так как Фроська только молча смотрела на него своими ничего не выражавшими глазами, то он так и ушел, не дождавшись ответа.

Как-то раз он был смелее и, остановившись, проговорил, заикаясь:

– С...слушайте, вы приходите на бульвар.

Она не пришла, и он обиделся.

Но тем не менее на другой день, нервно пощипывая свою редкую, пробивавшуюся бородку, он спросил, бодрясь:

– Вы что ж не пришли?

Так продолжалось, пока наконец Фроська не явилась на свидание. Первое время оба терялись и решительно не знали, что говорить и делать на этих свиданиях. Наконец, после целого ряда скучных и бесплодных свиданий, Берендя обнял и поцеловал Фроську, ощутил при этом едкий запах коровьего масла, которым предмет его смазывал свои волосы, ощутил сознание, которое выразил вслух по ее уходе словами: «Че... черт возьми, как это глупо!»

Он старался найти в себе какое-нибудь чувство к Фроське и ничего не находил. Тем не менее свидания продолжались. Сперва он пытался было и ее увлечь на высокий путь своих идеалов, но Фроська наотрез отказалась и от идеалов, и от обучения грамоте. Все в конце концов свелось к деньгам. Фроська и здесь обнаружила полное равнодушие, и, если бы не старания самого Беренди, она, вероятно, и не заикнулась бы о деньгах. Но раз давали ей, она брала равнодушно и прятала их. Фроська и приятели запутывали все больше денежные дела Беренди, и, извиняя приятелей, Берендя начинал чувствовать охлаждение к Фроське.

В день приезда Корнева и Карташева Берендя шел на свидание с неприятным предчувствием, что Фроське, по прежним расчетам, сегодня надо дать денег.

Светлая, точно с зеленоватым проблеском, в чистом, прозрачном голубом небе луна светила, как днем, заливала тихие пыльные улицы предместья и томила своей неподвижностью. Берендя шел, его длинная тень вытянулась через улицу, взобралась на стену противоположного дома и оттуда точно высматривала его. Еще издали он заметил в густой тени забора знакомую фигуру Фроськи, и сердце его неприятно сжалось.

Увидя Берендю, Фроська, всегда деревянная, равнодушная и покорная, дождавшись, когда он подошел, круто дернула плечами, отвернулась, приподняла передник и поднесла его к глазам с явным намерением заплакать. «Хочет плакать», – подумал Берендя и действительно вдруг услышал тихие всхлипывания Фроськи. Фроська стояла согнувшись и плакала.

Берендя наклонился и тихо, испуганно спросил:

– С...слушай, ты что?

Но Фроська молча продолжала плакать, только голова ее все энергичнее отрывалась и опять припадала к переднику.

Берендя еще тоскливее и испуганнее спросил:

– Ты... ты что?

Он почувствовал не то потребность, не то необходимость обнять ее, коснуться губами ее шеи и, повторяя мысленно свое «черт возьми», в третий раз повторил:

– Ну-ну, слушай же – говори!

Из-под передника донесся наконец лаконический ответ:

– Ну да!

И это требовательное «ну да» и энергичное движение плеча охватило Берендю каким-то новым предчувствием и страхом.

– Что? – спросил он, и мурашки забегали по его спине.

– Тяжелая! – вдруг раздраженно, цинично взвизгнула Фроська.

– О?! Тяжелая?!

Берендя не понял истинного смысла ее возгласа, но ужас тем не менее еще сильнее охватил его.

Когда, наконец, Фроська нетерпеливо и с отвращением объяснила ему, что значит тяжелая, Берендя растерянно произнес:

– Ну, что ж?!

– Ну да! – взвизгнула Фроська и раздраженнее стала плакать.

Берендя стоял и не знал, что ему теперь делать.

– С...слушай, я ведь не знал же, – тоскливо проговорил он.

Фроська долго плакала. Беренде стало жаль ее. Он обнял ее и стал утешать; он заставил ее поднять голову и посмотреть себе в глаза. Обычный бесцветный, безучастный взгляд Фроськи

скользнул по нем и устоял апатично в пространстве. Берендя еще целовал ее и наконец расшевелил деревянную Фроську, вызвав в ней какую-то тень не то отзывчивости, не то способности говорить. Фроська решительно заявила, что хочет идти к знахарке, и требовала десять рублей. Берендя отдал все, что у него было, – семь рублей, а остальные обещал принести завтра.

Он был рад прекращению свидания и поспешил уйти с чувством какого-то страха, что вот-вот догонит его Фроська и не позволит даже и уйти.

Но Фроська и не думала его догонять. Она все так же деревянно и задумчиво стояла под забором, а из-за угла к ней медленно подходила стройная, худая фигура юноши в матросском костюме. Если б Берендя догадался оглянуться или подслушать, он узнал бы много интересного. Но Берендя уже скрывался за углом с своей походкой подталкиваемого в шею человека и меньше всего думал о том чтобы оглянуться.

Фроська и подошедший тоже мало думали о долговязом желтоглазе.

Человек в матросском платье был не кто иной, как брат Гераськи, Яшка, друг детства Карташева. Яшка давно уже отбился от рук семьи, некоторое время пропадал без вести (говорили, что он сидел даже в тюрьме, ему же приписывали участие в разных мелких кражах) и вдруг опять появился матросом одного из заграничных пароходов. Отец его, Иван, успел умереть. Гераська давно правил домом, женился, и жена Ивана так же робко и покорно смотрела теперь в глаза невестки и сына, как, бывало, смотрела в глаза своего серьезного, строгого и в пьяном виде буйного мужа. Блудного сына приняли сдержанно.

Яшка делал вид, что ничего не замечает, и только беглый, беспокойный взгляд его одного глаза как-то неприятно и смутно говорил, что много грязного, циничного и порочного успел уже осадить в его душе поток жизни.

Сближение с Фроськой произошло случайно в силу того обстоятельства, что Гераська, живший теперь недалеко от Беренди, взялся сделать мешчанам, у которых жила Фроська, шкаф. Когда шкаф с потайным ящиком был готов, он с Яшкой отнес его хозяевам, и Яшка впервые увидел Фроську и пленил ее. Яшка, как тонкий знаток человеческой души, сразу понял, что Фроська для него находка, и – по пословице: даровому коню в зубы не смотрят – завладел ею. Фроська беспрекословно исполняла все его требования и тащила все, что могла, у своих хозяев для своего жестокого и требовательного повелителя. Тонкий, худой Яшка гвоздем засел в ее сердце: сердце болело и шло на муки. Яшка решил утилизировать и слабость Беренди: по его настоянию, Фроська ходила на свидания и полученные деньги отдавала Яшке. И теперь, по замыслу все того же Яшки, Фроська стояла в смутном раздумье с семью рублями в руках. Факт ее болезни был налицо, таким же фактом было и то, что Яшка завтра уходит в море, откуда, кто знает, вернется или не вернется он. Он, конечно, обещал жениться, но Фроська уже знала настолько своего возлюбленного, что угадывала истину. Угадывала и тем не менее верила или хотела верить. Понимала она и то, что не дай она ему эти семь рублей – и поминай как звали Яшку. Отдаст – останется и без Яшки, и без денег.

Яшка отлично понимал, какой процесс происходил в душе Фроськи, и рассыпался мелким бесом. Фроська давно уже утешилась мыслью, что «долговязый» принесет еще три рубля тогда, когда коршун Яшка будет уже в море, и на эти три рубля она устроит свое дело. Не отдавала же она еще денег только потому, что любо было слушать Яшку, а даст – перестанет говорить и уйдет. И долго еще Яшка, охваченный красноречием, возбуждаясь видом денег, говорил ей о диковинах моря, о больших городах, где живут турки, ходят в чалмах и халатах, держат по сотне жен.

Как-то сами собой перешли деньги в искусные руки Яшки, и не заметила она и опомнилась, когда Яшка уже был далеко.

– Яшка! – позвала она тоскливо.

– Чего? – нехотя подошел опять Яшка.

– Что ж ты мне скажешь?

– Сказал... приеду – женюсь...

– Обманешь?!

– Что мне обманывать? Сказал – сделаю.

Яшка беспечно, нетерпеливо почесал затылок и опять тихо пошел.

– Когда приедешь?!

– Через два месяца в акурате, – повернулся Яшка и, энергично сдвинув свою матросскую шапку, зашагал и скрылся за углом.

В сонной улице, в блеске луны, в аромате пыльного застывшего вдоль забора бурьяна понеслась разгульно-разбитная песня Яшки:

Несчастлива та дивчина,
Что полюбит моряка:
Моряк въедет в сине море,
Да и больше ничего.

А Фроська все стояла, ухватив изо всей силы своими здоровыми руками стойку забора, и слушала, застыв в тупой тоске, и смотрела в упор вдаль, и ненависть и любовь рвали ее жирное сердце. Яшка – этот вертлявый гвоздь, выдергивался из этого сердца, ничего нельзя было переменить, а взамен осталась она одна, тяжелая, на муки знахарки, и страх этих мук сильнее сжимал ее сердце. Вспомнилась контрастом другая фигура – долговязой глисты, желтоглазника, который как наклонится к ней да пахнет на нее, то так и перевернет ей все сердце. Фроська вдруг тоскливо заревела и, бросив стойку, плакала и надрывалась от слез. Не слышали этих слез ни Яшка, ни Берендя...

После обеда Берендя обыкновенно принимался за чтение. Он устроил себе во дворе у забора род беседки из простынь. Через несколько дней после описанного, в ворохе сена, в одной рубаше, окруженный книгами, с тетрадью и карандашом в руках, Берендя лежал в своей беседке, читал и выписывал в тетрадь интересные для него места. Он был рассеян, мысль часто отрывалась к Фроське, и он вдруг огорченно задумывался.

«Если быть последовательным, надо жениться. Но что такое Фроська? Какая она мне пара? Это кусок мяса, и только... овца. На овце разве можно жениться? У него может быть общее разве с ее ребенком, и в отношении этого ребенка есть его обязательства, а какие обязательства могут быть к Фроське? Добровольное сближение, случайность положения. Дать ей выход только из этой случайности... Он дал его... Ведь это, в сущности, гадость, а не выход. Нет, надо удержать ее... *Надо*».

Смутное сознание шевельнулось, что это *надо*, как и большинство житейских «надо», останется там где-то, в эмпириях, а жизнь пойдет своим чередом.

Он опять погрузился в чтение.

«А что, собственно, мешает мне это „надо“ выполнить? Положим, я женюсь... мне девятнадцать лет. Надо бросить гимназию? Ну, что ж, буду жить своим трудом. Ну, что ж? Тридцать рублей в месяц. Это одному, а с Фроськой? Но что я буду с ней делать?! Что такое, в сущности, „надо“ и где масштаб этого „надо“? Общеходячий! Та петля, которая в конце концов удушит его? Если даже с точки зрения естественной взять вопрос вырождения рода... Какой он отец, когда уже сам он отравленный алкоголик? Нет сомнения, что он будет таким же пьяницей, как и отец его... С той разницей, что в свободные минуты он будет продолжать свою альтруистическую работу, а отец затягивается в петлю. С Фроськой эта петля будет еще ужаснее!»

Он опять прогнал все свои мысли и сосредоточился на чтении.

«В сущности, я же не люблю ее?!» – мелькнуло и холодом ужаса охватило Берендю.

«А что общего между мной и ребенком?! Что общего между ней и моим ребенком?! Ребенок не мой и не ее».

Платон прав... Платон?! Он и Платон, их мысли сошлись. Мысли великого будущего! Берендя так и замер над раскрытой книгой, облокотившись на локоть, со взглядом, устремленным в дыру старой простыни...

– О-о-ой! – взвыл Корнев, приседая у входа.

Из-за Корнева выглядывало веселое лицо Карташева.

Фигура Беренди в ворохе сена, книги, оригинальный навес, взгляд Беренди – глубокомысленного, невозмутимо созерцающего основы будущего мира философа, – от всего этого веяло та-

кой своеобразной новизной и свежестью, так отвлекало от прозы действительности, что Корнев и Карташев забыли и о восьмом классе, и о скуке, которую несли было Беренде, и испытывали только одну радость свидания с Диогеном. Было смешно видеть Берендю в такой обстановке, было приятно его увидеть, было просто весело быть опять всем троим вместе.

После бурного здравья Берендя усадил товарищей на скамью и, точно отыскивая, чем бы их угостить, схватил свою тетрадь и, проговорив: «С...слушайте», – начал читать. Товарищи пытались было перебить его, но Берендя упорно продолжал свое чтение, и Корнев с Карташевым терпеливо слушали.

– «В аскетических письмах Гоголя все тот же дух, побуждавший некогда сибирских раскольников сжигать себя. Эти люди имели в себе все качества души, которыми некогда прославляли себя и спасали отечество от варваров и Муций Сцевола, и Деций Мус, и все страдальцы новой цивилизации. Увы! Не сибирских аскетов, не Гоголя вина, что они схватились за ложные средства, *saeculi vitia non hominis* – пороки эпохи, а не человека. И пока не изменятся понятия и привычки общества, едва ли удастся кому бы то ни было при всех возможных анализах собственной души изменить те привычки, которые поддерживаются требованиями общества, обстановкой нашей жизни, и отказаться от дурных привычек, господствующих в обществе, увы, точно так же нельзя, как и нарушить хорошие привычки, утвердившиеся в обществе.

Итак, лучше всего не в себе, а в общих условиях жизни искать, чем, какими обстоятельствами и отношениями порождены и поддерживаются пороки. И пока эти обстоятельства и отношения, порождающие пороки, существуют, до тех пор бессильны единицы: на долю толпы достается тупая, прозябательная жизнь, а на долю единиц – страдания. И чем выше эти единицы, тем ужаснее их конец. Легок и весел был характер Пушкина, а уж на тридцатом году изнемогает он нравственно и умирает через несколько лет. Помянем и Лермонтова:

За все, за все тебя благодарю я:
За жар души, растрченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Кольцов?!

В душе страсти огонь
Разгорался не раз,
Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.

Жизнь! Зачем же собой
Обольщаешь меня?
Если б силу бог дал,
Я разбил бы тебя.
Не вспомним ли и Полежаева, который,

Не расцветши, отцвел
В утре пасмурных дней.

Долго бы вспоминать всех: кого ни вспомнишь из сильных душою людей, все они годятся в этот список. Невозможно сомневаться в том, что и Гоголь уморил себя, по свидетельству доктора А. Т. Тарасенкова. Не вина Гоголя в том: к тридцатым годам, после бурного возбуждения молодежи возвышенными идеями – наступала реакция, столь обычная в русской жизни. Нельзя было услышать в кругу молодежи ни одного из тех громких слов, над которыми так легко смеяться, но без увлечения которыми бедно и пусто сердце юноши, а взрослого человека пуста и прозаична жизнь. Пусть живет, кто может, такой жизнью, но не будем клеймить тех, кто не может. Не мог и Гоголь. Его конец был тем ужаснее, чем колоссальнее была сила его натуры.

Мир тебе! Во тьме Эреба
Ты своею силой пал...⁹

Корнев во время чтения брал с полу то ту, то другую книгу. Тут были и Берне, и Гейне, и журналы прежних годов, и журналы последних дней.

– Что это ты читал? – спросил Корнев, перелистывая Гете.

– Брось-б-брось, – горячо заговорил Берендя, увидя в руках Корнева Гете, – ж-жил в самую тяжелую эпоху страданий своего народа и... и... не отзывался ни одним звуком. Лучшую эпоху ф...французов называет п...печальной ошибкой...

– О-о-ой! – надрываясь от смеха, стонал Корнев. – Да что ты читал?

– В...выписки делаю, – лучше запоминается.

Корнев взял в руки увесистую тетрадь Беренди.

– Это все летом? Здорово работал.

Корнев с завистью посмотрел на Берендю и принялся сосредоточенно за ногти.

– Чай есть? – спросил Карташев.

Берендя, удовлетворенно следивший за Корневым, возвращенный Карташевым к действительности, смущенно ответил:

– Че... черт возьми. Как раз все деньги вышли.

– Идем к нам, – предложил Карташев.

– О?! – нерешительно произнес Берендя.

– Конечно, – подтвердил Корнев.

Берендя на мгновение задумался и, замотав головой, проговорил:

– Что ж? идем.

– Ну, так идем, – встал Корнев.

– Постой, отчего вы так рано приехали из деревни?

Карташев покосился на Корнева и опять сел.

– Так, ерунда, – раздумчиво сказал Корнев.

Корнев, щадя самолюбие Карташева, передал вкратце события в деревне.

– Т...ты говорил с матерью? – спросил по окончании Берендя.

Карташеву было тяжело и неприятно.

– Что ж ей скажешь? – скажет: мальчишка... – Наступило молчание.

Берендя опустил голову и машинально смотрел в свою тетрадь.

– С...слушай, я не пойду к тебе.

– Идем, – тоскливо и быстро позвал Карташев.

– Идем, – поддержал и Корнев.

– Е-ей-богу, не пойду...

– Ну, что за ерунда!

Карташев обиделся.

– А как ты думаешь, с...сознает она?

– Ну, да брось, одевайся, – настаивал Корнев.

Берендя в нерешительности смотрел на Карташева. Не хотелось ему обидеть и Карташева, не хотелось и встречаться с Аглаидой Васильевной, – тянуло к книгам, и жаль было терять время.

– Нет, ей-богу... Я лучше в другой раз...

– Ну, так как же? – спросил Корнев, смотря на Карташева. Карташев, видимо, обиделся.

– Ну, че...черт с тобой, идем.

– Нет, конечно, это свинство, – начал было Карташев и наклонил голову.

– Да брось, – перебил его Корнев, – идет. Ну, одевайся.

Берендя взял со скамьи грязный пиджак.

– Ну и отлично.

Берендя добродушно усмехнулся и не без едкости спросил:

⁹ Из стихотворения В.А. Жуковского «Торжество победителей».

– М...может быть, она прикажет меня вывести?

Карташев совсем обиделся.

– Ишь какой ты стал! – хлопнул Берендю Корнев по плечу. Все трое вышли.

На улице царила пустота сумерек.

Берендя шел с Корневым впереди, а Карташев плелся поодаль. Корнев как-то вдруг не то забыл о Карташеве, не то потерял к нему интерес. Напротив, Берендя привлекал его к себе, и он повел с ним оживленный разговор.

Беренде было приятно это внимание, он с достоинством щипал свою бородку и энергичнее обыкновенного помазывал головой.

– Несомненно, – говорил, шагая, Корнев, – полный разлад между теорией и практикой... В деревне это как-то особенно рельефно – это разделение труда, о котором кто-то сказал, что одни сеют пшеницу, а другие едят ее. С одной стороны, конечно...

Корнев пренебрежительно махнул рукой.

– А впрочем... С другой стороны, нельзя не признаться, а с другой – нельзя не сознаться... и в конце концов теория и практика вот как стоят друг против друга.

Он показал пальцами, поставив их один против другого, как стоят теория и практика, и махнул пренебрежительно рукой.

– Придет, конечно, время, – сказал он, помолчав.

– Н...не для всех. Персам, например, просто не по средствам будет уж догнать... И...история показывает нам, что и прежде упущенное время не наверстывалось... И тут работает уж п...просто экономический закон... неизбежный. П...под защиту более сильного н...нужда поставит. Бухара...

– Движение, конечно, есть.

– Достаточность этого движения кем определяется? доброй волей убежденного, что оно достаточно?

– Типичное, в сущности, время, – раздумчиво заговорил опять Корнев. – С одной стороны, будто и правы его мать и мой почтеннейший родитель. Кто мы? Мальчишки... А с другой, ведь это все вопросы, поднятые людьми такого ума, перед которыми и мой батюшка и его мать... А ведь апломб какой! Ну, мой-то хоть мычит только, а возьми его мать? Послушаешь – вдохновенье, убежденность... а в сущности, одно сплошное недомыслие или, еще хуже, фарисейство... Прямо понимает и морочит... себя, конечно. А Неручев уж просто наглец: врет без зазрения совести прямо в глаза: знает, что врет, и глазом не моргнет.

– Кто это Неручев?

– Один сосед Карташева.

Корнев сосредоточенно принялся опять за свои ногти.

– Ерунда, – сказал он пренебрежительно.

– К...корабль без якоря. Р...работа без устоев... Кучка возится, строит, а... а пришла волна м...мрака, и... и все к черту, к...колесо белки. Нет фундамента о...образования д...достаточного, чтоб противостоять н...напору этой волны... И... и покамест так будет, из бездны м...мрака вылезет еще с...столько охотников...

Берендя шел, как палка, подгибал коленки, смотрел своими лучистыми глазами твердо и непреклонно перед собой, спокойно, равномерно все гладил свою бородку, и только похолодевшие пальцы его рук нервно дрожали да сильнее разлилась мертвенная желтизна от глаз по щекам.

Некоторое время оба шли молча.

– Восьмой класс... – проговорил Корнев.

С лица Беренди слетело все вдохновенье. Это был опять прежний испуганный, растерявшийся Берендя.

– Врешь?! – замирая, спросил он.

– Да вот...

Корнев лениво остановился и мотнул на подходившего Карташева. Карташев начал было нехотя, но злоба дня захватила, и приятели горячо и возбужденно заговорили на жгучую тему.

Они незаметно вошли в отворенную калитку карташевского дома и через двор прошли пря-

мо на террасу.

– Может, все это еще только слух, – сказал Корнев, отгоняя неприятные мысли.

В сумерках мелодично раздавалась игра Наташи. Корнев сделал жест, и все трое на цыпочках пошли по террасе, чтоб не услышала Наташа. Они тихо уселись на ступеньках и молча слушали. Наташа импровизировала, по обыкновению. Ее импровизацию особенно любил Корнев и называл ее в шутку Шубертом. Мягкие, нежные, тоскующие звуки лились непрерывно, незаметно охватывали и уносили.

Вечер, сменивший жаркий день, пока точно не решался еще вступить в свои права. Было пыльно и душно. Но в небе уже лила свой обманчивый прозрачный свет задумчивая луна. В неподвижном воздухе застыли утомленные в безмолвном ожидании ночной свежести деревья. Только наметились бледные тени; скоро стусуются они и темными полосами рельефнее отсветят яркость луны. В воздухе, в саду было пусто, и только нежная музыка наполняла эту пустоту какой-то непередаваемой прелестью. Звуки, как волны, мягко и сильно уносили в мир грез, и дума вольная купалась в просторе летнего вечера.

Наташа кончила и, рассеянно пригнувшись к роялю, задумчиво засмотрелась в окно. Аплодисменты слушателей с террасы вывели ее из задумчивости. Она встала, вышла на террасу, весело поздоровалась и заявила:

– А мамы и Зины нет дома.

– Это, конечно, очень грустно, – пренебрежительно ответил Корнев, – но так и быть, могут подольше на этот раз не являться.

– Ну, пожалуйста, – махнула рукой Наташа и, присев на ступеньки, заглядывая в небо и в сад, сказала: – Скоро потянет прохладой.

– А пока положительно дышать нечем, – ответил Корнев, присаживаясь около нее.

Сели Берендя и Карташев. Карташев крикнул:

– Таня!

В лунном освещении в окне показалась Таня.

– Мы чаю хотим.

Таня ушла, а они все четверо продолжали все тот же разговор, тихий, неспешный. Наташа отстаивала мать и все старалась придумать что-нибудь такое, чтобы и мать оправдать и признать правильным постановление брата и его товарищей.

– Оставьте, – пренебрежительно говорил Корнев, – все это одно бесплодное толчение воды выходит: и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Это ведет только к отупению. Ставьте прямо вопрос: где правда?

– Правда, конечно, у вас.

– Ну, так в чем же дело?

– Сразу нельзя.

– Почему нельзя?

– Ничего сразу не делается.

– Значит, сложить руки и ждать? – спросил Карташев.

– Жди! – ответила Наташа.

– Ну, так я лучше себе голову об стену разобью.

– Какой же толк из этого?

– А какой толк сидеть сложа руки? У меня две жизни? Я не могу и не хочу ждать.

– Все равно не разобьешь же себе голову: будешь ждать.

– Ну, так еще хуже будет: другие разобьют.

– Никто не разобьет, – махнула рукой Наташа. – Так и проживешь.

– Я, собственно, не понимаю, что вы хотите сказать? – вмешался Корнев.

– Хочу сказать, что жизнь идет, как идет, и ничего переменить нельзя.

– Но, однако же, мы видим, что меняют.

– Меняют, да не у нас.

– Что ж, мы из другого теста сделаны?

– А вот и из другого.

– Ну, оставьте, – досадливо проговорил Корнев. – Пусть какая-нибудь отупелая скотина или там из разных подлых расчетов доказывают, что там хотят, но не давайте себя, по крайней мере, вводить в обман.

– Не знаю... – начала Наташа, но оборвалась и замолчала.

Берендя слушал, смотрел на разговаривавших и теперь, когда все замолчали, помахивал головой, собираясь что-то сказать.

– Ну, да довольно об этом, – предупредил, не заметив его намерения, Корнев, – дураков не убавишь в России, а на умных тоску наведешь. Манечка, сюда! – хлопнул он рукой по террасе подходившей Мане.

Маня посмотрела, подумала, села возле Корнева и сказала:

– А мама не позволяет называть меня Манечкой.

– Пустяки, – авторитетно произнес Корнев. – Манечка вы – и все тут.

– Ну, хорошо, спросим у мамы.

– Совершенно лишнее. Надо стараться приучаться своими мозгами вертеть: мама завтра умрет, – что ж вы станете делать тогда?

– Какие вы глупости говорите.

– Умница, Маня, – поддержала Наташа.

– Яблоко от яблони...

– Ну, отлично, – перебила Наташа.

– Вовсе не отлично.

– Если вам говорят отлично, так, значит, отлично, – настойчиво сказала Маня.

Разговор незаметно перешел в область метафизики, и Берендя стал развивать свою оригинальную теорию бесконечности. Он говорил, что в мире существуют три бесконечности, три кита, на которых держится мир: время, пространство и материя. Из бесконечности времени и пространства он довольно туманно выводил бесконечность материи. Скромный Берендя предпослал своей теории предупреждение, что, в сущности, эта теория не его и начало ее относится к временам египетских мудрецов. Все слушали, у всех мелькали свои мысли. У Наташи мелькала веселая мысль, что Берендя со своей теорией и сконфуженным видом, со своими раскрытыми желтоватыми, напряженно в нее уставленными глазами сам египетский мудрец. Ей было смешно, она смотрела в глаза Беренди весело и ласково и, давно ничего не слушая, постоянно кивала ему головой, давая тем понять, что ей ясно все, что он говорит.

Корнев рассеянно грыз ногти, не слушал Беренди, о чем-то думал и, только встречаясь глазами с Маней, делал ей вдруг строгое лицо. Маня, как молодой котенок, наклоняла в такие мгновения голову и всматривалась загадочно в глаза Корнева.

– Да-а, – протянул вдруг ни с того ни с сего Корнев.

И, когда Берендя уставился на него в ожидании возражения и все повернулись к нему, он смутился и скороговоркой проговорил:

– Конечно, конечно.

– Что «конечно»? – спросила Наташа, давась от разбивавшего ее смеха.

И все, смотря на Корнева, и сам смущенный Корнев начали смеяться. Разговор о метафизике оборвался, потому что Корнев после смеха, махнув рукой, решил:

– Брось ты к черту всю эту бесконечность; не все ли там равно: конечно, бесконечно, – факты налицо: я существую, и вторично я не буду существовать. Тем хуже, черт возьми, если все, кроме меня, бесконечно.

– А вот и мама звонит! – воскликнула Маня и побежала навстречу матери.

Когда раздался звонок, всем стало жаль нарушенной уюти. Наташа встала. На ее лице было ясно написано это сожаление и в то же время сознание незаконности такого чувства.

XIX

Волновалось общество, волновалась печать, шли горячие дебаты за и против классического образования. Родители и ученики с страстным вниманием следили за ходом этой борьбы. Реформа

семидесятих годов положила конец этой борьбе. Образование в классических гимназиях было признано недостаточным: вводился восьмой класс и аттестат зрелости. Увеличение программы шло исключительно за счет классических языков: удваивалось число уроков латинского, вводился другой древний язык – греческий, равнозначный по важности с первым.

Введены были второстепенные классы гимнастики, пения и даже танцы. Последнее уж была личная идея нового директора, или, вернее, жены директора, женщины светской, с претензиями. Непривычный глаз странно осваивался с скромной фигурой офицера на гимназическом дворе: ученики маршировали, строились в ряды, по команде приседали и проделывали разного рода артикулы.

Соборный регент, темный, с черными хохлацкими усами, с черными без блеска глазами, в рекреационном зале стесненно обводил взглядом своих новых учеников. Разочарованное лицо его ясно говорило, что никогда искусство этой насмешливой и вольной толпы учеников не сравнится с строго выдрессированной школой его соборных певчих. Из маленьких больше подавали надежды: серебряный дискант Сережи Карташева звенел по зале, и он смотрел с таким выражением своих усердных глаз на регента, какому позавидовал бы любой из настоящих певцов его хора. Регент не мог равнодушно видеть этого усердия Сережи, гладил его по голове и предсказывал хорошую будущность его голосу. Появился снова представитель хореографического искусства, старый учитель танцев m-г Дорн, гигант, во фраке, с рябым облезлым лицом, в золотых очках, с широкой и длинной ступней своих гуттаперчевых ног. Он шел по знакомой лестнице в знакомую залу так же, как, бывало, ходил, когда в коридорах вместо теперешних серебряных галунов мелькали красные воротники полных пансионеров. Прежний директор подал в отставку: одни говорили – по собственному желанию, другие – вследствие недоразумений с попечителем. Одно время носился по городу упорный слух, что, напротив, попечитель уйдет. Но попечитель остался и энергичнее прежнего исполнял свои обязанности. Большой, с торчащими ушами, он часто появлялся в гимназии и, ходя по коридору, внимательно всматривался своими близорукими глазами в учеников. Новый директор – пожилой уже, плотный, с маленькими масляными глазами, длинной бородой и тонким носом, с виду простой и добродушный, доверчиво-почтительный с попечителем, который, в свою очередь, дружески то и дело брал его под руку, – неразлучной тенью следовал за своим начальством, держал себя пренебрежительно-далеко с учениками и, так же как попечитель, с одними учителями был хорош, других едва удостоивал внимания.

– Что, он был преподавателем? – спрашивал раздумчиво Корнев, стоя у дверей коридора и следя за исчезающим у себя в квартире директором.

– Вероятно, был, – отвечал, встряхиваясь и засовывая руки в карман, Долба, – собственно, специальность его, как говорит наш Иван Иванович, – администрация...

– Ох, Иван Иванович! – махнул рукой Корнев.

Иван Иванович был назначен воспитателем седьмого класса: на его обязанности лежало навещать учеников на их квартирах, следить за жизнью их, за соблюдением формы, стрижкой волос, бритьем бороды, ношением ранцев. Конфузливый, деликатный, Иван Иванович исполнял все по инструкции, являлся на дом к ученикам, смотрел так, точно просил прощения, и спешил уйти, говоря уже в дверях скороговоркой и конфузясь:

– Господа, пожалуйста, – книжки ненужные на виду... пожалуйста, не держите...

– Будьте спокойны, Иван Иванович... да ведь мы же...

– Пожалуйста...

В общем, компания довольно индифферентно относилась к новым порядкам. Несмотря на все Сциллы и Харибды, которые вырастали кругом, – ученикам седьмого класса не из-за чего было приходить в уныние: передержка по-латыни прошла благополучно. Митя, с назначением нового директора, увольнялся в отставку и на прощание был снисходительнее обыкновенного, пропустив на передержке всех.

Восьмой класс тоже оказался не таким страшным: все, кто получают за год и на экзаменах чetyре – будут избавлены от него. Являлась надежда на снисхождение, да и время было не упущено, чтоб засесть как следует. Ясно намеченная, уже близкая цель, жажда в этом же году вырваться из

начинавших делаться цепкими объятий гимназии – придавала энергию и бодрость. Даже латынь, скандовка, грамматика и переводы классиков, с ускользавшим всегда смыслом, представляли свой своеобразный вкус – сладкого конца какой-то утомительной скучной работы.

Пыл, впрочем, скоро прошел, и все пошло по-старому: скучно и бессодержательно.

Вместо сметных четверок и пятерок в журнале мелькали больше тройки попеременно с двойками и даже единицами.

Особенно много таких единиц расплодилось в журнале нового учителя латинского языка, бывшего преподавателя младших классов. Новый учитель, молодой, стремительный, с напряженным взглядом и несимпатичным лицом, рвал, метал и не мог примириться с колоссальным незнанием учеников седьмого класса.

Он злорадно, где только мог, трубил об этом незнании, возмущался и чувствовал себя в роли полководца, получившего, вместо выдрессированной армии, каких-то нищих духом сорванцов. Возмутительнее всего было то, что ученики не только не разделяли с ним его пыла, но проявляли, напротив, обидный скептицизм насчет того, что действительно ли так ужасно то, что они ничего не знают. В обоюдные отношения учеников с учителем все больше и больше стало проникать раздражение.

– Те... te doktum hominum esse... ты... ты ученый человек, – носясь с книгой по классу, выкрикивал бойко учитель.

– Сука беременная, – шептал Корнев своему соседу Рыльскому.

Рыльский, сосредоточенно вычерчивавший в это время петушка, только выше подымал брови и усерднее надавливал карандашом.

– Господа, я попрошу вас разговоры во время уроков оставить... При вашем знании учеников второго класса... Карташев, куда вы?

– У меня живот болит.

– Странно... мне кажется, вам следовало бы все-таки спросить разрешения.

– У нас не спрашивали прежде.

– Странно.

Карташев все-таки уходил, а учитель, красный от досады, раздраженно сдвигал брови и еще азартнее впивался в следующую фразу книги.

– Ларио, прошу вас продолжать.

Ларио – второгодник, был весь поглощен опереткой и меньше всего думал о латыни.

– Я сегодня не могу, – вставал Ларио и садился.

– Странно. В таком случае я вам поставлю единицу.

Ларио молча изъявлял согласие, и учитель ставил единицу, опять краснел, молчал и говорил:

– Господа... я должен вас предупредить, что лица, не желающие заниматься, останутся в восьмом классе...

Но угрозы как-то не действовали.

Часто после уроков ученики наблюдали, как он, вырвавшись в коридор и приметив директора, бросался к нему и, идя рядом с равнодушно-величественным директором, начинал ему что-то горячо докладывать.

Директор пренебрежительно слушал, бросал два-три слова и уходил от учителя.

Учитель, красный и потный от волнения, спешил так же усердно назад под перекрестными насмешливыми взглядами учеников.

– Возмутительнее всего, – говорил Корнев, – что человеку всего двадцать три года... Откуда мог вырасти этакий гриб.

– Ну-у... – насмешливо кивал головой Рыльский.

– Грибы всегда найдутся, – отвечал Долба, – только потребуй.

Корнев молча принимался за свои ноги.

Однажды учитель, приносивший с собой всегда какую-нибудь новинку, явился в класс и, сделав перекичку, сдержанно заявил ученикам, что он составил список класса по степени их успехов.

– Я вас не буду утруждать чтением его всего...

Учитель нервно порылся в портфеле, достал список и прочел:

– Последними Ларио и Карташев... Я долго сомневался, кому отдать пальму первенства, и решил так: господин Ларио предпоследний, потому что ничего не знает, господин Карташев последний, потому что ничего не знает и груб.

Учитель побагровел, ноздри его раздулись, и он так спешно стал прятать свой список, точно боялся, что его кто-нибудь отнимет.

– Эка, круглый! – усмехнулся Рыльский.

– Есть недостатки более неисправимые, – ответил вызывающе Карташев, – глупость...

– Вы так думаете? – быстро поднялся учитель, – так я вас попрошу отнести эту записку к директору.

Карташев подумал и ответил:

– Я вам не обязан записок носить... Для этого сторожа есть...

– Хорошо-с, я и сам отнесу... А впрочем, для таких пустяков не стоит прерывать урок...

Учитель нервно спрятал записку в карман и продолжал урок.

– Придумает же, – пренебрежительно, подняв плечи, проговорил после урока Рыльский.

– Это как в доброе старое время записки крепостные в полицию носили... Принесет – его и выпорют.

– Карташев, к директору, – мелькнул в дверях долговязый Иван Иванович. – В учительской, – меланхолично указал он.

Карташев, оправляясь, вошел в приемную. Из накуренной учительской с папироской в зубах вышел к нему директор. Директор шел не спеша, наседая всем туловищем на толстые ноги, и спокойным взглядом мерял Карташева.

Леонид Николаевич, вошедший в это время из коридора, скучный, равнодушный, мельком посмотрел на Карташева, скользнул взглядом по директору и, не меняя равнодушно-усталого вида, прошел в учительскую.

– Вылететь вон захотелось? – равнодушно, просто спросил, подойдя, директор.

Он сделал небрежную паузу и прибавил:

– Что ж, и вылетите...

Это было сказано таким простым голосом, что Карташев ни на мгновение не усомнился, что так и будет.

– Ваше превосходительство...

Карташев знал, что директор требует такого обращения, но надеялся, что никогда не придется ему именно так величать нового директора; теперь же не только проговорил «ваше превосходительство», но проговорил так мягко и нежно, как только мог.

– Что ж «ваше превосходительство»?.. – спокойно спросил директор, ожидая, что еще скажет Карташев.

– Я очень сожалею, если оскорбил учителя... но он слишком не щадит самолюбия...

– А оно, очевидно, велико у вас, так велико, что по спискам вы оказались последним: действительно, задел самолюбие...

Директор брезгливо ждал ответа.

Карташев потупился и молчал.

– Я думаю, что мы можем договориться с вами с двух слов: первая жалоба учителя – и вас не будет в гимназии. Понятно?

– Понятно, – прошептал Карташев.

– Ну, и марш!

– Что? что? – посыпалось на Карташева, когда он вошел в класс.

– Ничего, – пожал плечами Карташев, – сказал, что выгонит.

Карташев сел и безучастно задумался. Хорошего было мало: если не выгонят, то срежут; и, несмотря на это сознание, он чувствовал какую-то роковую неспособность переломить себя и застесаться за эту проклятую латынь.

Другой приговоренный, Ларио, был, напротив, весел и беспечен, он напевал из оперетки и с треском передавал содержание пикантных мест ее.

– Да-с, – многозначительно протянул Корнев, косясь на Карташева, – вы все-таки, господа, того... ухо остро держите... вы тоже, *signior* Ларио... Смотри: опять застрянешь.

Он любовно, добродушно хлопнул по плечу Ларио.

Ларио нетерпеливо дернул плечом.

– Начхать...

– Эх, ты...

– Да, уж вот такой, как есть: что люблю, то люблю, чего не люблю – извините...

Ларио сделал комичный жест и, скорчив отчаянную физиономию, крикнул бодрясь:

– Кто со мной в оперетку?

– Да брось ты свою оперетку, – отвечал лениво Корнев.

– Вася, не фальшь! Говоришь не то, что думаешь: дай себе отчет. Стой! зачем бросить?

– Разврат же...

– То есть в чем?

– Ну, точно не знаешь? чуть не голые выходят на сцену...

– Врешь... выходят в древних костюмах... Чем же бедненькая Еленочка виновата, что тогда так ходили... Постой... Ты классик? Ну, и должен ей сочувствовать. Да, наконец, отчего же и не посмотреть это самое декольте? Я не знаю, как ты, а я во~ какой корпуленции и в монахи не собираюсь.

Ларио конфузливо шурился и, маскируя неловкость, пускал низкие ноты «хо-хо-хо!».

– Рыло, – задумчиво хлопал его по брюху Корнев, в то время как компания смотрела на Ларио с каким-то неопределенным любопытством.

– Вот те и рыло... Мне, батюшка, жена самонастоящая и то впору, а ты рыло.

– Пожалуй, и от двух не откажешься, – весело подсказал Долба.

– Черт с ними, давай и две.

– Действительно, в сущности... – говорил Корнев, любясь сформированной широкоплечей фигурой Ларио.

Ларио быстро поворачивался, хлопал себя наотмашь и спрашивал:

– Il y a quelque chose, messieurs, la dedans, n'est-ce pas?!¹⁰ А ты с латынью да с экзаменами... Всякому овощу свое время... Тятка-покойник, пьяница и николаевский полковник...

– Ох, черт!

– ...никак не мог понять, отчего я пареной репы не любил: так и умер с тем, что не понял... Бывало, бьет, как Сидорову козу: «Ешь, подлец, репу!» – «Не бу-ду есть ре-пу!» Так и умер. Умирая, говорит: «Драть тебя некому будет».

Учитель словесности окончательно свалился и умирал от чахотки, лежа один в своей одинокой квартире.

– Жаль человека, – говорил Рыльский, – а все-таки кстати.

– Ох, зверь человек! – улыбался Корнев на замечание Рыльского.

– А что бы он с нами на экзамене сделал?

– Да бог с ним, – пусть умирает.

Новый учитель, молодой бесцветный блондин, мял, тянул, выжимал из себя что-то, и дальше биографий не шел.

– В сущности, жаль все-таки, что Митрофан Васильевич свалился, – говорил Корнев, – ну, перед экзаменами бы еще так и быть...

– Жаль, жаль, – соглашался Долба, – в прошлом году он обещал коснуться разных веяний.

– Положим, судя по началу, вряд ли бы удалось ему в нынешнем году...

Корнев лениво вытянулся и сладко зевнул.

– Черт его знает, тощица какая... Гоголь был сын, Пушкин был сын... Ах, ты сын, сын – тянет, тянет, душу всю вымотает...

Невесело было и на уроках истории. Леонид Николаевич ходил скучный и неохотно вступал

¹⁰ Тут что-то есть, не правда ли?! (*фр.*).

в какие бы то ни было разговоры. И у учеников стал пропадать вкус к ним.

– Черт его знает, старше становимся или глупеем, – сомневался Корнев.

Было ясно одно: гимназия делалась все больше и больше чужой. Там, в темных коридорах младших классов, кипела жизнь, раздавался визг и хохот, но знакомую читателю компанию уже не манила эта жизнь, и, сонная, равнодушная, она тянула время, как бы говоря своими апатичными, скучающими фигурами: лишь бы прошел день до вечера.

Чтение как-то тоже не шло на ум.

Карташев часто, лежа на диване, думал и копался в себе: что его интересует?

Уроки? К ним, кроме смертной тоски и томления ничего не ощущалось. Чтение? Прежде он любил его, чувствуя какую-то новую почву. И пока эта почва чувствовалась, и чтение было интересно. Но эта почва как-то ускользнула, что-то, какая-то связь точно порвалась: книга осталась книгой, а жизнь пододвинулась и во всех своих проявлениях так не схожа с книгой, что, очевидно, книга одно, книга – дело рук неопытного идеалиста, а жизнь имеет свои, совсем какие-то другие законы. С одной стороны, что-то тянуло к этой жизни, тянуло мириться с ней, приспособиться к ней, с другой – было скучно и уж не было того идеального чувства ни к жизни, ни к матери, какое было раньше, несмотря на всякие споры и протесты и его и ее. Теперь и споров почти не было, – было просто равнодушие, апатия и сознание, что мать такой же человек, как и все. И от этого сознания делалось еще скучнее, и Карташев тревожнее рылся в себе и искал своих желаний. Может быть, он хочет любить? Нет, он никого не любил и не хотел любить. Прежде он хотя лакомства любил, – теперь и их разлюбил.

«Неужели же так-таки ничего решительно я не люблю?» – подумал с некоторой тревогой Карташев.

Он еще раз проник в себя и не нашел в себе ничего, что вызывало бы в нем охоту к жизни.

«Таня!» – мелькнуло вдруг где-то в сердце и замерло в истоме.

«А если бы я к ней пришел вдруг ночью?!»

Карташев задохнулся и испуганно гнал эту мысль. Но мысль не уходила, овладевала сильнее, и в фантазии Карташева проносились одна другой соблазнительнее сцены.

– Тёма, на кого ты стал похож, – говорила Аглаида Васильевна, – бледный, желтый, синяки под глазами...

Карташев смущенно улыбался, тер свое лицо руками и, когда оставался один, долго и пылливо смотрел на себя в зеркало. Он догадывался о причине своего потускнелого вида, давал себе клятвы не думать о Тане и в знак твердого решения энергично садился за уроки. Но какая-то сила снова возвращала его все к той же мысли.

Иногда вдруг среди урока в гимназии его охватывало тяжелое воспоминание, и, удрученный, он погружался в самоанализ. Он спохватывался от этого самозабвения и часто на лицах других товарищей читал отпечаток своих мыслей. Однажды он прочел на лице Корнева свои ощущения и долго потом подавлял неприятное, безразличное чувство к нему. По временам он питал такое же чувство и к себе, и тогда тоска охватывала его сильнее, и он томился и не знал, что же ему делать с собой? В обыкновенное время он подавлял свою память, но она сковывала его невольно, и это резко обнаруживалось в его манере, конфузливой и неуверенной и в то же время какой-то вызывающей.

Аглаида Васильевна часто незаметно и пылливо всматривалась в сына и думала тревожную думу.

Иногда она вдруг неожиданно входила в сумерки к нему в комнату и, видя сына лежащим на кровати, тревожно и огорченно спрашивала:

– Что ты делаешь впотьмах?

– Ничего, – угрюмо отвечал Карташев.

– Зажги лампу.

Однажды под вечер, когда Карташев, Семенов, Вервицкий и Берендя сидели в комнате у Карташева, или, вернее, сидел один Берендя, по обыкновению держась, как палка, и смотря, не мигая, перед собою, Карташев же с Семеновым лежали на кровати, а Вервицкий – на трех стульях,

дверь распахнулась и, кружась и толкая друг друга, в комнату ворвались Ларио, Корнев, Рыльский, Долба и Дарсье.

Чтобы ей угодить, веселей надо быть,
И для вас мой приказ, чтобы жить – не тужить...
Тру-ла-ла, тру-ла-ла,
Тру-ла-ла, тру-ла-ла.

Компания с азартом вскидывала ногами, пригнув головы и подобрав фалды своих сюртуков. Долба просто откалывал самый настоящий малороссийский трепак.

– Тьфу! – проговорил, наконец, Корнев, – сегодня «Прекрасная Елена», а вы тут киснете: да ей-богу... Идем...

– Со...собственно... – начал было Берендя.

– Что, собственно, когда, собственно, и не видел еще, – насмешливо перебил его Ларио.

И все пошли на «Прекрасную Елену» и потащили с собой и Берендю.

– Действительно так интересно? – с напускной небрежностью спрашивал дорогой Карташев Корнева.

– В сущности, оригинально... свежо... музыка мелодичная. Да нет, хорошо... Легкий развратец, конечно, есть, да ведь не в монахи же мы готовимся.

– Умные речи приятно и слушать, – хлопнул по плечу Корнева Ларио.

– Да ей-богу... – в сущности, ведь что такое? Homo sum.¹¹ – Корнев махнул рукой.

Быстро молодость промчится...

– Ерунда все... проживем как-нибудь... Нет, талантливая-таки бестия этот Оффенбах.

«Прекрасная Елена» понравилась и компании Карташева.

В антрактах еще шли разговоры на тему «homo sum», но, как только раздавался звонок, компания, бросая окурки, спешила по деревянным коридорам на самый верх, на переднюю скамью, чтобы поскорее засесть и, впившись глазами, с локтями на барьер, с коленками, упертыми в тот же барьер, – не пропустить ни одного слова, ни одного звука.

– Хорошо, – энергично и весело проговорил Рыльский, когда опустился занавес после того действия, где изображена была ночь и спальня Прекрасной Елены.

Корнев, обладавший чутким слухом, в ответ тихо, верно передавая интонации страсти, запел:

Да, это сон... да, это сон.

– Черт побери, это только сон! – хлопнул кулаком по барьеру Долба.

– Ну, что? – приставал Ларио к опешившему Карташеву.

– Да молодец, молодец, – говорил ему Рыльский.

После театра Ларио звал всех идти куда-нибудь ужинать, но Карташев был как в лихорадке и наотрез отказался.

– Да ты что? – презрительно окликнул его Ларио.

– Не пойду.

– Мама?!

– Не мама, а просто не хочу.

– Ну и черт с тобой.

Карташев ушел, а остальная компания нерешительно совещалась насчет ужина.

Осенняя лунная пустая ночь охватывала Карташева каким-то особенным жутким одиночеством. Маленькая бесконечно далекая луна точно уменьшала размеры предметов, и в этой мертво-обманчивой пустоте ночи и сам Карташев представлялся себе каким-то бесконечно малым,

¹¹ Я человек (лат.).

никому не нужным существом. Чрез каких-нибудь сотню лет эта луна будет так же светить, а где будет он и вся эта толпа театра, в которой он был ничтожнее других? Что здесь его? Это мгновение, только прелесть этой ночи, сила впечатления. Пред ним вставали образы театра: голые руки Прекрасной Елены, чьи-то другие роковые голые руки. Дыхание спиралось в его груди, волнение сильнее охватывало его, и мгновениями казалось, что ноги не хотят ему служить и он упадет тут же на улице и задохнется от мучительного и сладкого томления.

Он прошел пустую площадь и пошел вдоль длинного забора. Здесь еще глуше, пустынное было, здесь еще сильнее охватывало страстное сознание одиночества.

Карташев остановился у калитки и, не позвонив, полез через забор. Он спрыгнул тихо, беззвучно на мягкую грядку сада и, осторожно обходя двери столовой, от которой был у него в кармане ключ, пошел в ту сторону террасы, куда выходили окна девичьей. Он осторожно открыл ставню и, став у окна, приложив руки, начал всматриваться. Ясная пустая лунная ночь давала возможность хорошо рассмотреть, что делалось внутри. На полу спала Таня, и ее обнаженная рука была небрежно заброшена за голову. Охваченный новым огнем, Карташев стоял с громко бьющимся сердцем и пересохшим от волнения ртом. Он тихо попробовал отворить окно: оно оказалось запертым изнутри. Снизу лестница вверх была тоже заперта. Карташев напряженно думал: он знал одно – что сегодня будет в девичьей. Взгляд его упал на лестницу, приставленную к стене. Эта лестница вела на крышу, оттуда – через слуховое окно, чердак и темную переднюю – в девичью. Оттуда таким же путем назад и чрез столовую, делая побольше шуму, в свою комнату. «Надо снять сапоги, – мелькнуло в голове Карташева, когда он взбирался по лестнице, – иначе может быть такая штука...»

В темной передней тихо скрипнула половица... Еще одна уже ближе и тише.

Карташев стоял над Таней.

Таня переменила позу во сне, и полная белая нога ее откинулась из-под одеяла.

Карташев медленно нагнулся и впился губами в теплое тело. Темные глаза Тани открылись и молча замерли на лице Карташева.

– Артемий Николаевич! Голубчик... мама... – беззвучным шепотом молила она.

Карташев безумно, страстно целовал Таню. В ослепительной молнии ярко сверкнул вдруг в памяти Иванов, прежняя Таня, недостижимая и чистая, мать – и все слилось в мучительном и сладком стоне души...

XX

У одного товарища Моисеенко умер отец, оставив многочисленную семью. По энергичной инициативе Моисеенко был устроен негласный литературный вечер. Вечере принял, между прочим, участие и Леонид Николаевич, к которому явились его бывшие ученики-студенты и просили об этом. На литературный вечер собрались, в числе многочисленной публики, все знакомые уже читателю лица. Аглаида Васильевна приехала с Зиной и Наташей. Наташа была в черном, обхватывающем ее стройную талию, платье. Ее черные роскошные волосы волнами заходили назад и сливались в густой косе. Легкий запах *violette*¹² распространялся от нее, и Корнев, застегнутый в мундир, понюхав воздух, сказал ей на лестнице:

– Хорошо пахнет... Какой одер?¹³

– Ну, довольно...

Компания, кроме Семенова и Дарсье, оставшихся внизу с дамами, забралась наверх на хоры. Там было темно и уютно, там было много студентов, таких же студентов, какими и они будут через полгода. Будут ли? – тревожно замирало не одно сердце.

В антрактах компания спускалась к дамам: к Карташевым, Мане Корневой, Горенко.

Маня Корнева, в светлом платье, волновалась, была в духе, когда возле нее собирались

¹² Фиалки (*фр.*).

¹³ Запах (от *фр.* *odeur*).

Рыльский и вся компания, краснела тогда от удовольствия и делалась тревожной, беспокойной, когда Рыльский уходил к Карташевым и садился возле Зины.

Компания веселой гурьбой переключивалась от одних знакомых к другим.

Аглаида Васильевна наблюдала их в лорнет и бросала Зине разные замечания, вроде следующих:

– Тёма горбится.

– Горенко в Тёму влюблена вот как...

И Аглаида Васильевна небрежно показывала концом лорнета выше головы.

Моисеенко стоял у стены и наблюдал. Чаще других его взгляд падал на Горенко, сидевшую в задних рядах. Вышло это случайно, – она опоздала и, сев на первое свободное место, уж не хотела его менять. Это была мелочь, но в глазах Моисеенко она хорошо характеризовала Горенко. Единственная наследница большого состояния, Горенко не придавала никакого значения ни ему, ни всему тому блеску, который приобретается путем денег. Она презрительно говорила про свои средства, что они не ее, и строила целые планы в будущем насчет того, что она на них сделает.

В общем, сдержанная, склонная к пессимизму, Горенко часто поражала выражением какого-то страдания на своем прекрасном по выразительности лице. Чувствовалось, однако, при взгляде на нее, что страдание это не имеет реального основания: она была богата, молода, бури жизни не касались еще, собственно, ее жизни, и многие говорили:

– Эх, ломается! Изображает из себя что-то, потому что знает, что идет к ней.

Горенко и не подозревала о таких отзывах и продолжала быть такой, какой создали ее ее нервы и натура: без причины страдала, без причины томилась и только и бывала счастлива, когда думала о том, как распределит свои средства, как поведет жизнь своеобразную, ни с чьей не схожую. В ее голове туманно рисовались то дикие горы, ущелья, ее замок где-нибудь на обрыве, она вольная, ни с чем не связанная; то рисовался ей большой город, и она по улицам чужого города идет, оглядывается и совершенно явственно чувствует мягкую теплоту весеннего солнца, залитый светом бульвар, восторженную, жизнерадостную толпу, и ей кажется, что она уже там, на этом бульваре, интересы ее в этой толпе, и нет у нее других, и не хочет она других – своих, от которых делается сразу так скучно и пусто, что хоть сейчас в могилу.

Сегодня Горенко была в духе и по временам улыбалась той своей усмешкой, которая так тянула к себе, так ясно говорила, что она удовлетворена, что ей весело и хорошо на душе и источник этого веселья в ней, а не в окружавших ее. Источник, которого не коснутся ничьи грязные руки, потому что она не пустит их, потому что она сумеет с тем презрением силы, какую дает убежденность и чистота души, оградить себя от непрошенных посягателей на ее душевный мир. К таким посягателям она относилась и Аглаиду Васильевну и умела по временам давать ей отпор мягкий, но в то же время такой твердый, что Аглаида Васильевна с трудом выносила эту своенравную, подрывающую ее авторитет девушку.

Моисеенко с восторженным чувством, зажатым там, в глубине души, смотрел на нее, счастливый ее счастьем, гордый ее чистотой, искренностью, ее несознаваемой силой. Никто из окружавших не был ей равен. Моисеенко беспристрастно старался сравнивать: одна Наташа выдерживала бы конкуренцию, если бы не ясно было, что Наташа поставлена в такие условия жизни, из которых выхода нет: будет ли ее жизнь счастливая, – это будет эгоистичное, сухое счастье сытого человека; будет ли она несчастлива, – ее несчастье – нравственный хлев с точки зрения иной жизни, хлев, в котором она задохнется, не сумев даже осмыслить общие причины несчастья своей жизни.

Горенко была избавлена судьбой от обстановки Наташи. Ее мировоззрение складывалось самобытно и свободно. Она шла туда, куда тянуло ее, – так же тянуло, как магнит притягивает железо: потому что это было свойством ее души и единственным отвлечением от той тоски, которая по временам охватывала ее. Преобладающим качеством ее души было какое-то полное отсутствие страха перед рутиной жизни – лишь бы ясна была истина и правда. Она жадно шла к этой правде, и вся жизнь ее была в ней, в этой правде. Это было так естественно, совмещалось в ней с такой какой-то особенной потребностью не выдвигаться и прятать в тайниках этот клад души, что Моисеенко иногда, слушая ее, думал, что и между людьми могут быть самородки, на долю которых

судьба счастливо выделяет из грязи земли одно чистое золото. Даже то капризное, избалованное, что чувствовалось в ней, как-то распространялось только на нее одну: она была раба своего невидимого мучителя, сидевшего в ней, он мог мучить ее и только ее. Этот аристократизм чувства, эта гордая свобода, которую сулили чудные глаза молодой девушки, еще сильнее тянули к себе сердце молодого реалиста-мечтателя, и он еще глубже прятал в себе это чувство к ней.

К Горенко подошли Семенов и Берендя и заспорили вдруг: Семенов начал по какому-то поводу усердно доказывать, что все они ни больше ни меньше, как мальчишки, а Берендя, заикаясь, с своих туманных высот доказывал обратное.

– Да ведь вы сами, Семенов, говорили, – вмешалась на помощь Беренде Горенко, – что ваш отец в семнадцать лет был уже офицером.

– Что ж из этого? – оттопырив свои маленькие губы, упрямо спросил Семенов. – Время отца было проще...

– Но... но время т...твоих детей еще сложнее... дойдет до того, что и... и в шестьдесят лет в...все мальчишки.

– И дойдет, – упрямо, наклонив голову, проговорил Семенов.

– Е...е...если ч...человечество обречено бу...будет по...постоянно и в...вперед набивать с...свою голову не...ненужным хламом веков, т...то, к...конечно, оно в конце концов очутится в безвыходном положении, и п...прогресс дальнейший станет невыносим.

– Я в судьбы человечества не лезу, – сухо, с достоинством ответил Семенов, – но что нет никакого сомнения, что мы мальчишки, так это факт.

– Г...грустный факт.

– Ну, да уж это другое дело.

– Семенов, – вмешалась Горенко, – но как же вы объясните такой факт: в Китае и теперь человек до шестидесяти лет все мальчишка, а в Англии в двадцать один год празднуется настоящее гражданское совершеннолетие, – страна, у которой жизнь посложнее нашей? Возьмите наконец историю в руки, посмотрите, сколько коронованных в двадцать лет уже делали великие дела, такие, о каких их старые предшественники и подумать не смели.

– Я не знаю Англии, – сдержанно возразил Семенов, – но знаю, что у нас жизнь гораздо свободнее английской.

– О, господи! – могла только воскликнуть Горенко и во все глаза с интересом стала смотреть на Семенова.

– Не знаю, – скромно развел руками Семенов, – я знаю, например, что англичанка, в сравнении с русскими женщинами, раба... В Англии женщина – полная принадлежность семьи, и только самые близкие друзья впускаются в эту семью... И я... – Семенов убежденно уставился в платье Горенко, – вполне разделяю их взгляды.

Рыльский, подошедший в это время и слушавший Семенова с обыкновенным выражением в подобных случаях злой иронии, заметил:

– Вот бы тебе в Англию.

– Мне и у себя на родине хорошо, – язвительно, не смотря, подчеркнул Семенов и встал. Шаркнув ногой, он с высоко поднятой головой, красный, выпячивая грудь и набирая в себя побольше воздуха, пошел, отдуваясь, к передним рядам.

– Н...наконец, е...естественный в...возраст... о...одинаковый во... все века, к к...которому и должно приспособляться человечество... Вот как пшеницу сеют, можно и... и до осени сеять, но почва будет продолжать свое дело... и, сильная в период образования зерна, для весенних задач бу...будет не годна больше.

Он замолчал, встал, неловко поклонился и, задев по дороге все, пошел наверх.

– Какой симпатичный этот Берендя, – сказала Горенко подошедшему Моисеенко, – носится себе там где-то в своих облаках...

– Диоген... О чем они тут горячились?

Горенко вкратце передала содержание.

– Какое смешное животное этот Семенов, – усмехнулась она, кончив передачу.

Моисеенко вздохнул.

– В отдельном экземпляре смешное, но в стаде подобных – страшная сила... Хуже бизонов.

Когда на эстраду вышел Леонид Николаевич и неловко поклонился, гром аплодисментов рассыпался по зале.

Лица собравшихся засияли удовольствием, смотря в молодое умное лицо лектора.

– У него очень умное лицо, – заметила Аглаида Васильевна, внимательно рассматривая его в лорнет.

Долго не умолкали овации.

Лицо Леонида Николаевича, сперва спокойное и безучастное, оживилось, глаза загорелись веселым огнем, и, когда аплодисменты стихли, он заговорил тем живым голосом, каким владел только он, голосом, который сразу приковывал к себе все внимание слушателя.

– Господа! – начал добродушно Леонид Николаевич. – Говорят, в доброе старое время тридцатых и сороковых годов жил один усердный поклонник своего времени. Усердие свое он простирали до того, что, не довольствуясь общеустановленной строгой цензурой тех времен, завел себе на свой счет цензора, обязанность которого состояла в том, чтобы красным карандашом вычеркивать из того, что он читал, все то, что могло его огорчить. Об этом в свое время много говорили, смеялись, но оригинал продолжал себе жить и испытывал своеобразное наслаждение в добровольном лишении себя знать истину, полагая, вероятно, в этом всю свою гордость.

Эта истина, однако, оттого только, что была отдана в бесконтрольное ведение карандаша, от взмаха этого карандаша, конечно, и не думала исчезать с лица земли и вся до последней строчки появилась в той горькой чаше, которую пришлось испытать всем до дна в тяжелые дни севастопольской кампании. Оригиналу поздно стало ясно, что это добровольное нежелание знать истину создало то положение, по которому, в силу вещей и законов, истина нашла себе другие двери в жизнь и двери эти оказались более пагубными в своей совокупности, чем то, что, по частям и своевременно узнанное, послужило бы, может быть, к совсем другой развязке. В этом примере сила рутины и неспособность самому с ней справиться так очевидна, что ясно, что самый большой наш враг – эта рутина, сидящая в нас. Работа в этом направлении над собой, приобретение способности самопознания и вытекающее из этого самопознания уважение к своим и чужим правам и есть главнейшая светлая задача воспитания и образования. Я не разделяю этих понятий, обыкновенно относимых – одно к душе, другое к уму: душу надо понять тем же умом, и только достаточно развитой ум поймет, что этой душе нужно, чтобы эта душа была действительно душа, а не кусок старой подошвы, наподобие души Китая, которая уважается и чтится там только по количеству шариков.

Говорят, заводить речь об образовании поздно, говорят, это старый и скучный вопрос, давно решенный. Я не согласен с этим. Нет решенных вопросов на земле, и вопрос образования – самый острый и больной у человечества. Неизбежно и необходимо возвращаться к нему, как необходимо пахарю опять и опять возвращаться к своей ниве. И это не старый, скучный вопрос – это вечно новый вопрос, потому что нет старых детей, и жизнь – нива все новых и новых посевов.

Господа! Эта нива пахаря – нива жизни. Эта нива и идущий по ней плуг – закон суровой необходимости, закон, который имеет достаточно силы, чтобы неумоимо и безжалостно волочить за собой тех, кто не может уразуметь вечный и неизбежный смысл его. Чтобы чувствовать и понимать, чтобы охватить этот смысл, надо уметь смотреть вперед. Как для того, чтобы рассмотреть окружающую нас местность, надо взбираться на самую возвышенную точку, а не лезть в ямы и болота, откуда ничего не видно, так и в образовании людей необходима эта возвышенная точка, эта его обсерватория, с которой он мог бы общим взглядом всегда окидывать и свою, и окружающих его деятельность. И чем выше эта его обсерватория, тем производительнее работа, тем меньше риску потеряться и застрять в дебрях жизни. Высотой этой обсерватории, полетом мысли нации делятся на культурные и некультурные, миссии их бывают или исторические, – правда, путем страдания, но они все-таки несут людям высшую формулу человеческой жизни, – или же жизнь народов сводится к зачаточной и прозябательной. Народы Азии и Африки уже обречены на вечное рабство. Громадные полчища Ксеркса легли под ударами десяти тысяч осмысленных людей. Четыреста миллионов китайцев, несмотря на массовую стадность, – только жалкая игрушка в руках горсти англичан. Славянские народы, пример более поздней эпохи, все они не свидетель-

ствуют ли все о том же суровом и неизбежном законе истории, ясно говорящем, что время не ждет и не прощает ни одного потерянного мгновенья.

Сознавать это – вот вторая высокая творческая цель современной школы, и поскольку эта цель осуществима, постольку и гарантия у государства в его дальнейшем существовании. Создать это сознание и укрепить его на надежных якорях – вот спасительная работа этих будущих работников своей страны, работа, только с осуществлением которой жизнь людей перестанет быть вечным, бесплодным толчением воды, наподобие Китая, где все поколения приходят и уходят, не принося ничего в predeterminedенную на веки веков форму. В наш век исключительного прогресса, век пара и электричества, в век нравственного обновления человеческого духа, – больше чем когда-нибудь, проникая всю роковую неизбежность, нужна сила, чтоб поспеть за другими. Не вяжите же бесполезных камней на ноги тем, кому и без того предстоит тяжелый путь в гору жизни. Не кормите трухой вашу силу, потому что вам сила нужна, а не бессилье, и только сила может вытянуть груз туда, куда спешат вытащить его другие и, как победители, заставят и вас, но как рабов, делать все-таки эту работу: так горсть людей, стоящих на горе, двухсотмиллионное население Индии заставляет работать на себя. И если уж нельзя иначе – давайте волю всем вашим эгоистическим инстинктам, но пусть же этот эгоизм в ваших же интересах будет хоть эгоизмом, освещенным светом Запада, а не светом кочевников Востока, потому что судьбы Востока и Запада так различны, что выбора между ними быть не может: Запад свободен и хотя тяжело, но идет к выходу, а Восток – вечный раб того же Запада. Не Восток, не Запад – середина между свободой и рабством, и больше нет никакого выхода, и из трех дверей самые выгодные, очевидно, двери Запада. Выгодные, неизбежные и в истории благодарные. Великий Петр и сын его Алексей полтора года тому назад еще решили и осветили этот вопрос.

Леонид Николаевич в таком же страстном тоне перешел к вопросам бесцельного переутомления учащихся, к нравственному истощению организмов, к подрыву уважения к себе, к потере аппетита к жизни, к нравственному малокровию, худосочию и ко всем ужасам болезней, связанных с этим худосочием. Иногда расплываясь, увлекаясь, гоняясь за примерами, в общем, он нарисовал сильную, яркую картину человеческого прогресса и на этом пути прогресса, растянув все существующие силы человечества, рельефно связал застой и движение на нем с тем, поскольку истинное знание проникает в школы народов. Тут были разобраны и реальная Америка, и десять тысяч китайских церемоний, и латинская кухня схоластики, и мересхедесы Востока.

Он перешел к идеалу школы, и пораженный Берендя сидел и слушал все то, что зарождалось уже в его голове. Лучистые глаза Беренди горели таким гордым счастьем, какого он никогда не испытывал. Это счастье заключалось в том уважении к себе, которое Берендя впервые осязательно чувствовал. Эта внутренняя сила, которая толкала его на путь разных философских вопросов, была не жалким маньячеством: его мысли – мысли гимназиста – уже так поразительно сходились с мыслями этого выдающегося молодого учителя. Берендя слушал и сам не верил своим ушам и снова, наклонив голову, прислушивался, довольный и счастливый.

Как-то вскользь Леонид Николаевич коснулся и славянофильства, назвав его пагубным источником обскурантизма, потому что основание уважаемых людей этого учения построено не на общем законе человеческой жизни, а, напротив, на произвольном, ненаучном положении «другого теста». Такие учения тем и страшны, что, неся в себе произвол, дают только предлог в дальнейшем своем развитии людям тьмы пользоваться ими для своих неосмысленных целей. Такие учения не привязывают вас к якорю спасения общечеловеческой жизни, а подобны тому, как если бы человек для определения нужной ему прямой полагался не на данные, вне его находящиеся (вехи, компас), а на свою внутреннюю уверенность, что его глаза его не обманут. Такой человек может думать, сколько ему угодно, что идет он по прямой, но компас самосознания остальных, определяющий эту настоящую прямую, и факты действительной жизни – третья высокая задача воспитания будущих руководителей своей родины.

– В настоящее время зарождается новое учение опростителей – народников,¹⁴ – учение, по

¹⁴ Очевидный анахронизм, так как начало учения народников относится к 1877 году. (Примеч. Н. Г. Гарина-Михайловского.)

своей нетерпимости, носящее в себе все признаки отупения, те признаки, которые так характерны в изуверствах наших раскольников, в поклонниках Мекки и в ревнителях схоластической школы. С историей в руках, с ясным сознанием закона необходимости, все это те же темные силы, которые могут только предлагать свести человечество с торной дороги и закрутить его в непроходимых дебрях старых печатей, старых книг, младенческой формы, так же пригодной для восприятия новой жизни, как желудок младенца годится для пищи взрослого, чрез опыт жизни прошедшего мудреца, или как дичок-яблоня может заменить культивированный сладкий плод. Отсутствие истинного знания, отсебятина, нутро – во всевозможных соусах и видах – вот отличительные признаки этих учений, этих доморощенных дикарей цивилизации, ломающих голову, как бы из своего пальца высосать то, что отвергают: знание истории человечества, примеры общечеловеческой культуры, понимание законов исторической необходимости, от которой так же нельзя уклониться, как и от вращения вместе с землей, с которой мы принадлежим и составляем ее законное, на общих началах построенное естество. Народ – да, но народ самосознающий, а этого самосознания нет без культуры.

То место речи, в котором Леонид Николаевич так резко отказался от приписываемой ему связи с славянофильством, было встречено с живым восторгом Корневым, Долбой и Рыльским. Они насторожились, и Корнев, довольный, толкая в бок то Рыльского, то Долбу, искал внизу глазами Моисеенко.

Но когда Леонид Николаевич перешел к народникам, Корнев уже с беспокойством и тревогой, найдя наконец Моисеенко, стоявшего у колонны, смотрел ему в лицо. Моисеенко неопределенно смотрел на Леонида Николаевича, и по его лицу Корнев ничего не мог сообразить, что говорил Леонид Николаевич: дело или, что называется, зарапортовался. Так же молча, не выражая больше ни восторга, ни разочарования, насторожившись, сидели Долба и Рыльский.

Лицо Беренди, напротив, продолжало по-прежнему сиять, и он победоносно смотрел то на Картышева, то на Вервицкого. Вервицкий, упершийся кулаком на барьер и положивший на кулак свой подбородок, сидел, сонно смотрел и, тревожимый взглядом Беренди, раздраженно только сдвигал брови: это возбуждение Беренди и раздражало и обижало его, – он сравнивал Берендю с мухой на рогах вола и чувствовал за своего друга всю унижительную глупость его.

– Ну же, оставь! – наконец не вытерпел Вервицкий, раздраженно огрызнувшись на Берендю, – слушать мешаешь.

Карташев давно потерял связь и только мгновениями ловил себя на том, что думал в это время и о деревне, и о матери, и о товарищах, и только никак не мог сосредоточиться и слушать Леонида Николаевича. Взгляд Беренди сосредоточил его на мгновение, и, прослушав внимательно о народниках, Карташев согласился и кивнул головой Беренде в знак своего согласия. Он даже обрадовался словам учителя: этот взгляд не шел так вразрез со взглядом матери, – разрез, который ставил его в безвыходное положение какой-то оппозиции, обреченной жить чем-то таким отвлеченным, к которому никак не подмостишь ни сердца, ни всего того, что наполняет повседневную жизнь, что требовало общения, примирения, любви, деятельности, за что кричал весь организм, кричал назойливо, настойчиво и представлял страшный довод: у человека не две жизни, и жить жизнью бесплодной смоковницы нельзя, невозможно.

Леонид Николаевич кончил, и гром аплодисментов посыпался по зале. Все слилось в это мгновение в выражение горячего одобрения человеку, который дал вдруг всем точно какую-то свежую ванну души. Умытые в этой ванне, глаза молодежи горели, удовлетворенные, счастливым огнем. В эту минуту они были опять теми же одухотворенными энтузиастами, увы! какими уже переставали себя чувствовать. Как-то обнажилась снова параллель жизни будничной, прозаичной, жизни отупенья, с этой другой жизнью подъема, взгляда с птичьего полета. Чувствовались крылья и желание лететь. Отрадным было и сознание, что работа над своим развитием дала плоды, – они понимали, интересовались и не только понимали, но шли дальше – делали свои выводы, готовы были идти навстречу, и гордость удовлетворения завершалась сознанием, что все это для них так же интересно, как и для самого Леонида Николаевича. И это была не фраза, не раздутое чувство, а искренняя правда, и радость этой правды горела в счастливых глазах юношей.

Карташев встретился с недоумевающими, обиженными глазами нового учителя латинского

языка и дико заревел «браво», отбивая с новой силой свои вспухшие ладони, смотрел на него и жег его огнем своих красивых глаз. Эти глаза злорадно, страстно кричали ему: «Я последний, да? Я последний? А ты? Теперь ты понимаешь, кто ты?»

Оскорбленный учитель молча, с достоинством поднялся, пробрался сквозь ряды и вышел из залы.

Все были довольны устроенным вечером.

Берендя, возвращаясь домой, шел, как говорится, не чувствуя под собой ног. Праздник был в его душе, праздник в этом таинственном сумраке ночи, в этих весело, спешно бегущих облаках по темному синему небу. Воздух был мягкий, теплый, какой иногда бывает на юге в позднюю осень. Там и сям под воротами, прижавшись, сидели парочки, о чем-то таинственно шептали и приятно раздражали нервы философа. Он свернул к дому, где жила Фроська, и осторожно стал пробираться у забора. Заслышав голоса, Берендя притаился и начал слушать. Говорили Фроська и Яшка, возвратившийся из плавания. Философ узнал горькую истину и тихо, беззвучно пошел к себе...

На другой день было воскресенье, и Берендя, долго не спавший с вечера, проспал до десяти часов. Первая мелькнувшая мысль была о вчерашнем торжестве и признании его мыслей. Вторая мысль была о Фроське. Берендя, лежа на кровати, замер с закинутыми руками за голову и смотрел перед собой. В теории выходило все к лучшему, но на практике он чувствовал какую-то боль в сердце, точно это была ссадина и к этой ссадине прикасались вдруг то жирные волосы Фроськи, то взгляд ее, тупой и безучастный. В общем, жаль было, шевелилась какая-то ревность, какое-то чувство тоски о том, что он, в сущности, любил эту грязную Фроську, а она не любила и даже смеялась над его чувством. Было и обидно, и больно, и стыдно и за себя и за Фроську. И опять над всем этим поднималось розовое облако радости вчерашнего вечера, и Берендя опять тонул в ощущениях и переливах своего удовлетворения.

Целый день он провел дома. Ему никуда не хотелось идти, потому что он боялся, как бы не разбилось его праздничное настроение. Он взял скрипку... Мягкие, нежные звуки ласкали его душу, и, положив голову на скрипку, он смотрел счастливыми задумчивыми глазами куда-то вдаль, в окно, за те крыши домов, в тот прогалок, где виднелось готическое здание церкви бульвара. Там, где-то в воздухе, в этих крышах, была Фроська и ее коварный друг, было мирное прощающее чувство и сознание, что область высшего счастья и для Фроськи, и для ее любовника навсегда закрыта и за право на это счастье он, Берендя, по справедливости должен был уступить им место. И он уступал со всей готовностью обладателя более высшего счастья. Мысли Беренди унеслись далеко.

Там, в маленьком захолустном городке, живет его семья – бедная мать, задавленная нуждой жизни, отец, отравитель своей семьи и сам неосмысленный страдалец, сестры, больные, раздраженные, создания без мелодии, без аккордов тех высших звуков, которые мирят с жизнью, заставляют ловить себя в этой жизни жадным привычным ухом и заслоняют собою и блеск богатства, и жажду всего того, что только отравляет жизнь и делает из людей сухих, бездушных эгоистов. Если он будет когда-нибудь зарабатывать больше того, что нужно, чтобы быть сытым, он отдаст все деньги своим несчастным сестрам, отдаст всем тем, кто видит в них счастье, а себе, себе он возьмет ту область человеческого духа, с которой, как вчера сказал Леонид Николаевич, жизнь людская видна, как с высоты маяка. И если с этой высоты ему, сторожевому, удастся вовремя увидеть грозящую людям опасность, какое счастье будет иметь возможность закричать: «Берегись!»

«Алкоголик!» – тревожно пронеслось вдруг там, между домами, и тоской предчувствия, тревогой и страхом охватило Берендю. Он положил скрипку и молча подошел к другому окну и смотрел в угол пустого забора.

– Ну-у! – капризно махнула рукой ему Фроська, выглянувшая из-за забора и не ожидавшая встречи с ним.

Она не знала того, что знал Берендя, и ее жест, в другое бы время принятый как жест любовного заигрывания, открыл вдруг Беренде всю ее смущенную душу, смущенную оттого, что она должна обманывать, и этот жест вдруг точно осветил ему все его знакомство с Фроськой, все ее движения, всю подавленность и забитость ее поведения. Он был невольным палачом ее, он сам, не сознавая своей роли, заставлял ее обманывать, лгать и мучиться муками такого унижения, какого до этого момента он, Берендя, и представить себе не мог. «О, какая страшная вещь жизнь!» – по-

думал с искренним ужасом молодой философ, и как без этого фонаря, впотьмах, без этой высоты, как можно давить, гнести и не сознавать даже своей роли палача!.. Он все объяснит Фроське, и, счастливый, облегченный за нее, он уже видел веселый, доверчивый взгляд этой несчастной, когда она поймет, что ему больше не надо ее продажной любви, что дорога она ему уже не как мясо, а как Фроська, жалкое избитое судьбой существо с образом и правдой божией в своей все-таки чистой душе.

– Да, я алкоголик, – это сократит мою жизнь, будет отнимать часть времени, но остальное время мое, и все оно людям, все оно знанию, все на постройку моей обсерватории.

Берендя сел за свои книги, читал, записывал и в антрактах ходил большими шагами по комнате. Под вечер его потянуло было к компании, но он знал, что компания уйдет в театр и теперь, вероятно, наряжается: приделывает усы, надевает парики и очки, чтобы не быть узанными гимназическим начальством.

Перспектива этого мальчишества, грустные впечатления оперетки отбили в нем охоту куда бы то ни было идти. Он рад был, что и Василий Иванович с Петром Семеновичем не посетили его. В сумерки он вышел на улицу и, поманив Фроську, пошел на бульвар.

Когда она пришла, он, усадив ее на скамью глухой аллеи, рассказал ей все, что узнал. Фроська страшно было испугалась и, совсем растерявшись, принялась было, даже как-то захлебываясь в голосе, всхлипывать. Кое-как Беренде удалось ее успокоить и растолковать ей свою будущую роль в ее жизни.

Фроська вздохнула и вдруг произнесла осмысленным, сознательным голосом покровительства:

– Добрая душа.

Из этого ответа Берендя увидел, что он был понят, увидел, что отворилась для него дверь в другое отделение души Фроськи – отделение, хозяином которого отныне делался он, и только он, и где конкуренции он ни с кем не боялся.

Берендя протянул ей руку и сказал:

– С...слушай... я твой друг навсегда. К...когда только надо, д...днем и... ночью, иди ко мне. Так?

– Так, – ответила Фроська своим опять апатичным и равнодушным голосом.

Берендя спал легко и хорошо в эту ночь. Перед сном, когда он уже лежал в кровати и потушил свечу, ему вспомнился смешной эпизод его далекого раннего детства. Закутанный в мамкин платок, он играл у завалинки на пригреве веселого солнца весны. И все так радостно было вокруг него, и он был центром, маленьким фокусом этой радости. Счастливый, водянисто-желтый и вздутый, он приседает на своих кривых ножках, топчется и благодарит в избытке своего счастья и этот веселый день весны, и этих мошек и козявок, которые ползут, торопятся и спешат, конечно, к нему, чтобы своим видом еще большей радостью наполнить его маленькое счастливое сердце. Ах, сколько их! – маленький Берендя усердно приседает и кланяется, кланяется так торопливо, точно боится оскорбить своим невниманием всех этих букашек.

Но они не только на земле и завалинке, и в воздухе, и кругом на деревьях, а вон птички, мухи, и еще что-то, что так звенит, звенит и вдруг село прямо на его маленькую ручку.

– И вы прилетели, – приседает счастливый обладатель несметных богатств, – вы кто?

И его напряженная радостная физиономия ждет ответа от прилетевшего комара.

«Вот я тебе покажу, кто я», – точно говорит комар, вертась и удобнее приманиваясь на маленькой ручке жизнерадостного философа.

Лицо мальчика вдруг искривилось от боли. Озадаченный, потрясенный, он не вытерпел и, осторожно отстраняя комара, произнес возмущенным до глубины души голосом:

– Слушайте... так нельзя... уходите.

Берендя усмехнулся, подумал, что, если бы Вервицкий знал этот эпизод, он засмеял бы его, и прогнав из головы это воспоминание, которое любила рассказывать ему мать, наблюдавшая эту сцену, заснул спокойным, безмятежным сном.

Первый урок в понедельник был латинский, два часа кряду. Берендя, наскоро одевшись и умывшись, успел утром за чаем перелистать и грамматику, и скандовку сатиры Горация. Собрав книги, накинув пальто, в шапке, сдвинутой немного на затылок, расплывающийся, лучезарный и приседающий, он пошел в гимназию, поражая проходивших мальчишек своими лучезарно-желтыми расходящимися глазами. Прежде, в дополнение к впечатлению, к этим глазам присоединялись и женоподобные мягкие волосы, и в рамке их все лицо Беренди имело какое-то странное выражение женщины. Но теперь эти волосы, по строгому требованию, были коротко острижены, и с непривычки лицо Беренди казалось каким-то помолодевшим и смешным.

На последнем перекрестке перед гимназией его увидел Вервицкий, остановился и ждал.

– Черт знает, – сказал Вервицкий, – сияет на весь квартал. С тебя скоро капать станет жир. Терпеть не могу такой самодовольной рожи.

Всю эту тираду Вервицкий выпалил еще издали и, когда Берендя подошел вплоть, проговорил, пожимая ему руку, совсем уже другим голосом:

– Здравствуй.

– С...слушай, разве я пополнил?

– Ерунда... что ж наш журнал, еще будет?

– Не... не знаю... Корнев и Ка...Карташев...

– Ничего не выйдет, – махнул рукой Вервицкий. – Я возьму да и отдам свой рассказ в газету.

– Ты... ты думаешь, напечатают?

– Отчего же не напечатают, – обиделся Вервицкий. – Ерунду такую печатают, что читать со-
вестно...

Он набрал полный рот слюней и сплюнул на сторону. Потом, приставив палец к одной ноздре, выпустил содержимое в ней на панель и проделал то же с другой ноздрей. Затем вынул из кармана платок, обер нос и наконец сосредоточенно сказал:

– Это самое здоровое, так сморкаться, – ты продуваешь нос, как трубу.

Берендя, при всем своем уважении к другу и страхе обидеть его, не удержался от улыбки. Тем обиднее она показалась Вервицкому.

– Смеешься, потому что глуп. Что я – свое говорю? Ты сначала вот прочти там, где я прочел, тогда и смейся.

– В к...календаре? – подпустил Берендя.

Вервицкий хотел было уже совсем смешать с грязью Берендю, но, посмотрев вдруг на его самодовольное лицо, с искренним соболезнованием проговорил, качая головой:

– Дурак, дурак!

Берендя только замотал головой со своей типичной манерой и принялся, вместо былой бороды, гладить свой бритый подбородок.

– А з...знаешь, отчего я кажусь пополневшим?.. о...оттого, что обрился.

– Оттого, что у тебя разжижение мозга начинается... это всегда первый признак, когда человек начинает вдруг ни с того ни с сего толстеть.

– О? – испуганно встрепенулся Берендя. – А отчего эта болезнь?

– Вот тебе и о! Это вот кто черт знает чем занимается, тот и заболевает.

– Как черт знает чем занимается?

– Вот чем ты занимаешься.

– Че...чем я занимаюсь?

– Тем самым.

– С...слушай, какую ты ерунду говоришь.

– Вот тебе и слушай.

– Да ей... ей-богу, я ничем не занимаюсь.

– Ну, это ты себя морочь, а меня оставь... Довольно посмотреть на человека, чтобы это сразу узнать.

Берендя шел рядом, думал и ничего не понимал.

Вервицкий еще набрал полный рот слюней и энергично сплюнул.

– О...откуда у тебя столько слюней? – спросил Берендя.

Но Вервицкий не удостоил его ответом и, круто повернув в калитку, зашагал по гимназическому двору.

Приятелей ждала грустная новость. Корнев, Долба, Семенов, Дарсье и остальные, бывшие в классе, сидели на скамьях, стояли, смотрели друг на друга и молчали.

– Леонид Николаевич больше не учитель, – объявил вошедшим Корнев.

Берендя, только было собравшийся по старой памяти приводить свою шевелюру в порядок, так и остался с поднятыми руками. Вервицкий на ходу выслушал и так же стремительно, как шел, добрался до своего места, сел и только тогда начал соображать.

– Леонид Николаевич больше не учитель, – повторил Долба вошедшему Карташеву.

– Что ты врешь? – изумился Карташев.

Определенного никто ничего не знал. Вчера было объяснение с попечителем, и Леонид Николаевич подал уже прошение.

Вошел Рыльский, и его встретили тем же известием.

– Да, да, – ответил сосредоточенно Рыльский.

Он молча, серьезно поздоровался со всеми, вынул из кармана газету и сказал:

– Я сегодня за чаем узнал: здесь все описано.

Все тесной толпой с напряженными физиономиями обступили его. Рыльский сухим, резким голосом прочел газетный слух. Стоустая молва приписывала все дело усердию учителя латинского языка, который все представил совсем в ином свете.

– Каков гусь? – саркастически бросил Рыльский.

Раздражение успело только охватить учеников, но не вылиться. В класс влетел учитель, красный и встрепанный больше обыкновенного.

Ученики молча, нехотя расходились по своим местам. У Беренди точно провалилось что-то, и он сидел пустой и ошалелый.

Рыльский раздраженно смотрел боком на волновавшегося за своим столом учителя и вдруг вынул газету. Он сел поудобнее, развернул ее и, хлопнув, отставил от глаз подальше, как это делают старики, когда читают.

Класс замер и впился в учителя: знает ли он, в чем дело? Он знал! Белый, как стена, он едва слышно спросил:

– Рыльский, что вы читаете?

Рыльский вполоборота, придерживая шнурок *pinse-nez*, насмешливо ответил:

– Газету – интересное сообщение из нашей гимназии.

– Дайте мне газету, – мог только прошептать учитель. Рыльский поднял брови, подумал и, хлопнув по газете, пренебрежительно, через плечо передавая ее Корневу, проговорил:

– Передай.

Но учитель сам уже вскочил и, выхватив газету, бросился было с ней из класса. Несмотря на то, что все это продолжалось не более двух-трех мгновений, класс охватило то массовое волнение, когда самообладание уже теряется.

– Шпион! – заревел вдруг, не помня себя, Берендя, вскакивая с места.

Учитель на мгновение прирос к месту, и он и Берендя впились друг в друга глазами, но в это время уже и другие, все как один, ревели, не помня себя:

– Шпион!

– Подлец!

Но учителя уже не было в классе. По коридорам забегали встревоженные надзиратели, отворяли двери в классы, что-то шептали учителям и бежали дальше.

Учителя, одни с тяжелой, удрученной физиономией, другие, как учитель немецкого языка, бойко и возбужденно, выходили из своих классов и направлялись в учительскую.

Какая-то гробовая таинственная тишина воцарилась во всей гимназии, и, несмотря на то, что начальство исчезло, все сидели, молчали и не двигались с места.

Через пять минут дверь учительской распахнулась, и в коридор вышел директор, бледный, с бегающими взбешенными глазами, с своей длинной бородой и острым носиком, и, наклонив голо-

ву, мелкими шагами направился в седьмой класс.

– По определению педагогического совета Рыльский исключается из гимназии; Берендя исключается без права поступления куда бы то ни было...

Директор остановился, опустил голову, сделал властное движение рукой, пальцами указывая на дверь, и, изогнувшись, проговорил, раздувая ноздри:

– Вон!

Рыльский, бледный, серьезный и сосредоточенный, вынул свои книги, шапку и прошел мимо директора с высоко поднятой головой, не удостоив его даже взглядом.

За ним, с задней скамьи, приседая растерянно, потянулся Берендя, не сводя своих ошалелых глаз с освищавшего директора.

– Всему классу за поведение три, и если эта отметка сохранится до экзаменов, то выпуска в этом году не будет, – объявил директор.

Берендя возвращался домой по тем самым улицам, по которым всего полчаса тому назад шел такой удовлетворенный и полный счастья. Но какая страшная разница в его положении! Такая страшная, что ни охватить, ни уловить ее во всем объеме Берендя не мог. Он только бессознательно шептал: «Ну, что ж? Ничего...» Там где-то в нем вдруг точно образовалась какая-то брешь, и в эту брешь вынесло вдруг его, и он был на какой-то высоте, ощущал какой-то выше себя порыв. Теперь он опять внизу ниже, чем был, в какой-то пропасти, и осталось только ощущение этой брешки – тяжелое, тоскливое сознание невозможности заделать, уничтожить ее... Иногда в ней, в этой брешке, вдруг мелькали лица отца, матери, сестер, и во рту делалось сухо, так мучительно сухо, точно вдруг уставал он, потому что шел без усталости целую вечность. И опять какой-то сгущенный туман заволакивал вдруг все. Бессознательно, автоматически он вошел, наконец, в свою комнату.

Рабочее утро смотрело в окно, то утро, которое он никогда не проводил дома. Все так же, как и было. Солнце весело играло на полу, на пыльном ящике скрипки, на книгах!

«Книги!» – бессознательно шевельнулось в голове Беренди, и вдруг другая мысль, что его навсегда выгнали, молнией осветила его, и не столько эта мысль, сколько все последствия этой мысли и все безвыходное положение, в каком он сразу очутился. Силы вдруг оставили Берендю: закружилась голова, затошнило, и, чтоб не упасть, он лег на кровать. Он лежал бледный, с широко раскрытыми сухими глазами и смотрел в потолок. Понемногу им овладела такая слабость, что он уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Сознание возвратилось, но тоже какое-то отдаленное и ограниченное: он лежал, смотрел в потолок, почувствовал, что устал, хочет уснуть и теперь может уснуть. Берендя закрыл глаза. Какая-то бесконечная тишина охватила его; точно он сразу оглох и перестал воспринимать все впечатления внешнего мира. Тихий, безмятежный покой разлился по его существу, и без мысли, без чувства, словно все это угасло или провалилось куда-то, Берендя заснул крепким, спокойным сном.

Он проснулся, когда солнце было уже близко к закату. Первая мысль его, спокойная и ясная: где он? Вторая, с последней уносившейся надеждой: не кошмар ли все, что было?! Нет, не кошмар. Берендя быстро поднялся и сел на кровати. Его выгнали?! Что ж он будет делать?

Ему вдруг стало страшно: страшно себя, страшно быть в этой комнате, и, охваченный ужасом, он бросился к фуражке и пальто.

Он вышел на улицу, постоял и пошел к Вервицкому. Какая-то нелепая надежда на что-то шевелилась в его душе.

Вервицкий сидел в своей комнате и, заткнув уши, зубрил Кюнера.

Он вскинул глазами на Берендю и продолжал зубрить. Вервицкий был возмущен и Берендей и Рыльским. Он ругал их эгоистами, из-за которых пострадал весь класс.

Берендя молча сел на стул и терпеливо ждал. Наконец Вервицкий кончил, отнял руки от ушей и, пригнувшись, уставился в Берендю.

Берендя старался равнодушно выдержать непонятный для него взгляд друга, поматывал головой и гладил рукой подбородок.

– И рад! – проговорил Вервицкий и закачал головой.

– Что... Что ж, мне плакать?

– Дурак ты, дурак, – с самым искренним отчаяньем сказал Вервицкий.

– Ну...ну, что ж, что дурак? Э...это я с...слышал д... давно.

– Слышал?!

Вервицкий сокрушенно замолчал.

– Ну, что ж?! Лучше вышло? Подумал ты, что отцу, матери приготовил, подумал, в какое положение поставил всех товарищей? Эгоист...

– С...слушай, оставь, – обиженно остановил его Берендя и вытянул свои длинные ноги.

Возмущенный Вервицкий молча решительно придвинул к себе грамматику и начал читать глазами.

Молчание продолжалось довольно долго.

– С...слушай, – робко предложил Берендя, – пойдем к Карташеву.

– Я не пойду, – сухо ответил Вервицкий.

Наступило опять молчание. Вервицкий упорно читал. Берендя сидел. Он в первый раз в жизни, может быть, почувствовал себя оскорбленным.

– С...слушай, – тихо, скорее испуганно, чем обиженно, сказал он., поднимаясь, – прощай...

Вервицкий подавил шевельнувшееся было в нем чувство и, выдерживая характер, молча, не глядя, протянул ему руку.

Берендя тоже молча пожал и вышел. Точно какая-то сила выводила его из этой комнаты и что-то шептало, что он никогда больше не увидит ее. Берендя нерешительно остановился и оглянулся на Вервицкого. Вервицкий все так же читал.

Сверху в окно Вервицкий следил, как мелькали ноги долговязого Беренди, боролся с желанием позвать его назад и не позвал.

Берендя вышел на улицу, подумал и вдруг, потеряв охоту идти и к Карташеву, и к кому бы то ни было из товарищей, пошел куда глаза глядят. Упрек Вервицкого испугал его, оскорбил и осветил вопрос в отношении друзей совсем с другой стороны. Его потянуло на свой бульвар, потянуло к приятелям-пьяницам. Воспоминание о них как-то всколыхнуло его и освежило новой надеждой.

Приятели были действительно на бульваре в своем обычном уголке – поближе к кабаку – и сидели на скамье. Василий Иванович, по обыкновению, дремал, Петр Семенович держал нос по ветру и пренебрежительно, но зорко всматривался в проходивших.

Берендя с первых слов сообщил о постигшем его несчастье. Василий Иванович при этом известию совсем раскис и только растерянно во все глаза смотрел на Берендю. Даже Петр Семенович, как ни привык на все махать рукой, хотя и произнес свое обычное «ерунда», тем не менее в первое мгновение после крикнул и замолчал.

– Ко...конечно, ерунда, – подхватил Берендя и спросил: – А что, не выпьем?

– Выпить-то в самый раз, – ободрился Петр Семенович.

– Ах, боже мой, боже мой! – вздохнул возбужденно Василий Иванович.

Берендя достал деньги, и Петр Семенович молча было поднялся.

– Слушайте... ведь собачий холод, в сущности, – сказал он. – Чего вам теперь стесняться? Идем в кабак... Там сядем себе в углу, и черт нам не брат.

Василий Иванович только перевел глаза с своего друга на Берендю.

– А, черт возьми, все равно, – решительно произнес Берендя и встал.

– Пойдем? – покорно заглядывая ему в глаза, спросил Василий Иванович, и все трое направились к кабаку.

Карташев приходил к Беренде и, не застав его дома, оставил записку, в которой звал к себе.

Уже была ночь, когда Лейба выпроводил приятелей на улицу. Берендя был пьян, все кружилось перед ним, и ноги не слушались и ступали не туда, куда он их направлял. Это занимало его, и он весь сосредоточился на том, чтобы непременно идти так, как он хотел. Но ноги не повиновались, он валился и, усмехаясь, говорил: «Че...черт возьми».

Каким-то инстинктом он все-таки добрался до своего дома и, выдержав стремительную атаку своей ворчливой хозяйки, прошел к себе в комнату и повалился на кровать. И кровать, и он сам, и вся комната вдруг закачались, как в море. Голова Беренди закружилась, и он почти не помнил,

что дальше было. Сквозь какой-то сон в окне вдруг мелькнула испуганная, исковерканная ужасом физиономия Фроськи, что-то ухнуло – не то Фроська, не то он сам, и Берендя опять потерял сознание.

Его разбудили уже утром резкие толчки хозяйки.

С перепоею, с туманной еще головой он слушал, смотрел, как властно прыгал перед ним жирный живот хозяйки, и ничего не понимал.

За хозяйкой стоял полицейский, и из двери выглядывали еще два-три лица.

– Да говори же ты, проклятый, говори?! – потеряла терпение хозяйка и стала трясти Берендю за плечи. Он тупо, не сопротивляясь, дал себя трясти и хриплым голосом равнодушно спросил:

– В чем дело?

Он провел рукой по лицу и оглянулся по тому направлению, куда тыкал жирный палец хозяйки. Там на полу у окна лежал какой-то чемодан, и на торчащей простыне был большой след алой крови. Берендя с широко раскрытыми глазами смотрел на это кровавое пятно. В нем было что-то такое страшное, что и его кровь стала вдруг стынуть в жилах. В напряженной памяти вдруг мелькнуло ночное видение Фроськи. Он смотрел, вслушивался, и страшная истина начала обнажаться. Хозяина и хозяйку Фроськи зарезали; Фроська исчезла; хозяйка Беренди, войдя утром к нему, к ужасу своему увидела окровавленный чемодан. Зная связь Беренди с Фроськой, она, чтобы оградить себя, бросилась к городовому.

– Глупости все это, – произнес машинально Берендя.

– Нет, голубчик, не глупости, – благим матом заревела хозяйка. – Я женщина честная, одинокая, пустила тебя, проклятого, не на позор свой.

– Господин, – вмешался городской, – каким манером этот самый чемодан мог очутиться у вас в комнате?

Беренде вдруг стало так пусто, точно весь мир куда-то провалился и никого, кроме этой жирной хозяйки и этого городского, не осталось в нем.

«Что мне с ними делать и куда уйти от них?» – пронеслось тоскливо в его голове. Как прибой и отбой, все мысли отхлынули на мгновение из его головы. «Умереть!» – тихим плеском ударилось в голову бедного философа. И сразу какая-то сила выхватила его из бездны и подняла на недостижимую высоту. «Смерть – двери в царство свободы!»

Берендя поднял глаза и, всматриваясь спокойно в серую шинель городского, проговорил:

– Я...я убил их... п...пьяный был... рассердился, что Ф...Фроська куда-то убежала, и... и убил их.

Бедная хозяйка отскочила до самой двери.

– У...у меня при...припадки безумия и прежде бы...бывали...

Наступило паническое гробовое молчание.

– Как же теперь? – разводя руками, тихо, точно совещаясь, спросил городской, – в участок, что ли, его?

Беренде надо было только выиграть время.

– Б...без разрешения ги...гимназического начальства, – быстро ответил он, – нельзя... Н...надо спросить... Во...вот вам мои сапоги... Я...я без них не уйду... В...возьмите чемодан.

Городовой и все другие вышли наконец из комнаты. Берендя остался один, он встал и долго смотрел вперед. Он не жалел и даже радовался этому новому барьеру: смерть – дверь в царство свободы, – твердо засело в его голове. Это был якорь, за который схватился он всей силой, какая была в нем. В эту дверь пройдут все – рано или поздно. В эту дверь ушли величайшие умы и вся суeta земли, эта дверь теперь отворяется для него. Отворяется?! Берендя присел к столу, потому что ноги его вдруг ослабели и не хотели больше держать его. Он подвинул какую-то книгу и с горьким чувством оттолкнул ее.

«Нет, не надо больше книг, – сжалось сердце Беренди. – Не надо книг, не надо друзей, никого и ничего не надо».

Лицо Беренди дрогнуло, спазма сдавила горло. Он судорожно схватил карандаш и написал:

«Я не хочу больше жить, потому что жизнь злое и безнаказанное издевательство».

Оскорбленный, он бросил карандаш и, страстно сверкая глазами, закричал в ощущении сча-

ствия небытия:

– Я хочу правды, уважения, хочу любви, хочу вечной свободы... И я найду их...

Рыдания оборвали его голос.

Надо было спешить, пока он стоял еще на высоте своей обсерватории и смотрел в бесконечную даль. Там, внизу этой обсерватории, шумела и волновалась какая-то темная разъяренная бездна. Тонкий маяк качался, дрожал в своем основании и вот-вот готов рухнуть туда вниз, в эту страшную бездну, рухнуть вместе с ним, чтобы больше никогда не подняться. Нет, не ему выплыть оттуда, это говорила ему теперь вся его слабая воля. Он уж раз был там, в этой бездне, – он целые сутки был в ней. О! надо спешить, пока не оставили силы...

Яшка в порыве страха, который охватил его вдруг, когда он очутился в сонной квартире мещан, куда забрался, чтобы утащить из комода деньги, зарезал ножом, взятым для самообороны, спящих хозяев. Его страшный глаз сверкал и вместе с ножом, казалось, страстно погружался в мягкое горло его жертв.

Онемелая Фроська так и замерла над этой неожиданной развязкой, стоя у входа маленькой мирной спальни с мерцавшей лампадкой.

Все подернулось ужасом какого-то тумана. Кажется, шевелятся эти зарезанные, или спят они крепко с алой лентой на шее и шевелится только там, в горле, тонкая струйка, что дальше и дальше тянет эту алую ленту. Ирод Яшка что-то шепчет, что-то сует, куда-то толкает. Ох, глаз, глаз его! Не видеть! Страшно!! Темная ночь, пустая улица, кровь на простыне, что торчит из чемодана... Ах, аспид, что он сделал?! Куда ей деться с этим страшным чемоданом? Назад?! К алым лентам?! Желтоглазого квартира?! Фроська стремительно бросилась к окну, распахнула его, заглянула в окно и, бросив чемодан, побежала без оглядки вперед.

– Стой, – остановилась она на мгновение, – где ждать-то он будет, ирод?!

Она напрягала свою память, хотела вспомнить. Но все тонуло в том же страшном кровавом тумане, сквозь который только отчетливо, рельефно смотрела на нее маленькая комната, два спящих в алых лентах, что шевелятся... Минутами ей казалось, что кто-то гонится за ней, какая-то простыня в крови волочится, и в диком ужасе она неистово бежала дальше и напрягала все способности своего приросшего к чему-то мозга, чтобы придумать какой-нибудь выход.

На рассвете ее остановил грозным окликом городской.

Она так и обмерла, так и впиалась в длинный нос, маленькие глаза, какой-то мягкий пушок, покрывавший лицо и шею страшного городского.

– Стой, девка! Куда бежишь? Говори всю правду без утайки: зачем подол в крови?!

– Ой! Ой! Ой!

Она присела, поднялась опять и в какой-то истоме положила руки на плечи городскому.

– Ну, ну, говори, – смягчая свой суровый тон на тот мягкий и властный, от которого Фроська чувствовала, что никуда уж не денется, поощрял ее городской.

– Ой, дяденька! Ой! Ой! Ой! дяденька, голубчик ты мой! – откинув голову и не отнимая рук, по временам совсем прижимаясь к городскому, выла Фроська и начала свой путаный, точно страшный сон, рассказ.

По временам городской терпеливо направлял ее:

– Кто он?.. говори ты по порядку.

В участок привели Фроську, и явился городской от Беренди. Опытный пристав скоро распутал всю историю и, поняв, что Берендя спяна чего-то наврал на себя, сам пошел к нему в квартиру.

Но Беренди уж не было в живых.

В простенке между двух окон висел бедный философ с поджатыми коленками и страшными, совершенно разошедшимися и выпученными глазами смотрел твердо и неподвижно на вошедшего пристава. Какая-то загадочная тайна застыла в этих глазах, та тайна, которую точно постиг он уже там, в своей петле, и не смог сообщить ее: только от напряжения нечеловеческого усилия вздулся, посинел и выпучил свои страшные глаза.

Смерть Беренди произвела потрясающее впечатление между учениками и в их семьях. Шли жаркие, страстные дебаты. Аглаида Васильевна жалела искренне Берендю, но видела во всем недостойную слабость и бессилье его слабой натуры.

– Все, все фальшиво от начала до конца! Несвоевременное развитие, нравственное напряжение и упадок сил – все должно было привести к этому. Ах, это такой наглядный пример той ошибки, в какую дало увлечь себя общество всеми этими скороспелыми учениями Добролюбова, Чернышевского, Писарева. Они, титаны, потянули за собой этих маленьких пигмеев... и сами не справились, и этих изуродовали.

Сердце Аглаиды Васильевны обливалось кровью, когда она вдумывалась, обобщала и связывала в одно все непонятные и печальные явления тогдашней русской жизни.

– Боже мой, люди совсем потеряли голову! Господи, спаси и пожалей бедную Россию!

Новый генерал-губернатор, двоюродный брат Аглаиды Васильевны, приехав, отнесся к ней с той родственной любезностью, на какую она и не рассчитывала.

Товарищ ее мужа, отчасти антагонист с ним по службе, он одно время было совсем отделился от своей двоюродной сестры. Но теперь обстоятельства переменились – муж умер, судьба свела их в одном городе, где жила Аглаида Васильевна, та самая Аглаида Васильевна, которая когда-то так умела кружить головы, – умная, обаятельная, свободная и неприступная, – и генерал-губернатора потянуло к ней, как тянет всех нас к светлым уголкам нашей молодости.

И Аглаида Васильевна была и тронута и польщена таким вниманием и родственным радушием.

– Ах, какой симпатичный, – твердила она, проводив дорогого гостя. – Ах, какой умница! Вот такого давно надо было! О-о! с этим пойдет дело!

То, что Аглаида Васильевна только прозревала, то оказалось понятным и выясненным. В общей связи событий ей стало многое ясно из того, что ускользало раньше. Взгляд ее на реформу образования переменился. Аглаида Васильевна точно помолодела и воскресла духом.

– Россия спасена! – говорила она таинственно и радостно.

Когда приехал из деревни на выборы Неручев, она строго накинулась на него:

– Отчего вы не служите? Как вам не стыдно? Вы молоды, полны сил, ваш отец был выдающийся человек, природа не обидела и вас...

Неручев, довольный, улыбался, разводил руками, а Аглаида Васильевна твердила:

– Стыдно, стыдно.

– Сегодня вечером, – проводя его, приказала Аглаида Васильевна, – извольте пожаловать на чай к нам – я вас познакомлю с этим человеком, и вы сами увидите.

– Если к этому и Зинаида Николаевна осчастливит игрой, то, конечно, буду.

– Ну, уж это ваше дело, – усмехнулась Аглаида Васильевна и, ласково кивнув уходившему гостю, повторила: – Так ждем.

– Непременно-с... Хотя от всякой службы вперед отказываюсь.

– Ну, ну, хорошо...

И, оставшись одна с дочерью, она сказала:

– Нет, необходимо вытащить его из деревни: молодой человек, с здравым смыслом... Нет, я заставлю Бориса Платоновича скрутить его.

Борис Платонович, новый генерал-губернатор, невысокий, плотный, красный, в своем генеральском мундире смотрел так, как смотрят люди его положения, власть имеющие: просто, спокойно и в то же время так, что чувствовалось каждую секунду, что он умеет смотреть и иначе и для этого разрешения ни у кого спрашивать не будет. Вся его выправка, вся его фигура ясно говорили одно: поменьше рассуждений, – время разведения бобов прошло безвозвратно и навсегда, и каждому, осмеливающемуся сомневаться, я сумею доказать это круто и скоро.

О строгости и решительности нового начальства ходили целые легенды по городу. Попробовали было оказать противодействие ему – и противодействие было сломано очень скоро. Смена одних другими шла во всех сферах административных и общественных. Генерал всем и всегда

твердил:

– Нельзя-с служить и богу и мамоне. Если ты того лагеря, и иди туда, а если же ты присягу принял и являешься представителем существующего порядка, то и будь им не только с виду, – продолжая там где-то сзади выводить свою линию, – но и в действительности: не токмо за долг, но и за совесть... Тогда только и может идти стройно государственная машина... А хочешь фальшить... у меня не нафальшивишь: рта не откроешь, а я уж знаю, и кто ты, и что ты, и где твоя заноза.

Генерал и Неручеву за чаем у Аглаиды Васильевны повторил ту же тираду и, махнув своим широким на белой подкладке рукавом, небрежно принялся намазывать себе кусок хлеба маслом.

– Я, конечно, тоже, – продолжал он, – разделяю взгляд кузины, что общественная деятельность в вашем положении, – генерал вскинул глаза на Неручева, – необходима... Отчего вы не идете в предводители?

Это был очень затруднительный для Неручева вопрос. Неручев не шел, во-первых, потому, что никогда об этом не думал, не шел потому, что никто его не звал, не шел наконец просто потому, что как же так пойти? заявить? Ну, а не выберут? сразу очутишься в глупом положении. В гласные не выбрали... Положим, он знал, почему не выбрали: чтоб насолить за его нежелание якшаться со всякими чумазыми.

– Из предводителей дорога открытая...

– Конечно, ваше превосходительство, но наше время... – Неручев замялся. – Откровенно говоря, время чумаzych... и таких, как я, не любят.

– Пустяки, – махнул на него рукой генерал.

Неручев только вздохнул.

– Пустяки, – повторил авторитетно генерал. – Приезжайте завтра ко мне.

– Я, ваше превосходительство, и без того счел бы своей обязанностью.

– Ну вот и отлично.

Генерал после чая уехал, а Неручев остался.

– Ну, как вы его нашли? – спросила Аглаида Васильевна.

– Просто прелесть, – ответил весело, разводя руками, Неручев, – если б я был женщина – я уж был бы влюблен в него.

– Ну, я очень рада... сумеете устроить, – таинственно дружески сказала Аглаида Васильевна, – а теперь вы меня извините, вот вам молодая хозяйка, а я пойду с своей кашей возиться: один – латинский, другая – задачи, третья – педагогика, иной раз сяду и думаю: господи, кажется, потребуйся китайский язык, и по-китайскому стану репетировать.

Аглаида Васильевна ушла и по дороге думала: Неручев значительно изменился с тех пор, как узнал, что Борис Платонович двоюродный брат... «Люди всегда – люди!..» – снисходительно вздохнула она.

XXIII

Похороны Беренди прошли торжественно. Ученики седьмого класса сами несли гроб. За гробом шло много учителей, и в том числе Леонид Николаевич. Точно какая-то стена выросла вдруг между ним и учениками. Только издали смотрели на бледное, разочарованное лицо учителя, но никто не решался подойти. Зачем, что скажешь? Кроме неприятности ему и себе, ничего не выйдет.

Корнев шел, грыз ногти, раздумывал и тянул за певчими: «Со святыми упокой!»

Долба шел, опустив голову в землю, и тоже о чем-то сосредоточенно размышлял. По временам он подымал голову, зорко всматривался в лица окружавших, в лица учителей, встряхивался и опять опускал к ногам глаза.

Рыльский, серьезный, сухой, в ринсе-пез, с высоко поднятой головой, шел уже в штатском. Он на днях уезжал навсегда за границу и безучастно холодно смотрел перед собой.

Из дам провожала гроб только Горенко. Она шла, кусая свои губки, загадочно смотря то куда-то вдаль, то на гроб Беренди.

Ветер качал пламя свечей, относил назад и вместе с копотью и погребальным пением настраивал на какой-то монотонно-однообразный лад.

Карташев шел, старался сосредоточиться, иногда живо и горячо охватывался горечью минуты, вспоминал живого Берендю и опять уносился куда-нибудь далеко от всего окружавшего.

«Со святыми упокой», – звучат в его ушах низкие ноты Корнева, и он оглядывается, точно проснувшись от какого-то сладкого забвения, и сразу втягивается в мучительную тоску переживаемого непоправимого момента. Карташев вздыхал так глубоко, как мог, и думал:

«Бедный Берендя немногого искал в жизни и того не нашел. Отчего это так люди устроены, что над ними столько зла делают? И разве нельзя так, чтобы зла этого не было? Можно, конечно, если пожелать его не делать. Но ведь и тот, что цензора себе нанял, тоже, вероятно, искренне желал... Желал, – и зеркало, в которое мог бы видеть и проверять себя, карандашом замазал... Жалко, что журнал наш оборвался... Теперь, конечно, не состоится... Я бы написал столько об этом... Если бы я мог, я бы пришел к государю и сказал: „Государь, я хочу для тебя умереть, я буду до последней капли крови служить тебе верой и правдой, позволь мне только тебе всю правду говорить“.

В далеком углу кладбища скромная вырытая могила ждала своего хозяина.

За ближайшим памятником прятались две оборванных фигуры Петра Семеновича и Василия Ивановича. Василий Иванович напряженно и мучительно не мог отвести глаз от свежего могильного бугра, мигал и по временам вздрагивал. Петр Семенович стоял мрачный и озлобленный и, собственно, не понимал, за каким чертом они пришли сюда. Но каждый раз, как он заводил на эту тему речь, Василий Иванович так взглядывал на него, как будто от того, останутся они или нет, зависела вся жизнь его.

– Слушайте, Петр Семенович, – судорожно, как последнее отчаянное средство, предложил Василий Иванович, – сегодня, сами знаете, похороны Пономарева... ведь дадут? так? Все вам...

– Да, черт!.. Сказал, что останусь, чего ж вам?

Когда на дороге показалась процессия, Василий Иванович пришел в такое тоскливое волнение, что схватил Петра Семеновича за руку:

– Ой! Везут... везут голубчика нашего...

– Да, уж не воротите, – угрюмо сказал Петр Семенович.

Василий Иванович жадно, во все глаза, впился в дорогой ему гроб. Он и не чувствовал, как слезы лились у него по щекам и капали на землю.

Когда гроб опустили в могилу и по крышке глухо застучала земля, когда все, отдав последний долг усопшему, уже собирались надеть шапки и разойтись, – вдруг выступил Долба и, напрягая себя, поборов робость, начал говорить речь. Это было так неожиданно, что смятение разлилось по лицам слушающих.

– Бестактно, – прошептал сердито на ухо Карташеву Семенов. Карташев только плечами пожал.

Приходилось всем волей-неволей слушать. Долба начал гладко, но витиевато на тему об авторитете. Все слушали молча, потупив головы, и всякий думал свою неприятную думу, мысленно посылая ко всем чертям Долбу за неудачную выдумку. Долба начинал сам чувствовать это, торопился, стал обрываться и, в сущности ничего не сказав, упавшим голосом кончил: «Мир тебе, дорогой товарищ».

– Аминь, – хрипло отозвался Корнев.

– Аминь, – облегченно повторило несколько голосов.

Только что отошел Долба – у могилы вдруг появился расстроенный Василий Иванович. Он стоял и напряженно смотрел своими голубыми детскими глазами, дрожал, и слезы градом лились по его щекам.

– Умер?! – с тоской, всхлипывая, говорил он. – Диоген умер...

Слезы опять остановили его.

– Диоген... солнце закрыли... в могиле... в могиле...

Василий Иванович все напряженнее всматривался, и все сильнее слезы лились по его щекам.

Он так и застыл в своей позе, мигая глазами. Казалось, он сам забыл, о чем начал, что хотел сказать. Кто-то поклонился ему и пошел прочь. Один за другим все кланялись и уходили.

– Водкой бы не спаивали этого Диогена, – проворчал сквозь зубы Семенов, шагая рядом с Карташевым.

Когда никого больше не осталось, к Василию Ивановичу подошел Петр Семенович и дернул его за рукав.

– Ну, чего еще? – угрюмо оборвал он его.

– Ушли?! – спросил Василий Иванович. – Все ушли?!

– Ну, идем, – свирепо потянул его за собой Петр Семенович.

– Куда идем?! Петр Семенович, водки надо...

– Нет денег...

– Нет?!

И Василий Иванович скорчил такую отчаянную физиономию, точно это было верхом человеческого страдания.

– Петр Семенович, я достану!

Василий Иванович опрометью бросился к кладбищенским воротам и нагнал толпу расхोдившихся. Он быстро окинул всех и подошел к Горенко.

– Дайте, пожалуйста, двадцать копеек, – с отчаянием обратился он к ней.

Горенко быстро сунула руку в карман, достала рублевую бумажку и торопливо передала ее Василию Ивановичу. Прежде чем она успела подумать, Василий Иванович поймал ее руку, поцеловал и, счастливый, бросился назад.

– Это бывший учитель, – сообщил какой-то пожилой господин. – Его заподозрил инспектор в воровстве машины, которую, как оказалось потом, сын же инспектора и украл... Все знали об этом...

Общество молча, потупившись, спешило разбредись кто куда.

История на кладбище в преувеличенном виде разнеслась по городу: гимназисты говорили возмутительные речи, учителя тоже, тут же и бродяги какие-то. Ужас и сознание, что так не может и не должно продолжаться, охватывали всех и напряженно искали выхода.

Гроза разразилась в лице нового генерал-губернатора. Он неожиданно приехал в гимназию и потребовал сбора всех в актовой зале. Уроки были прекращены, и все, и учителя и ученики, застываясь на ходу, спешили в указанное место.

Генерал стоял у дверей и грозно встречал каждого своими твердыми глазами.

Когда собрались все, он дал отрывочное распоряжение:

– Молебен!

Явился священник и регент. Певчие вышли вперед.

Молебен начался.

– Все петь! – повернулся на мгновение к ученикам генерал.

В задних рядах и не слышали этого приказа. Передние затянули кто в лес, кто по дрова.

Генерал побагровел и, едва дождавшись конца молебна, обратился с громовой речью ко всем присутствующим.

– Я вас научу, мальчишки! – неслись его раскаты по зале. – Разврат, пьянство, курение табаку по улицам! Распущенность! На кладбищах демонстрации. Гимназию разгоню! Камня на камне не оставлю! В бараний рог согну! Крамольники! Бунтовщики! Посылатели на государственную безопасность! Петь не желают. Вы за чем смотрите? Вы для чего поставлены?!

Директор, бледный, растерянно смотрел на генерала, вытянув руки по швам.

– Я вам...

– Молчать! Я научу вас служить присяге и чести! Кто говорил речь на кладбище?

Среди гробовой тишины Долба медленно, боком, бледный, стал пробираться вперед.

– Ты?!

У Долбы рябнуло в глазах.

– Я, – беззвучно раздалось по зале.

– Из дворян?

- Из крестьян.
- Так вот зачем тебе дается образование, неблагодарный?! Вон! Выгнать его сейчас же...
- Сейчас состоится определение педагогического совета.
- Там совет советом, но по моему приказанию.
- Слушаю-с, ваше превосходительство.

Генерал встретился глазами с Карташевым и молча протянул ему через чью-то голову руку. Карташев пожал руку и, покраснев, упорно стал что-то обдумывать.

Когда учеников распустили по классам, Карташев решил и, собрав все свое мужество, бросился в переднюю, где одевался генерал.

– Борис Платонович, – умоляющим голосом произнес он и отвел генерала в сторону.

– Что, голубчик? – ласково спросил генерал.

– Ради бога... не губите... – голос Карташева обрывался, – Долбу... Он ничего не сказал предосудительного... Я был там... вышла только бестактность... это добрый, простой человек... у него не было никакого умысла...

Генерал в раздумье наклонил голову.

– Вы ручаетесь?

– Я ручаюсь своей жизнью.

– Позвать ко мне... этого Долбу.

Долбу привели.

– Вы мне даете честное слово, что больше никогда ни в чем не будете замешаны?

– Даю, – ответил Долба.

– Оставить его, но подвергнуть дисциплинарному взысканию... Благодарите ваших товарищей.

Долго ломало начальство голову, какому взысканию подвергнуть Долбу, и наконец решили: сделать ему официальный выговор.

По распоряжению полиции обоих – и Петра Семеновича и Василия Ивановича – выслали из города.

Рыльский вскоре уехал за границу. Компания на прощанье снялась вместе. Разыскали у Вервицкого старый портрет Беренди. В длинных волосах, в какой-то кокетливой позе, философ с длинными ногами сидел в кресле и загадочно смотрел в публику.

Строгости в гимназии усилились. Ученикам заведены были билеты, в которых точно обозначено было, что допускалось и чего нет.

Новый инспектор, вежливый и ехидный, мучил своих жертв и, поймав ученика с расстегнутой пуговицей, пилил его и доказывал, что его пуговица тесно связана с его безнравственностью. Ученики пятого класса, с ухарским видом, запрятав в рукав закуренные папиросы, ходили по коридору и за спиной инспектора, затаиваясь, глотали дым. Это считалось верхом удали и шика.

Позже семи часов ученики не смели показываться на улице. За этим следили педеля, большею частью из отставных унтер-офицеров. Они ловили учеников и отбирали у них билеты. Иногда ученики откупались от них деньгами, иногда вынимали из кармана какую-нибудь склянку, говоря озабоченно: «Из аптеки – мать больна...» – и спешили без оглядки от педеля.

Иногда и классные наставники в ожидании вакансии начинали с роли педелей.

Всем генералам гимназисты должны были кланяться, но непредупрежденные генералы только с удивлением провожали глазами маленького, нагруженного своим ранцем гимназистика в длиннополый шинели, когда тот усердно вдруг стаскивал свою шапку.

Неручев баллотировался в кандидаты предводителя и получил больше своего товарища шаров. По правилам, предводителем утверждался получивший большее количество шаров.

Обыкновенно в таких случаях вперед уславливаются, и заранее несколько дворян решают кандидату положить налево, чтобы не вышло недоразумения. Пять друзей Неручева и взялись положить ему налево, а положили направо. Прием простой, давший победу Неручеву. Самого Неручева и след простыл на этот день в собрании. Потолковали, покричали, а Неручева все-таки согласно закону утвердили. Его приятели, как виноватые школьники, которым благополучно сошла

их проделка, только весело трясли своими удалыми головами. Глава их, высокий, в расстегнутом сюртуке, средних лет дворянин, крепко стоял на своих расставленных ногах, в упор насмешливо смотрел на шептавшиеся кучки дворян и готов был на всякий скандал: в морду так в морду, на дуэль так на дуэль. С нахалом связываться ни у кого охоты не было. К Неручеву примкнули те, для кого успех оправдывает положительно все. Эти с какой-то завистью говорили:

– Все-таки, что ни говори, ловкач!

– Ну, держи ухо востро теперь, – трепал по плечу Наручева в его номере Овсеев, его старый приятель и сосед, чистенький, в золотых очках, причесанный и приглаженный господин. – Как бы тебе на следующих выборах свинью не подпустили... Жох народ... Тоже пальца в рот не клади!

– А этого не хочешь, – быстро показал ему кукиш Неручев, – мелкопоместные-то мои?! Наряжу их во фраки – и марш...

Господин в золотых очках долго с восторгом смотрел в глаза Неручеву.

– Ну, и ловок! Не пропадешь!

Неручев только пренебрежительно вздернул головой.

К удивлению всех Неручев повел земское собрание вовсе не так плохо, как это могло казаться. Вокруг него очень быстро собралась довольно дружная и сплоченная партия: в руки этой партии попало все хозяйство уезда. Говорили много, но нигде, ни в одном уезде все не шло так гладко и тихо, как пошло у Неручева. Его бранили и ругали, но и враги признавали:

– Что и говорить, талант!

Неручев сделал официальное предложение Зинаиде Николаевне, и свадьба была назначена летом в деревне.

– Охота твоей сестре за такую сволочь выходить замуж? – спрашивал Корнев Карташева.

– Ты меня что ж спрашиваешь? Ее спроси... – пожимал плечами Карташев.

Таня в один прекрасный день повалилась в ноги Аглаиде Васильевне, призналась в своей беременности и открыла – от кого.

Что говорила ей Аглаида Васильевна и на чем они с Таней порешили – осталось тайной. В тот же день Татьяна исчезла, появилась в доме новая горничная, и между матерью и сыном не произошло никакого разговора по этому поводу. Некоторое время мать как-то брезгливо избегала сына, но потом все пошло по-старому.

XXIV

Последний экзамен был по-латыни. Со страхом и трепетом готовилась к нему компания, а больше других Карташев. С учителем у него были личные счеты. Еще в злополучный день исключения Беренди учитель на совете настаивал на исключении Карташева, утверждая, что явственно слышал его голос. Но так как учитель в то же время не отвергал и того, что и другие то же самое кричали, то кто-то, поставив вопрос: «всех уж тогда», тем самым требование об исключении Карташева свел на нет. Но учитель решился расправиться с своим врагом и как-то вскоре не удержался и прямо высказал:

– Вам, Карташев, университета при мне не видать, как своих ушей.

Когда затем в гимназии стало известно о родстве Карташева с генерал-губернатором, учитель немного поколебался и в первое время даже решил было отступить от своей жертвы. Но мстительная натура взяла верх, и Карташев инстинктом чувствовал, что учитель устроит-таки ему пакость.

– Ах, как устал, – говорил Карташев накануне экзамена, – капельки сил моих нет... и ничего не знаю...

День экзамена наступил.

Карташев ушел из дому в девять часов утра и возвратился только в четыре.

Аглаида Васильевна так волновалась, что не могла даже обедать.

Когда в дверях показалась изнуренная, затянута, но сияющая фигура Карташева, ясно все стало и без вопроса: Аглаида Васильевна бросилась на шею сыну и, не выдержав, расплакалась:

тяжелый и трудный конец венчал дело. С постоянным риском сорваться, свести на нет все – он, ее сын, выплыл на свет, стоял на берегу, спасенный от тьмы и мрака бездны. Правда, это был первый только шаг, но какой шаг? Чего он стоит и ей и сыну? Половина волос побелела на ее голове, а он и все они на что были похожи?! Но чего бы ни стоил – цель достигнута.

Аглаида Васильевна встала и, перекрестившись, низко поклонилась образам. Она еще раз поцеловала сына и проговорила:

– Господи, какой ты ужасный... Ну, рассказывай...

Карташев не любил рассказывать, но на этот раз не заставил себя просить.

Он сел на окно и, счастливый, оправляя прилипшие ко лбу волосы, произнес с восторгом:

– Ах, что это было! Я уж и не знаю, с чего и начинать...

– С самого начала, – нетерпеливо, весело потребовала мать.

– Ну, хорошо... Пришли мы... Ну, сначала, конечно, *extemporalia*...¹⁵ Рассадили нас на каждую скамейку по два... я с краю у прохода, а с другого края Вервицкий. Ну, думаю себе, плохо... от такого соседа не поживишься...

Зина, Наташа, Аглаида Васильевна, Маня, Сережа и Ася – все покатались от веселого смеха.

– Ну, ну...

– Ну, хорошо... Продиктовали нам русский текст и некоторые слова. Я то есть просто ни одного почти слова не знаю...

– Ах ты, скверный мальчик! – весело вскрикнула Аглаида Васильевна.

– То есть буквально ничего: что позабыл, что, как воробьи, вылетели из головы. Сажу и думаю. Что мне делать? Смотрю, учитель встает с этакой своей ядовитой походкой, как кошка... только хвоста не хватает... этакая сволочь... и прямо в мой проход... прошел до конца, возвратился и как стал около меня, так все время, покамест я не написал свой ответ, не отошел!

– Как же ты написал свой ответ? – испугалась мать.

– А вот слушай... Сажу я, нагнулся и пишу: чувшь какую-то невообразимую... Вот...

Карташев вынул из кармана смятый лист, и все с любопытством наклонились.

– «Не надо робеть... что делать... как кошка крадется», – начала разбирать Наташа.

– Одним словом, ерунда, – перебил Карташев, – только чтоб что-нибудь писать... Не могу ж перевести... Пишу, а сам думаю: что ж мне делать? А напротив Беер, один еврейчик, настоящий медведь: мохнатый и слепой, а хороший ученик... философ такой... смотрю, уж, подлец, написал начерно и собирается переписывать... Ну, думаю, пропадать – так пропадать: все равно бы на второй год не остался, повесился бы, а не остался...

– Ну, глупости, – перекрестилась Аглаида Васильевна.

– Учитель только так поведет головой по классу и опять смотрит, что я пишу... а он близорукий... Я знаю, что он не может все равно разобрать, что я там пишу. Я попишу, попишу и как будто задумаюсь; он заглянет мне в глаза, и я смотрю на него так, как будто говорю: «Ну, что ж, пропал». А он точно повторяет: «Пропал?» – и так, мерзавец, ласково смотрит... А я сажу и сообщаю: вот если я упрусь в перекладину задними ногами...

– А у тебя их сколько? – не утерпела Наташа.

Все рассмеялись.

– В заднюю перекладину – так, чтобы как встать, так сразу чтоб схватить черновик Беера в то время, как учитель повернет голову к классу... Вот так, вот: одно мгновение... надо схватить, сесть и ни малейшего звука, и никакой перемены в позе.

Все так и замерли и жадно, напряженно смотрели в рот рассказчику.

– Уперся я ногами, пригнулся всем туловищем и как будто весь мир забыл: пишу... только он повел головой, я как вырасту через скамейку, цап черновик Беера и сел... Смотрю: смотрит прямо на меня Иван Иванович, и я смотрю. Он покраснел и отвернулся... А Беер только плечами повел: вздохнул и засел новое писать. А мой подлец опять все глаза на меня. Я как будто кончил и тоже вздыхаю и смотрю на него... дескать, что ж радости с того, что кончил? А он как будто спрашивает так участливо: мало радости?

¹⁵ Перевод без подготовки (*лат.*).

Карташев и все рассмеялись.

– Ах, какой ты мошенник! – покачала головой Аглаида Васильевна.

– Ну, что ж, оставаться?

– Ну, ну, говори.

– Ну, и начал я переписывать черновик Беера. Сделал нарочно четыре ошибки. И знаешь, покамест я вот брал, писал, ни капельки страшно не было, а когда встал, чтобы нести, вот тут уж холодно стало... Думаю, забрать черновик? А вдруг он заподозрит? Хитрый, подлец! Нет, нельзя брать... Так и оставил. Встаю: он на меня во все глаза, а у меня полное отчаянье в лице: «зарезал, зарезал...»

– Ах ты, господи...

– Отнес на стол, и вдруг вся смелость меня оставила, боюсь повернуться назад: а вдруг он рассматривает мои черновики и сейчас позовет меня, а вдруг я повернусь, и по моему движению он все поймет и схватит черновики... Иван Иванович сидит грустный и не смотрит на меня... ах, какая это прелесть Иван Иванович! Так бы и бросился ему на шею: «Голубчик, простите меня, Христа ради, ведь не оставаться же? Хотя сто лет буду сидеть, ничего все равно знать не буду, как и все не знают».

– Ну?

– Так и ушел прямо в коридор... Немного погодя Корнев приносит мои черновики: я их в карман... вот, вот... вот Беера... Ну, хорошо... Начался экзамен... Да! как только я ушел, и учитель пошел к столу и уж потом и не смотрел: все друг у друга списали... Когда меня вызвал он, чтобы показать, что он совершенно беспристрастный... да и все равно директор не дал бы ему... совсем вышел из класса... Я попал к директору... Ну, а директор...

Карташев сделал пренебрежительную гримасу.

– «Дядя ваш, говорят, в Петербург собирается?» – «Нет, кажется»... Тита Ливия дал переводить... Черт знает как переводил! – «Какие глаголы управляют родительным падежом?» Я и тут наврал...

– Ах, дрянной мальчик, – рассмеялась Аглаида Васильевна.

– «Ну, бог с вами, говорит: тройку» – что и требовалось доказать... Постой, еще не все... Кончились экзамены... засели они выводить отметки, а мы в коридоре уселись все на полу и ждем... весь вопрос во мне, конечно... Вдруг там, за дверью, крик слышим: учитель чего-то орет, кричит благим матом. Опять тише, опять кричит! Вдруг дверь распахнулась... а коридор темный: его мы видим, а он нет: лежат какие-то тела... «Карташев?» Я как толкну в бок Семенова и умер... «Карташев домой ушел...» Он как хлопнет дверью... И все как умерли там... Тихо-тихо... кончили... Один, другой, третий, вышли все, списки передали Ивану Ивановичу – повалили мы в залу... «Карташев...» ой, умру, «три...». Ура-а-а!

Карташев весело вскочил было, размахивая руками, но вдруг побледнел и стремительно потянулся к графину.

– Ой! – вздохнул он, когда пропустил несколько глотков, – мне вдруг так нехорошо сделалось...

– Господь с тобой, – бросилась к нему мать. – Ты ничего не ел еще! И я слушаю...

У Карташева тряслись руки и ноги.

– Ничего... ничего... лучше... Ах, мне совсем нехорошо... – Карташев вдруг бессильно опустился на стул, и, если б не подоспевшие Зина с Наташей, упал бы на пол.

– Ничего, пройдет, – ободряла его Аглаида Васильевна, – спирту, одеколона.

Аглаида Васильевна смочила одеколоном лоб, виски сына, дала понюхать спирту и ждала результатов, смотря напряженно в лицо сына. Это было мертвенно-бледное лицо с полузакрытыми, безжизненными глазами, такое вымученное и изможденное, что сердце матери сжалось от боли. Так бесконечно дорог он был ей и так бесконечно жаль было его в эту минуту: сколько мученья, неправды... Ведь этот человек был ее сын, сын, для которого мечтала она же когда-то небо достать! Что испытал он, что выстрадал бессознательно в этой каторге непередаваемых мелочей, называемой обучением ума и воспитанием души?!

– О, бедный, бедный мой мальчик! – И Аглаида Васильевна горячо целовала лицо и глаза

сына.

– Нет, нет, поезжай в Петербург, – заговорила она, когда Карташев немного оправился и перешел на диван. – И я, может быть, также виновата, тоже помогала коверканью!.. Ах, как мне ясно вдруг стала вся эта уродливая картина нашей жизни... О, какая гадость... сколько лжи, фальши...

Карташев утомленно слушал.

– Гадость, мама! – произнес он, и слезы закапали у него из глаз. – Ах, как хотелось бы быть честным, хорошим, безупречным.

Карташев судорожно прижал руки к глазам и тихо, горько плакал. Плакали мать, Зина, Наташа, Маня. Плакали Ася и Сережа, хотя и не понимали ясно причины ни своих, ни слез других.

Аглаида Васильевна долго молча вытирала слезы.

– Будешь и честным, и добрым, и хорошим... будешь, потому что хочешь...

И, помолчав, она кончила:

– Я, может, и не укажу тебе дорогу... сам найдешь... Поезжай от меня... Поезжай в Петербург... становись на свою дорогу...

Аглаида Васильевна встала, перекрестилась и перекрестила сына.

– Да хранит тебя царица небесная! – торжественно сказала она.

И затем упавшим вдруг, точно пророческим голосом прибавила:

– Ох, тяжела будет твоя жизнь! Не пойдешь ты торным путем... не можешь идти – вижу я.

Карташев смущенно всматривался в себя: он хотел бы только, но ничего не чувствовал в себе, что давало бы силы идти твердо и неуклонно в сторону правды и счастья, лучи которой только скользят в каком-то мраке мелькнули и скрылись в тумане. Он закрыл глаза.

– Я засну, – тихо прошептал он.

И все стихло. Во всем доме воцарилась гробовая тишина: надежда и радость, сила и гордость, выплывший на первую отмель молодой пловец спал своим первым безмятежным сном пока после напряженной, изнурительной семилетней войны.

Какие-то веселые сны снились Карташеву. В сумерках неся по всему дому веселый, возбужденный голос погруженного в глубокий сон Карташева:

– Отдай паруса! Выноси кливер! Руль на бо-о-рт!

Маня, а за ней и все фыркали себе под нос.

– Ты, черт, что тут командуешь? Ура!

Карташев открыл глаза.

С окна в комнату прыгали Корнев, а за ним Долба.

– Корнев?! – восторженно вскрикнула Наташа и бросилась в комнату, где спал Карташев, чтоб предупредить Корнева.

Но Карташев уж проснулся.

– Что такое? Ничего не пойму! – орал Корнев.

– Что за скандал?! – весело оглядывался Долба.

– Есть хочу, – сказал, с наслаждением вытягиваясь, Карташев.

– Тёме есть, Тёме есть, – радостно закричала Наташа. И, повернувшись к Корневу и Долбе, веселая, счастливая, пожимая им руки, она повторяла: – Поздравляю, поздравляю.

Пришли и другие поздравить.

– В Питер? – спросила с едва уловимой грустной ноткой Наташа.

– А то куда же? – весело переспросил Корнев.

– Все, непременно, – засмеялся своим мелким смехом Долба.

– Счастливые, – протянула Маня, – там опера...

И, вытянув шейку, совсем уже барышня, бледная и хорошенькая, поддразнивая, она запела нежно:

Туда, туда, скорее в горы!

– Ка-а-рмен! – взвыл восторженно Корнев.

– Вас режут? – спросила Наташа.

– Без ножа режут!

– Поздравляю! – появилась в дверях Аглаида Васильевна.

– Чувствительнейше вас благодарю, – начал было комично Корнев и вдруг так растрогался, что приложился к руке Аглаиды Васильевны.

Долба последовал примеру Корнева.

– Ох, как чувствительно, – сказала рассеянно Наташа, – хоть сядьте, что ли?

– Да-с, Наталья Николаевна, расчувствуешься, – ответил с комичным жаром Корнев, прикладывая руку к сердцу, – смею доложить, на свет словно второй раз родился – такое воспаренье восчувствовал. Вот в учебнике-с писано: посмотри на Неаполь и умри, а я бы везде написал: окончи гимназию и...

– Черт с ней, – рассмеялся Долба.

– Молчи... неблагодарный! Господи, да неужели же я самонастоящий человек?!

– Ударь меня! – потребовал Долба.

Корнев ударил.

– Еще!

Корнев еще раз, сделав рожу, изо всей силы ударил его по спине.

– Нет, не сплю, – визжал Долба.

– А все-таки вы пропустили свою специальность, потому что вы актер, – сказала Маня.

– А вы Кармен.

Аглаида Васильевна сидела возле сына и радостно смотрела, как последний жадно, ложку за ложкой убирал суп.

– Пойдите! Да что с ним такое? – спохватился Корнев.

– Отощал, – рассмеялся Карташев.

– Ну, и было дело, – сказал Корнев, приседая пред Аглаидой Васильевной.

– Слышала.

– Видеть надо было, что только было!

– Было и мохом поросло, – задумчиво вставила Зина, смотря в окно.

– Да, уже прошлое... – быстро, с каким-то сожалением повернулся к ней Корнев. – Когда прошло, как миг один...

– Так и вся жизнь, – грустно наклонила голову Аглаида Васильевна.

– Если б люди всегда помнили, что жизнь только миг, – вздохнул Корнев, поднося ноготь ко рту.

Все замолчали.

– Бросьте ногти, – строго скомандовала Маня.

– Виноват! – почтительно ответил он, быстро отдергивая руку.

1895